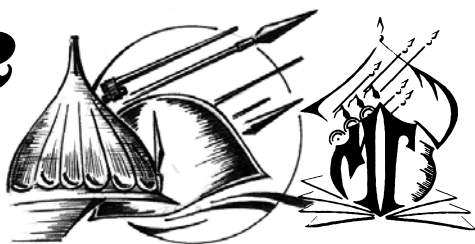

Россия, Русь! Храни себя, храни!

1-2
2010



Союз писателей России

**Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей ПШЕНИЦЫН. Матрица Русской Катастрофы	3
Сергей БАТЧИКОВ, Александр НАГОРНЫЙ.	
Продолжение театра абсурда	11
Полина ФЕДОТОВА. Исторический вызов	67
Рудольф БАЛАНДИН. Конец великой эпохи	73
Капитолина КОКШЕНЕВА. Не о толерантности надо талдычить!	82

ПОЭЗИЯ

Валерий ХАТЮШИН. Страна родная... Стихи	21
Евгений АРТЮХОВ. Бурый камень. Стихи	27
Валерий КАПРАЛОВ. Зимний всадник. Стихи	31
Борис ОРЛОВ. Гневные строки. Стихи	35
Владимир АРХИПОВ. Любовь неугасимая. Стихи	40

ПРОЗА

Игорь БЛУДИЛИН-АВЕРЬЯН. Красное кашне.	
Рассказ	46

Людмила ШАМЕНКОВА. Белое, шелковое, с кружевом...	
Рассказ	61
Нина БОЙКО. Короткие рассказы	249
Сергей ШУМСКИЙ. Миниатюры	257

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Сергей ЩЕРБАКОВ. Песенка вагантов	91
Владимир ОСИПОВ. Час неровен	145
Владимир ДЕСЯТНИКОВ. Дневник русского	272

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сергей РОДИН. Сокровенная тайна украинства	153
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Евгений НОСОВ. Шумит луговая овсяница. Рассказ	175
--	-----

ОСОБЕННЫЙ ПУТЬ РОССИИ

Владимир ПЕТРОВ. Кесарь и художник	216
--	-----

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Андрей Марчуков. Политические репрессии в СССР: мифы и реальность	245
--	-----

ИРОНИЧЕСКИМ ПЕРОМ

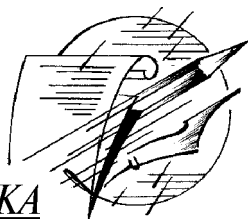
Путина	268
--------------	-----

МАТРИЦА РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ

Судьба народа и судьба страны... Шестнадцать лет назад, в начале 1994 года, равнодушные сводки Госкомстата безмятежно сообщили, что всего за шесть предшествующих лет (1988—1993) в русском народе произошла чудовищная демографическая Катастрофа — Русская Катастрофа! В эти шесть лет судьба русского народа была решена самым сокрушительным образом. Судите сами.

При самом худшем развитии процесса ликвидации русского народа и замещения его народами пришлыми уже 2020 год (!) может стать тем годом, когда падающая численность русского народа проскочит отметку в 50% от общей численности населения России!

В 1987 году, еще в РСФСР, родилось — 2,1 млн. русских детей (общая рождаемость — 2,5 млн.). Русская смертность составила в том году — 1,3 млн. (общая смертность — 1,5 млн.). Естественный прирост русского народа в пределах РСФСР составил в 1987 году — 800 000 человек (2,1 минус 1,3); а в пределах СССР — 1000 000 человек. Напомню, что в 1987 году была зафиксирована самая высокая продолжительность жизни в истории России. В 1987 году ничто не предвещало скорой демографической Катастрофы русского народа. В 1987 году русский народ хотел жить!



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Однако в 1993 году, уже в «новой демократической России», родился только — 1 млн. русских детей (общая рождаемость — 1,38 млн.). Русская смертность в том году вплотную приблизилась к отметке — 2 млн. (общая смертность — 2,13 млн.). Общий показатель вымирания по России в 1993 году — 750 000 человек (1,38 минус 2,13). **В 1993 году русский народ жить уже не хотел!**

Получить цифру Русского Вымирания в 1993 году помогает и «поправка Паина». Паин Эмиль Абрамович — директор Центра по изучению ксенофобии и экстремизма Института социологии РАН. В «АиФ» №19 за 2004 г. господин директор сказал, что «за последние 10 лет» можно говорить о «естественном приросте исламской составляющей на 2 млн.»! «Поправка Паина» показывает, что естественный прирост мусульман России — 200 000 в год. По всей видимости, «поправка Паина» учитывает естественный прирост и пришлых для России мусульман. К тому же «поправка Паина» — показатель растущий. Здесь же отметим, что суммарное соотношение рождаемость-смертность у всех остальных народов России, как коренных, так и пришлых, — около «нуля».

Показатель вымирания в России в 1993 году — 750 000 человек. При этом естественный прирост у мусульман России («поправка Паина») — 200 000, у остальных народов — 0. Получается, что цифра Русского Вымирания 1993 года — 950 000 человек!

Всего за шесть лет (1988—1993) русская рождаемость упала вдвое: с 2 млн. в 1987 году до 1млн. в 1993 году! В эти же годы русская смертность выросла в полтора раза: с 1,3 млн. до 2 млн!

Всего за шесть лет (1988—1993) демография русского народа в пределах РСФСР (России) рухнула от «плюс» 800 000 в 1987 году до «нуля» в 1991 году, и до «минус» 950 000 в 1993 году!!! Демография русского народа в 1993 году оказалась хуже 1987 года — на 1 750 000!!! Так, всего за шесть лет (1988—1993) в России оформилась Матрица Русской Катастрофы.

В эти шесть лет (1988—1993) у русского народа не было никакой русской партии, которая выражала и отстаивала бы интересы прежде всего (!) русского народа (таковой нет до сих пор). Русский народ не проводил никаких съездов, конференций, симпозиумов, коллоквиумов и тому подобных мероприятий. Русский народ не испросил на то мнения Русской Православной Церкви, т.е. — без единого Поместного собора. Безо всяких ток-шоу типа — «Народ хочет знать» и «круглых столов» типа «Что (же) делать?»; безо всяких «PS» и «Моментов истины»; не выходя «К барьеру!». Русский народ обошелся без всех этих глупостей!

Русскому народу хватило всего шести лет (1988—1993), чтобы оценить деяния своих тогдашних правителей. Всей своей живой плотью от Балтики до Тихого океана русский народ взвесил разрушение прежней жизни и импорт в Россию жизни другой, чужой и смертельной для русского человека. В эти шесть лет (1988—1993), исторически — мгновенно (!), русский народ принял консолидированное решение: предложенной жизнью — не жить! Детей в такую жизнь — не рожать, чтобы они не мучились потом этой же самой жизнью! Всему русскому народу уйти в погосты, земли в России много, русскому народу есть где успокоиться! За семнадцать лет настойчивых реформ (1992—2008) в России вымерло 13 млн. «дорогих россиян»; или — общая смертность превысила общую рождаемость на 13 млн. (официальная позиция Росстата). Естественный прирост мусульман России за этот период — 3,5 млн. Следовательно, за 1992—2008 гг. в нынешней России вымерло 16,5 млн. русских! С учетом текущего 2009 года Русская Катастрофа гарантированно проходит отметку в 17 млн. вымерших русских! 17 млн. русских не умерли и не погибли, нет — 17 млн. русских вымерло! И это тот минимум, который признает своими хрониками Росстат!

Все мы знаем, что за все хорошее надо платить. Так кто же платит за все прелести рухнувшей на нас «рыночной демократии», чем именно он платит, и какова текущая, уже заплаченная им цена? Кто же среди прочего оказался в самом конце биологической цепочки распределения ВВП?!

Так вот, за все платит русский народ! Платит миллионами безвозвратно потерянных русских жизней, а счет идет уже на десятки миллионов! И на сегодняшний день уже заплаченная русским народом цена, ее минимальная цифра — 17 млн. бессмертных русских душ, положенных на плаху «рыночной демократии»! Цифра — сверхчудовищная!

Если бы демография русского народа сохранилась на уровне 1987 года, то в последующие двадцать лет в РСФСР (России) родилось бы 40 млн. русских детей, на самом деле родилось только 20 млн! Русских смертей было бы на 10—15 млн. меньше! К своей численности 1987 года мы, русские, должны были прибавить естественным приростом 16 млн! Вместо этого наши упорные правители вымертвили нас, русских, как минимум на 17 млн! Нас, русских, было бы сегодня в России на 30—35 млн. больше, чем есть на самом деле! Вот он, тот конечный, результирующий эквивалент всех реформ, как уже прошедших, так и настойчиво идущих в нынешней России!

Какими методами можно было ликвидировать 17 млн. русских? Можно было выжечь их ядерным оружием; можно —

но это пока что не приветствуется мировым сообществом. Можно было вымертвить их применением химического оружия или пандемией бактериологической войны; можно — но и это было бы осуждено с кафедры ООН. Еще можно было бы 17 млн. русских стереть с лица Земли методами третьего рейха: концлагеря, газовые камеры, массовые экзекуции и ликвидации; можно — однако этот инструментарий осужден еще Нюрнбергским трибуналом!

Ничего этого не потребовалось! 17 млн. русских (счет не закончен) были ликвидированы новыми (!) методами, которые вписываются (!) в действующие международные соглашения о соблюдении прав человека и не подпадают ни под какую юрисдикцию! Что это за новые методы — тема отдельного исследования. **В 2010 году Русская Катастрофа, даже по сводкам Росстата, пройдет психологическую отметку в три холоста — 18 млн. вымерших русских!**

Еще цифры Русской Катастрофы можно, для наглядности, сравнить с т.н. «сталинскими репрессиями». В феврале 1954 года на стол Н.Хрущёва легла справка за подписями Генпрокурора СССР Р.Руденко, главы МВД СССР С.Круглова и министра юстиции СССР К.Горшенина. В ней говорилось, что с 1921 года по 1 февраля 1954 года (т.е. за 33 года) по «политической» 58-й статье были приговорены к высшей мере наказания — 642 980 человек.

17 млн. вымертвленных русских — это в 26,5 (двадцать шесть с половиной) раз больше цифры т.н. «сталинских репрессий»! Но это за неполные восемнадцать лет. **Самые несложные прогнозные расчеты показывают, что за аналогичные 33 года (1992—2024) вымрет не менее 40 млн. русских!** А это уже в 60 (шестьдесят) раз больше т.н. «сталинских репрессий»! Если же соотнести среднюю численность всего населения Советского Союза за 1921—1953 годы и численность одного только русского народа в пределах нынешней России, то приходишь к шокирующему выводу. Нынешнее вымертвление русского народа превосходит по своим масштабам т.н. «сталинские репрессии» в 100 (сто) раз! Увы, но это леденящий душу статистический факт!

Теперь, каковы же прогнозы для русского народа на XXI век, какой ответ дает на этот вопрос Матрица Русской Катастрофы? Последнее советское русское поколение, рожденное до 1987 года, было в своей численности — 2 млн. в год. Сегодня оно, начиная с 1993 года, рождает первое «новороссиянское» русское поколение, численностью только 1 млн. в год, «плюс-минус» 100 000. Например, в 1999 году сразу после Большого Дефолта 1998 г. детей родилось всего 1,2 млн., а

русских детей дай бог если 900 тыс. Своих детей поколение 1993 года рождения начнет рождать уже в 2011 году! Если соотношение «два к одному» в соседних поколениях русского народа сохранится, то в 2015—2020 гг. оформится второе «новороссийское» русское поколение, которое окажется в своей численности, только — 500 000 в год. И т.д.

Начиная с 1993 года русская смертность — 2 млн. в год; общая смертность — до 2,37 млн. в 2003 году. **Однако, учитывая, что после войны в РСФСР рождалось 3 млн. детей, и учитывая нынешнюю продолжительность жизни, есть все основания ожидать, что в 2015—2020 гг. смертность в России может достигнуть 3 млн. в год.** Русская смертность при этом гарантированно выйдет на уровень — 2,5 млн. в год. Начиная с 1993 года русский народ вымирает по 1 млн. в год. Увы, но есть самые веские основания ожидать того, что в 2015—2020 гг. Русское Вымирание достигнет 2 млн. в год! И кстати, почему бы этой констатации не быть вкладом скромного провинциального автора в объявленное обсуждение «Концепции-2020»?! А далее будет и еще один вклад.

Исходя из всего вышеизложенного, каждый может убедиться, что к 2050 году от русского народа останется дай бог если 50 млн., а к концу XXI века «русский вопрос» будет закрыт окончательно — русский народ вымрет весь!

Современные правители России готовы проводить свои перманентные «реформы» буквально до последнего русско-го! А нынешний глобальный кризис только поспособствует такому прогнозу! Достаточно освежить в памяти, как изменил демографию русского народа Большой Дефолт-1998.

Общий показатель вымирания по России в 1998 году — 700 000. Русское Вымирание в том году («поправка Паина») — 900 тыс. Однако в последующие четыре года (1999—2002) вымирание по России находилось в интервале от 930 до 960 тыс. Отсюда Русское Вымирание 1999—2002 гг. составляло по 1 150 000 каждый год, или в каждый из них на 250 000 больше, чем в 1998 году!

Русский народ не хочет жить! Но без русских Россия рассыплется! И рассыплется она гораздо раньше, чем вымрет последний русский! Условием к началу последнего распада России (по югославскому сценарию) станет падение доли русского народа до 50% в общей численности населения!

Матрица Русской Катастрофы функционирует не только как процесс ликвидации русского народа. Одновременно (!) она функционирует и как встречный процесс замещения обреченного русского народа народами пришлыми. Пограничная служба ФСБ России не торопится опубликовать данные

пограничного контроля по въезду в Россию и выезду из нее. Но отдельные цифры этого процесса озвучивают в своих интервью высшие чиновники страны. Поблагодарим их за это.

В преддверии переписи 2002 года В.Иванов (помощник президента РФ) дал важный ориентир положительного сальдо миграционного обмена (въезд-выезд) со странами всевозможного зарубежья. Через посты пограничного контроля только из стран СНГ в Россию в 2001 году прибыло 14,5 млн. человек, а выехало из страны 11,5 млн., остаток — 3 млн. Аналогичная картина была в 1999 и 2000 гг. **То есть только за эти три года и только из стран СНГ в Россию перебралось 9 млн. мигрантов!** А честнейший Госкомстат уверяет, что за межпереписной период (1989—2002) в Россию въехало всего 11 млн. мигрантов (выехало — менее 5,5 млн.). Здорово, правда? Там же В.Иванов добавил: «За десятилетний период (1992—2001) гражданство РФ получили 4,5 млн. человек» («АиФ» №15, 2002). А сколько миллионов мигрантов успели получить гражданство РФ за прошедшие с того времени семь лет (2002—2009)? Это — первая категория мигрантов.

Одновременно генерал-полковник А.Чекалин (заместитель министра ВД) сообщил, что «нелегальных мигрантов... по приблизительным оценкам, в России около 12 млн. человек» («АиФ» №32, 2002). Это — вторая категория мигрантов.

Честнейший Госкомстат в октябре 2003 года в окончательных итогах переписи поведал, что в стране зафиксировано всего 2,7 млн. неграждан России. Практически мгновенно (05.11.2003, «Человек и закон», Первый канал) в данных показаниях Госкомстата пробил брешь тогдашний глава МВД Б.Грызлов, сообщивший, что «выдано более 8 млн. миграционных карт»! Осталось невыясненным: кому же выдали 5,3 млн. (8 минус 2,7) миграционных карт, ведь гражданам России они без надобности?! Это — третья категория мигрантов.

Наконец 17.11.2006 президент Путин признал, что «в стране 10—12 млн. незаконных трудовых мигрантов, 500 тысяч — законных». Это — все та же вторая и последняя, четвертая категории мигрантов.

Анализируя эти неполные данные пограничного контроля и всех четырех категорий мигрантов, держа в уме растущее многомиллионное присутствие китайцев в России, несложно посчитать следующий ориентир: за 1992—2008 гг. в Россию въехало и осталось в ней примерно 30—35 млн. мигрантов! И здесь — главный вопрос: почему численность населения России не растет при таком притоке мигрантов, а только падает?!

Получается, что существует скрываемая часть миграции, которую упорно не «показывают» хроники Росстата и кото-

рая составляет 15—20 млн.; из них 10—12 млн., как мы теперь знаем, «счастливо нашлись» в сообщении президента Путина от 17.11.2006. Далее загадка, развилка вариантов.

Допустим, что 15—20 млн. скрываемой миграции по какой-то причине не учитываются в численности постоянного населения России. Тогда это является возмутительным нарушением международной практики и рекомендаций ООН в части статистики международной миграции, согласно которым мигранты, прожившие в стране более одного года, учитываются (!) в численности постоянного населения! Т.е. возможно, что сегодня фактическая численность постоянного (!) населения России: 160—165 млн.! Численность русского народа с учетом прошедшего после переписи времени — 110 млн. Все гораздо хуже, если, во исполнение упомянутых «практики и рекомендаций», миграция в полном объеме все же учитывается Росстатом в численности постоянного населения России. **В этом случае в пределах величины скрываемой миграции (15—20 млн.) практикуется подмена (!), сознательное уменьшение (!) фактического показателя смертности. Оба показателя взаимно гасятся! Не исключено, что в реальности за 1992—2008 гг. в России умерло и, соответственно, вымерло на эти 15—20 млн. больше! И русских вымерло не 17 млн., как это следует из официальных сводок Росстата, а — более 30 млн.! При этом варианте сегодняшняя численность русского народа — 95 млн.!**

Самое показательное подтверждение моих сомнений в достоверности хроник Росстата поступило 02.08.2007. В новостном выпуске «24» канал «RenTV» сообщил поразительную информацию. Председатель Центральной избирательной комиссии г-н Чуров признал, что между данными ЦИКа о численности избирателей и сведениями, которые подает в ЦИК Росстат, существует дыра в знакомые 15 млн. «дорогих россиян»!

Свои данные по смертности избирателей ЦИК получил непосредственно от губернаторов территорий. В ЦИКе их сравнили со сводками Росстата — они не совпали на 15 млн. человек! **Данные по смертности, полученные непосредственно с территорий и просуммированные в ЦИКе, оказались, по словам г-на Чурова, на 15 млн. больше официальных сводок Росстата!** Интересно: о реальных параметрах смертности и соответственно вымирания какого именно народа не торопится сказать всю правду честнейший Росстат? Уж не русского ли?!

Как мы видим: «ревизские сказки» от Росстата — продукт неизвестной свежести! Требуются буквально раскопки, чтобы разобраться с тем, какова же в действительности демографическая ситуация в России!

Суммируем. За годы реформ начиная с 1992 года в России вымерло (минимум) 17 млн. русских! Т.е. русский народ вымирает (минимум) по 1 млн в год, а в 2015—2020 гг. начнет вымирать по 2 млн. в год! За эти же годы в Россию въехало и осталось в ней 30—35млн. мигрантов. Т.е. мигранты оседают в России по 2 млн. в год!

Всякий видит, что «новая демократическая Россия» — это не только стремительно растущий последний русский погост, но также проходной постоянный двор и выгребная яма одновременно! Есть ли в нынешней России что-нибудь более страшное, чем полыхающая в ней Русская Катастрофа? Есть ли что-то, хотя бы сопоставимое с ней? Да близко ничего нет!

Начиная с 1992 года превышение численности русского народа над численностью всех других народов России уменьшается на 3 млн. в год, а в 2015—2020 гг. начнет уменьшаться уже на 4 млн. в год!

Казалось бы, несложная математическая задача. Требуется посчитать: когда внешне незаметные количественные накопления вызовут неизбежные качественные изменения, которые, в свою очередь, будут иметь тектонические последствия. Конечно, много неясного с количеством и национальностью мигрантов, далее — с фактической численностью постоянного населения, его национальным составом, показателями смертности и вымирания. Тем не менее все же можно утверждать, что тот год, когда доля русского народа упадет до критических 50% в общей численности населения России, находится в интервале 2020—2035 гг.

Увы, при самом худшем развитии процесса ликвидации русского народа и замещения его народами пришлыми уже 2020 год (!) может стать тем годом, когда падающая численность русского народа проскочит отметку в 50% от общей численности населения России! И это еще один вклад в объявленное обсуждение «Концепции-2020»!

Что для России дальше? «Дальше — тишина...» Россия на всех парах въедет в югославский сценарий распада и начнет разлетаться на крупные и мелкие дребезги. А могущество Китая будет прирастать бывшей русской Сибирью!

Сергей БАТЧИКОВ,
Александр НАГОРНЫЙ

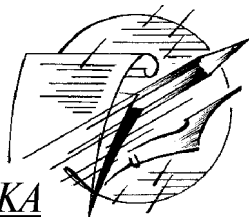
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕАТРА АБСУРДА

Кризис в России — совсем не тот, что на Западе. Если мы взглядем в его «черную, непролазную» трясину, у нас на многое откроются глаза. Поэтому так старательно отводят от этой трясины наш взгляд и власти, и «системная оппозиция» справа и слева. Власти окропляют нанесенные кризисом раны скудными брызгами денег, а юродивые из экс-демократов демонстрируют свои язвы и справки из психдиспансера.

Не смоет ли кризис всю эту пену? А главное, надо ли кризису в этом помогать и можно ли им управлять? Соблазн велик, но надо пощелкать на счетах. Кому это будет выгодно? Какая Афродита вылезет из этой пены?

Тут один змей-соблазнитель, притворившийся бывшим деканом экономического факультета МГУ и прорабом перестройки Г.Х. Поповым, шипит нам в левое ухо: «В связи с недостаточной эффективностью правительственных антикризисных мер я уже писал о необходимости смены правящей нами команды». Ведь верно шипит, нечистая сила! Ну, стяхнули мы наваждение, плюнули трижды через левое плечо, кажется, даже один глаз ему залепили. Так переползает, гадюка, к правому уху!

Шипит, со злобным присвистом: «В свете опыта двадцати лет, прошедших после Великой антисоциалистической



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

революции 1989—1991 годов... при избрании законодательной палаты гражданин должен иметь то число голосов, которое соответствует его образовательному и интеллектуальному цензу, а также величине налога, уплачиваемого им из своих доходов».

Глядь, а это и впрямь обычный Гавриил Харитонович Попов, записной демократ и предмет любви целомудренных мемуриальных дам. Кому этот Гавриил освободит место после «смены правящей нами команды»? Кого он назначит определять наш «интеллектуальный ценз», какие налоги потребует за право кинуть бюллетень в его урну? Вот что важно.

Потому и вглядываемся в клубящуюся тьму. Да это и не кризис вовсе, а какой-то шабаш. То Новодворская на свиные летит, то Илларионов в Конгрессе США упырей на Россию натравливает, то Горбачев пятном трясет. А там вдруг могила зашаталась, из гроба встает Архитектор. Почему ожили все эти призрак Великой антисоциалистической революции? Почему эта революция не дожрала своих детей и родителей? Почему так легко в нас вселяются всякие бесы?

В этом проблема. Может, кризис дан нам свыше, как испытание? Не будь этого срыва, наша привычка к наркотику нефтедолларов стала бы необратимой и подняться мы уже не смогли бы. Пузырь необеспеченных долгов и кредитов раздулся бы над Россией настолько, что его взрыв был бы опустошительным. Мы и сейчас пока не можем точно оценить размер грядущих потерь, но, похоже, пока они не смертельны. Нам еще дан шанс одуматься. Используем ли мы его — вот вопрос.

Чтобы использовать этот шанс, надо рассмотреть этот кризис в главном, не пытаясь обмануть историю. Да, он спровоцирован решением мировой финансовой верхушки обрушить «долларовый навес», который угрожал неконтролируемым сходом лавины денежных суррогатов. Это приходилось делать периодически и раньше, но лишь с возникновением системы виртуальных «деривативов», молниеносно перемещающихся по всему миру, уничтожение пузыря сопровождается таким грохотом.

Но нам-то не было никакой необходимости лезть в ростовщическую мышеловку за тухлым сыром. Россия почти сто лет выстраивала защиту от чужих «пирамид» — и выстроила! И вот, примитивные жулики без труда защиту повалили и втянули нашу страну в этот мировой лохотрон. Тут корень наших кризисов. Сколько ни обвиняй Ельцина с Чубайсом, их поведение объяснимо, они — волки в овчарне. Но когда отец тащит из дома достояние семьи, чтобы поиграть в наперсток, его грех гораздо тяжелее, чем у мошенника.

Что же наши «отцы нации», наши национальные лидеры? Казалось бы, отдали благодаря высоким ценам на нефть долги — так уноси скорее ноги из этого казино. Но нет, только подстегнули азарт своими ипотеками и рекламой, подогрели жажду наживы у «отечественных предпринимателей».

Но ведь за этим — деградация всей мировоззренческой основы нашего общества, и началась она уже полвека назад. Именно поэтому завелись в нашей среде Горбачевы и Яковлевы, комсомольцы-фарцовщики и демократы с людоедским оскалом. Как только во главу угла были поставлены спекулятивно-потребительские ценности, началась массовая деформация сознания и вытеснение творческого начала из мотивации человека.

Шаг за шагом, наверх по лестнице материального благосостояния стали подниматься те, кто получал теневые и криминальные доходы. Это усилило коррупцию, вызвало культурный кризис и деформировало шкалу мотивации молодежи. Преступность и теневой бизнес оформились как политическая сила. Будучи сплоченной общностью с развитой организационной базой, они стали самым активным и эффективным субъектом катастрофы и реформы.

Были ослаблены, а потом и отброшены критерии, согласно которым материальное и моральное вознаграждение росло соответственно заслугам в *труде, творчестве и защите общего дела*. Уже в процессе «десталинизации» руководство КПСС пошло на компромисс и допустило возникновение иерархии статусов, показателем в которой стало *материальное благосостояние*, не оправданное трудом. Общество постепенно переключалось на ценности стяжателей.

Делались ошибки, которых можно было избежать. Например, неверным было использование рентных доходов, которые СССР стал получать после ввода в действие месторождений нефти и ее поставок на западный рынок. Психология *рантье* была опасна для советского общества. Оно изначально было собрано как общество *трудовое*, на основе солидарности в *общем деле*. Рента разрыхляла эту основу. Рантье, получающий нетрудовые доходы и спекулирующий деньгами, как ростовщик, более враждебен трудящемуся человеку, чем капиталист-производственник.

За 12 лет (с 1973 по 1985 г.) население было приучено к завышенному уровню потребления, оплаченного нефтяными долларами. На всей цепочке товарно-денежных потоков возникли коррупционные структуры, которые поощряли нетрудовое обогащение и демонстративное потребление. Это развратило существенную часть населения и создало обстановку

ку недоверия и даже вражды. Возник раскол между трудовой частью общества и новым паразитическим слоем, который коррумпирует чиновников и партийных работников. Нарастание импорта в ущерб собственному производству деформировало и тип общества, и хозяйственную структуру. Обрушение цен на нефть на мировом рынке в середине 80-х годов вызвало кризис сознания, как у наркомана, лишенного привычной дозы.

Если отвлечься от деления на капитализм, социализм и пр., то речь идет о кризисах, которые пережили, наверное, все цивилизации. Они порождаются тайной войной «стяжателей» против тружеников и творцов. Это ползучая контрреволюция «стяжателей» и мародеров против революции развития. И цель таких регрессивных движений — вовсе не восстановление поврежденных в хаосе революции структур, а удушение того творческого импульса и той страсти развития, которые двигают революцию.

Почему же возникают эти провалы в развитии и побеждают, хотя бы на время, «душители идей»? В общем, потому, что люди *меняются!* Шкала ценностей и устремления людей гораздо более пластичны и податливы, чем считали творцы Просвещения или наши приверженцы коммунистических идеалов. В этом романтическом представлении о человеке был элемент невежества, а «стяжатели» за тысячи лет убедились, насколько слаб человек и как легко его соблазнить. Глобальные «стяжатели» выработали способы обессиливать, соблазнять и усмирять «творцов, борцов и тружеников». И арсенал этих способов непрерывно обновляется и совершенствуется. На это бросаются большие деньги, нанимаются обученные профессиональные кадры.

Судьбу определяют медленные процессы в «большом времени». Тут побеждает крот истории, который роет в стороне от больших дорог. И получается, что труженики и творцы, занятые общим делом, оставляют беззащитными свой тыл. И «стяжатели» прогрызают ходы к узловым точкам нервной системы культур и народов. Они овладевают пунктами символической власти — в кино и на эстраде, в СМИ и общественных науках. И тогда плюрализм постепенно превращается в тиранию их тупого индивидуалистического эгоизма, а под маской релятивизации ценностей идет их целенаправленная подмена.

У нас в 60—70-е годы эта ползучая диверсия еще маскировалась. Интеллектуальная бригада властей прикрывала ее идеологической шелухой, а сама в 80-е годы перешла в услужение «стяжателей». Началась вакханалия перестройки, де-

монтаж страны, хозяйства, армии, науки, принижение любого общего дела. В 1989 г. были фактически легализованы теневые и преступные доходы — постановлением ЦК КПСС и Совета Министров «каждому» гражданину СССР было разрешено тратить до 10 тыс. долларов США без указания источников их происхождения. Поскольку рубль был неконвертируемым, а легальные заработки в валюте имели не более 5 процентов экономически активного населения, такие деньги можно было добыть только преступным путем. Общество дозрело до того, чтобы принять и Яковлева с его идеей деиндустриализации, и Чубайса с его идеей распродать Единую энергетическую систему.

Для России (СССР) это был срыв с исторической траектории. Если выберемся из трясины, то вернемся на свой путь — в основном, а не в мелочах. Другое дело — нынешний кризис для Запада. Это логичная неизбежная веха на его пути в метафизический тупик. Этот тупик стал виден давно, уже в утопическом коммунизме. Марксизм придал предчувствию рациональный характер, а с 20-х годов прошлого века неизбежность кризисов именно в финансовой системе была объяснена научно. Конечно, разрабатывались все более изощренные способы смягчить эти кризисы и оттянуть развязку, но выздоровления на этой траектории, в общем, никто на Западе не ждет.

В январе 2009 года канцлер Германии и президент Франции публично заявили, что западная модель капитализма аморальна и подлежит замене. Подлежит замене не потому, что ВВП снизился на 1%, а именно потому, что аморальна. А значит, не имеет будущего. Стало видно, что этот, казалось бы, финансовый кризис приобрел принципиальный, метафизический характер. Это кризис той системы ценностей западного капитализма, которая сложилась за четыре века. Это — кризис духовных основ цивилизации, который наконец-то осознается как данность.

Рушится сама антропологическая доктрина Запада, модель «экономического человека» — *Homo economicus*. Для России именно это — главный урок кризиса. Только усвоив этот урок и превратив полученное знание в политическую волю, мы выберемся из нашего «длинного» кризиса и возродимся как страна, культура и народ. На этом пути нас неизбежно ждут испытания. На Западе сильна партия ястребов, которая попытается оттянуть преобразование системы путем сброса своих болезней на периферию. Это становится все труднее, и Западу придется идти на все более жесткие меры — очищать Землю от «лишних» людей.

Как могли мы в преддверии этой глобальной чистки примкнуть к больной и эгоистичной цивилизационной общности?! И не только примкнуть, но и подчиниться ей, отказавшись от общего дела, которое одно могло защитить нас в этом суровом мире. Мы упорно отказывались видеть и слышать то, что происходило в других странах.

В 70—80-е годы уже было видно из опыта Запада, что жизнь по указке обольняющей наркотической рекламы заходит в тупик, что психология эгоистического индивидуалиста лишает его жизненных сил и способностей, делает всю инфраструктуру его жизнеобеспечения все более и более хрупкой и уязвимой. Надо было просто посмотреть, как меняется состав населения и культурный облик европейских столиц. Было ясно, что «средний класс» Запада — не жилец на белом свете, а мы захотели его имитировать!

Кому как не нам, в России, было знать, что лишь очень небольшая часть нашей жизни может быть загнана в рынок, в отношения купли-продажи. История Запада в этом смысле уникальна и неповторима. Запад как целое уже в Средние века обезопасил себя от вторжений извне и перестал нуждаться в народной армии, в общей воинской повинности. Наемная армия! А теперь уже и частные армии! Могла ли Россия нанять легионы ландскнехтов для своих войн? Может ли она это сделать сегодня? Нет, как нас к этому ни толкают.

Завоевав колонии и начав выкачивать оттуда колоссальные средства, Запад перевел на рыночные основания почти все человеческие отношения, которые в России требовали подвижничества, соучастия в общем деле. Кем были в России учитель, врач, ученый? Разве продавцами дорогих услуг, как на Западе? Нет, они были работниками на ниве народного образования, здравоохранения и т.д. Каким бурьяном зарастают у нас теперь эти нивы, когда их по примеру Запада переводят на рыночные рельсы!

Так ведь и на Западе они в кризисе. Да, врач получает в США 100 тысяч долларов в месяц — а здравоохранение в целом в тяжелом кризисе, погрязло в коррупции, криминализуется. Больной — источник очень большого дохода. Постепенно дошло до того, что целая отрасль занялась «производством больных». Это национальная беда богатейшей страны мира. Но зачем мы побрели в эту яму? Зачем посадили в кресло министра Фурсенко, который мечтает скопировать в России школу западного типа, хотя даже на Западе признавали преимущества русской школы?

Перейти в цивилизационный фарватер западного капитализма нас уговаривала целая рать краснобаев — от Аганбегяна

до Яковлева. И массы людей, поверив академикам, соблазнились. Как говорится, горе соблазненным, но вдвойне воздастся соблазнительям. Но хоть капли интеллектуальной совести могли же мы от них ожидать! И хоть капли разума от самих себя...

Оглянемся вокруг — мы на пепелище. Основа жизни — хлеб. Пришедшие к власти неолибералы ликвидировали колхозы и совхозы, пустили землю на рынок, расплодили несчастных фермеров без машин и удобрений. Так хоть подведите итог этой катастрофы. Ведь если перекроют нам импорт продовольствия, голода не избежать. За три-четыре года можно было бы выбраться из ловушки, но ничего реально не делается. Купили в рамках национального проекта 100 тыс. телят, в то время как сокращение поголовья за годы «реформ» составило 40 миллионов (!) голов. Долго был министром Гордеев, вещал вальяжно, с Путиным постоянно советовался. Ушел тихонько, ни разу не отчитавшись по сути дела.

Уничтожили науку, но разве отодвинуты от власти те, кто ее развалил? Разве по этому поводу хоть раз президент объяснился с обществом? Нам часто говорят о планах перевооружения армии, но как же эта камарилья неолибералов, от А до Я, которая хозяйничает в стране под прикрытием ширмы из «силовики», собирается перевооружать армию? Похоже, они убедили обоих президентов, что современное высокоточное оружие вырастет, как грибы, без всякой науки, надо только пошуршать долларами и помахать триколором.

Что сделали для восстановления экономики России за семь «тучных» лет? Практически ничего! Где «программа Грефа», где «удвоение ВВП», где «ликвидация бедности», где «26 блоков АЭС»? Ни по одной заявленной программе не отчитались. Миллиарды рублей закачаны в автопром. За двадцать лет его можно было модернизировать с выходом на мировой уровень — это видно по опыту Кореи и Китая. Но ничего не было сделано — и ничего не меняется. Куда, в принципе, ведут народное хозяйство России? Внятного ответа нет.

Как это ни покажется диким, теперь наши неолибералы все делают наперекор США. Там национализируют банки, а в России само слово «национализация» — табу. Во время кризиса страны со слабой валютой защищают свою финансовую систему. США, наплевав на всех, включают на полную мощность печатный станок, снижают цену кредита. У нас все наоборот — полная раскрытость, рублей нет, опять покупают доллары, цена кредита взлетела до небес, парализуя производство. Что все это значит? Мы теперь «идем своим путем»? Похоже, «экономисты в розовых штанишках», закупившие для себявиллы на Французской Ривьере и гото-

вые к отплытию яхты, для всех остальных уготовили путь «Титаника».

Кажется, после 1991 года мы могли бы извлечь урок из своего тяжелого опыта. Ведь мы пережили настоящее социальное бедствие, утратили половину территории и экономического потенциала. И что изменилось в умах людей? Как только пошли нефtedоллары и власть толику их бросила в толпу, так люди вошли в потребительский раж, какой и на Западе редко встретишь. Кредиты брали, даже не думая, из чего их будут отдавать. Вся пропагандистская машина, включая государственные телеканалы, гнала людей «брать от жизни все — здесь и сейчас». Теперь перед нами маячит образ разбитого корыта.

Мы еще могли бы подтянуть пояса и заняться восстановлением разоренной страны. Для этого есть все: кое-какие производственные мощности, рабочие руки и головы, кое-какой суверенитет над природными богатствами. Нужна только воля. А вот ее-то и нет! Людей тысячами увольняют с заводов, а заводы пускают на распыл. И люди покорно расходятся, и даже не удивляются — почему же власть делает этот безумный выбор? Почему сами они обрекают свои семьи на голод, но у них и в мыслях нет организовать для спасения?

Сделав общее усилие, Россия могла бы себя обеспечить всем необходимым, кроме видеоплейеров. Ну, качеством похуже, чем у корейцев. Но не выбрасывать же из жизни еще четверть населения, не губить же производство! Не разоружаться в преддверии назревающих войн «низкой интенсивности»! Никогда бы раньше в России не поступили, как сейчас — при гораздо более скудных ресурсах.

Поскольку нет никаких попыток самоорганизации у населения и никаких попыток организации у власти, снова вылезли из окопов «прорабы перестройки», которые не успели закончить свое дело при Ельцине и теперь хотят сыграть второй акт этой спецоперации и прикончить «как геополитическую реальность» уже Российскую Федерацию.

В мартовском номере «Московского комсомольца» за 2009 г. свою «разведку наглостью» произвел Г.Х. Попов, учитель гайдоров, илларионовых и пр. Давайте посмотрим, как он видит судьбу России, придушенной кризисом. Вот выжимка из его манифеста. Он пишет: *«Обозначу сугубо тезисно главные проблемы. Их мы обсуждали в Международном союзе экономистов, и они, надеюсь, будут полезны всем, в том числе участникам встречи двадцати ведущих стран мира...»*

Необходимо изъять из национальной компетенции и передать под международный контроль ядерное оружие, ядерную энерге-

тику и всю ракетно-космическую технику. Нужна передача под глобальный контроль всего человечества всех богатств недр нашей планеты. Прежде всего — запасы углеводородного сырья... Мировое правительство. Его формирует ООН по согласованию с Мировым парламентом. При нем необходимы и Мировые вооруженные силы, и Мировая полиция».

Как видим, это уже не глобализация, а просто превращение России в бантустан, подчиненный некоему «Мировому правительству». Оно «изымет из национальной компетенции» России «ядерное оружие, ядерную энергетику и всю ракетно-космическую технику», будет распоряжаться «всеми богатствами недр». Вот такое «возвращение в цивилизацию» по Попову.

Неужели наше население не раскусит истинный смысл всех этих «тезисов»? Ну ладно, не поняли в 1991 г., когда аплодировали этому профессору. Но теперь-то! Ведь он поясняет для непонятливых на буквально шукурном уровне. Вас лишат «всех богатств недр», а это при разрушенном хозяйстве и проданных за долги предприятиях было ваше последнее богатство и миска чечевичной похлебки. Население России станет нищими — всё, как целое. Кучка полицаев и балет Большого театра не в счет. А что ждет нищих после второго акта перестройки?

Профессор Попов своих проектов не скрывает: *«Должны быть установлены жесткие предельные нормативы рождаемости с учетом уровня производительности и размеров накопленного каждой страной богатства. Пора выйти из тупика, на который указывал еще Мальтус: нельзя, чтобы быстрее всех плодились нищие».*

Слышите, нищие? Вам будут «установлены жесткие предельные нормативы рождаемости», а то вы слишком быстро плодитесь и даже слегка притормаживаете вымирание, которое с таким трудом организовали прорабы перестройки. А если кто-то ускользнет от «жестких нормативов рождаемости», то к вам придут люди в белых халатах с ордером на насильственный «генетический контроль» вашего ребенка в чреве матери. Скорее всего, у него будут найдены болезни, и он будет изъят из чрева под местной анестезией. Ткани не пропадут, в них только стволовых клеток на 3 тысячи евро. Рыдания и взятки не помогут (русская коррупция к тому времени будет выжжена каленым железом).

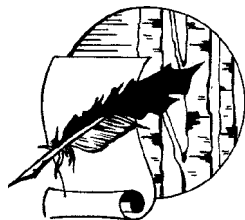
Попов излагает Новый порядок доходчиво: *«Новая цивилизация должна дать выход из тупика, когда человека начинают лечить еще в чреве матери и лечат всю жизнь... Страшную перспективу прогрессирующего накопления у ребенка генетических болезней надо прервать. Наиболее перспективным представляется генетический контроль еще на стадии зародыша и тем самым постоянная очистка генофонда человечества».*

Кстати, при обсуждении этой статьи Попова в Интернете один юзер заметил: «Парадокс в том, что в условиях осуществления «генетического контроля на стадии зародыша» Гавриил Харитонович просто не появился бы на свет». Не могу согласиться! Как раз в этом никакого парадокса нет. Парадокс в том, что массу «совков», которые не дали разгуляться евгенике, помогли выжить маленькому Гаврюше, обучили его на профессора и пр., он теперь мечтает стереть с лица земли.

Тезисы Попова — повод вспомнить то, о чем мы уже говорили: в пределе, в последней точке бифуркации, все равно окажется, что есть два вектора — или к Сталину, или к Гитлеру. Нейтралитет невозможен. Ведь не шутят ни Тэтчер, ни Бжезинский. Грядет глобальная чистка территорий, инвентаризация минеральных богатств и пресной воды. Жак Аттали знает, что говорит: *«В грядущем новом мировом порядке будут побежденные и победители. Число побежденных, конечно, превысит число победителей. Они будут стремиться получить шанс на достойную жизнь, но им, скорее всего, такого шанса не предоставят. Они окажутся в загоне, будут задыхаться от отравленной атмосферы, а на них никто не станет обращать внимания из-за простого безразличия. Все ужасы XX столетия поблекнут по сравнению с такой картиной».*

Где мы живем, в какой стране? Перед нами ректор университета, который излагает публично фашистские планы и впадает в истерику — но при этом принят в приличном обществе и считается демократом. Мало того, он печатает свои бесноватые манифесты в газете, владелец и главный редактор которой — член Общественной палаты РФ. И никакой реакции! Как относится к таким заявлениям господин президент? Что на это скажут единомышленники Попова по «политическому классу» — Гозман, Ясин и прочие гуманисты? Или отмежуйтесь от этого профессора, отлучите его от студентов, не подавайте ему руки, или вас надо считать его сообщниками. Театр абсурда продолжается: Чубайс, управляющий собственностью России, Гавриил Попов — наставник русских студентов!..

Да, слабая и безвольная российская власть сейчас не на высоте. Она отказалась нести бремя вождя и организатора в момент нарастающего бедствия, в котором сама весьма и весьма повинна. Но и мы, население России, повинны в ее слабости и безволии — мы не вели власть, не гнали ее выполнять свои обязанности. За это сегодня и расплачиваемся.



Валерий ХАТЮШИН

СТРАНА РОДНАЯ...

* * *

В другой стране, в другом тысячелетье...
Что это было? Сказка иль мечта?
Тоской души сумел переболеть я,
и вот — страна не та и жизнь не та.

В другой стране, в другом тысячелетье
мы оказались под пятой беды,
под игом тьмы, опутанные сетью
цинизма, лжи, насилия и вражды.

В другой стране, в другом тысячелетье
остались детство, юность и любовь...
Когда-то мир хотел душой согреть я...
Теракты, хохот, секс, разбой и кровь...

В другой стране, в другом тысячелетье...
Как дни, века над миром пролетят...
И может быть, в столетье двадцать третьем
стихи мои согреют чей-то взгляд...

НОВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

Всем расплата в избытке отмерена.
У расплаты — Божественный свет.
Два ботинка, летящих в Америку,
пострашнее крылатых ракет.

Не избегнуть их пламени адского,
не сломать роковую судьбу..
И печать от ботинка багдадского
ярко светит у Буша на лбу.

Если враг на последнее зарится, —
будут больно врагу отвечать.
И сияет на бушевской заднице
от второго ботинка печать.

СТРАНА РОДНАЯ...

Предсмертно ржут дебилов залы,
в порочный мрак погружены.
И в Новый год звенят бокалы
под гимн разрушенной страны.

С экранов, быдлу на потребу,
текут жестокость и разврат.
...Летит Царь-колокол по небу
и беспрестанно бьет в набат.

Но, крику неба не внимая,
глядит в экран орда слепцов.
Безмолвствует страна родная
под смех мерзавцев и скотов.

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Звездный свет, струящийся во мгле...
12 ноября 2008 г.

Небесный блеск ночных лампад...
Весны промозглой снег и слякоть...
Еще я долго буду плакать
над самой горькой из утрат.

Наркоза тягостный провал...
Надежд больничных упования...
Я вместе с ней переживал
ее безумные страдания.

Мы с ней по жизни пронесли
груз нескончаемой печали...
Минуты смутные текли.
Всё понимая, мы молчали.

Запомнил я, что в этот миг
уже почти потусторонне

едва живой и скорбный лик
застыл, как будто на иконе.

В последний раз взглянули мы
в глаза друг другу. Сказка детства
мелькнула в памяти из тьмы
в тоске обрушенного сердца.

Вот и настиг нас черный срок
неизменяемой разлуки.
Прости мне, мама, что не смог
ничем твои облегчить муки.

Как жаль тепла далеких лет!..
Тех лет теплом проникнут весь я...

В холодном гулком поднебесье
дрожал померкший звездный свет...

* * *

Просто брожу по зеленым аллеям,
просто прохладой вечерней дышу.
Возле пруда, ни о чем не жалея,
просто на гладкую воду гляжу.
Ни вспоминать, ни грустить не желаю,
сердце устало томиться тоской.
Просто на синее небо взираю,
просто вдыхаю зеленый настой.
Воздух недвижим, бесшумны деревья,
птицы молчат, догорает закат...
...Милое детство, родная деревня,
бабушка, мать молодая и брат.
Речка живая бежит благодатно...
Господи... Что ж я... Опять и опять...
Близко, и зримо, и так невозвратно —
поле в цветах и веселая мать...

ВЗЯТИЕ КРЕМЛЯ

Наше солнце без нас не взойдет.
2001 г.

Что же стало с Родиной моей!
Как повально люди измельчали!

Нет былой страны богатырей.
Есть страна убийственной печали.

Молодые не хотят рожать
в эти годы бедственно-лихие.
Некому врагов уничтожать
на просторах гибнущей России.

Врать и грабить нынче не грешно.
Никаким властям не стало веры.
Генералы скурвились давно,
и в себя стреляют офицеры.

Соберусь я с горечью своей,
моровой измучен свистопляской,
самых верных призову друзей —
встанем под часами башни Спасской.

Много знала Русь великих смут.
Но иссяк, как видно, дух бунтарский.
Прозвенят часы, и к нам сойдут
с пьедестала Минин и Пожарский.

Кликнем клич в живую даль веков,
коль страна бесстрашием ослабла, —
к нам прискачут в грохоте подков
Пересвет могучий и Ослябя.

Коль в стране крутых мужей изъян
и смердят ублюдки под скотами, —
к нам придут Степан и Емельян,
и Суворов тоже будет с нами.

В окруженье дьявольских измен,
чтоб рассеять этот мрак жидовский,
Сергий будет здесь, и Гермоген,
и упорный Серафим Саровский.

С Курской битвы под курантов бой
долетит орудий канонада.
Маршал Жуков наш возглавит строй
на коне победного парада.

Клеветой безумной обожжен,
Сталин подойдет и встанет рядом,

врассыпную затрусит ОМОН,
сгинув под его спокойным взглядом.

Перед самым часом грозовым
подбежит сибирская пехота,
и с ее напором штурмовым
распахнутся Спасские ворота.

Всей трусливой сволочи на страх
мы войдем в кремлевскую обитель —
патриот, мятежник и монах,
и святитель, и герой-воитель.

И знаменьем крестным осенясь,
смяв охрану в схватке скоротечной,
крикнем: «Кто здесь временные?! Слазь!
Мы вернулись! Мы пришли навечно!»

Но в Кремле не будет никого,
молча встретят нас пустые стены.
Растворятся в воздухе его,
как мираж, наперсники измены.

Нас обнимет храмов немота
горькой болью вековой утраты.
Слишком долго смерть и пустота
обживали царские палаты.

Но из жуткой этой пустоты,
гиблой тьмой разящей, как могила,
из тщеты и черной клеветы
вся совьется вражеская сила.

Мерзих бесов адский легион
будет выть и прыгать перед нами.
Стаей трупных грифов окружен,
выйдет Мертвый с пьяными глазами.

Прогорланит по-вороньи: «Чта-а?!»,
отрыгнув гниением блевотным.
Телесвора — мразь и вшивота —
изойдет рычанием животным.

Сергий, Гермоген и Серафим
Крест поднимут со святой молитвой.

Каждый воин именем своим
поклонится небу перед битвой.

Маршал Жуков, Разин, Пугачев,
Пересвет, Ослябя и Суворов,
усмехнувшись на бесовский рев,
без излишних споров и разборов

порешат нечистых порешить,
и начнется рубка злобных тварей,
будем их кромсать, косить, крошить
всё мощней, отчаянней и ярей.

Вдолбим в землю, искромсаем в пыль,
истолчем в ничто гнилое семя.
Били шведов с ляхами не мы ль?
И не мы ль спасали сучье племя?

Князь Пожарский отсечет башку
Мертвецу с опухшими глазами,
завопит она: «Ку-ка-ре-ку-у!..»
и, взмахнув ослиными ушами,

улетит за море-океан
к другу Биллу как посланье смерти...
Весь паскудно-либеральный клан
за собой в огонь утащат черти.

Но другим — сияющим огнем
озарится ночь в родной Державе:
то взойдет навеки над Кремлем
солнце русских в золоте и славе.

Вождь с улыбкой приподнимет бровь,
скажет: «Здесь народа интересы...»
Правду, веру, доблесть и любовь
не осияют никакие бесы.

На Руси не будет больше смут.
Враг познает грозную науку.
Крепко Сталин с Мининым сожмут
каждому из нас плечо и руку.

Редакция журнала «Молодая гвардия» сердечно поздравляет нашего автора Евгения Артюхова с 60-летием и желает ему отменного здоровья и добрых трудов на благо России.

Евгений АРТЮХОВ

БУРЫЙ КАМЕНЬ

* * *

...А жизнь тихонько набирает силу.
Так, кое-как очухавшись, больной,
казалось, час назад глядел в могилу,
а вот поди ж ты — шутит с медсестрой.

А там, Бог даст, и дело на поправку
и выписку в прекрасный страшный мир,
где ждут, как манны, к пенсии прибавку
и обсуждают ценник на кефир.

А то, что внук убитыми глазами
уже с утра глядит через стакан,
и плачет дочь кровавыми слезами,
и зять не чинит сорванный «стоп-кран», —

так это все детали и не больше.
Кого, скажите, быт не брал в тиски?
Жизнь бьет ключом.
Дела идут, как в Польше.
Растет в цене квадратный метр тоски.

* * *

Провожали солдата в последний окоп.
Укрывали родимой землей...
Только тесен ему военкомовский гроб,
непригож отведенный постой.

Не с того, что земля холодна и сыра,
глубока беспросветная ночь,
а с того, что, где нет ни кола ни двора,
он оставил супругу и дочь.

Не взяла его душу чеченская сталь,
и теперь она рвется на свет,
где к подушке казенной приткнута медаль
и в муаровой ленте портрет.

Расступитесь, позвольте, коль хочется ей,
легкой, словно кадильный дымок,
задержаться среди молчаливых друзей,
постоять возле дочки чуток;

удивиться на вдовый закушенный рот,
на елей, что при жизни не льют, —
пока, словно пичугу, ее не вспугнет
троекратный прощальный салют.

БАЛЛАДА О ВОЗВРАЩЕНИИ С ВОЙНЫ

Я ехал, сидя у окна,
уоставившись в окно.
Там, за стеклом, текла страна,
как кадрами кино.

Мелькали избы и сады,
овраги и мосты,
поля, дороги и пруды,
погосты и кресты;

еще приметы прежних лет
в линиялых кумачах,
в призывах, списанных с газет,
в облезлых Ильичах.

Но, обступив со всех сторон,
как поворот в судьбе,
постройки рыцарских времен
вставали в городьбе.

Я не скажу, что были мне
их башни тяжелы,
сады в рождественском огне
нисколько не милы.

Но я не мог при всем при том
в смущении большом

себя не чувствовать бомжом
на празднике чужом.

Пока я порохом дышал,
покуда вшей кормил,
меня насущного лишал
сброд, вставший у кормил.

Он бросил в каску мне гроши,
плеснул в мой котелок,
чтоб я досаду заглушил
и рыпаться не мог..

Цвело вагонное стекло,
подрагивал вагон,
и эхо новое росло
из давешних времен:

«Иначе — теплый Магадан
и лагерная пыль,
лесоповал, расстрельный план
на выводе в Сибирь...»

Точь-в-точь, — стучал состав. —
Точь-в-точь
на муки нету льгот.
Вот, разве, появился скотч,
чтобы заклеить рот.

* * *

Это чудо создал не Господь.
Не поймешь — полужверь, полуптица? —
под юпитеры выставив плоть,
голосит на подмостках певица.

А в ответ у нее за спиной
жжет и жарит подпевка — до дрожи.
Только ритм — не людской, не земной —
выгибает тела и корежит.

Нету силы глядеть до конца
и людское искать в этом сраме...
Эка воют пустые сердца,
словно ветры, в разрушенном храме.

БУРЫЙ КАМЕНЬ

Погост сносили Дьяковский, а камни, что здесь покоились по два-три века, зевакам выставляли на показ: не все, мол, так уж худо, коль умеем мы древнее искусство отличать от всяческих поделок и подделок.

И люди, для которых расчищали площадку для гуляний, подходили, порой водили пальцами слепыми, пытаясь прочесть, кто тут лежал.

А чуть поодаль рокотал бульдозер, и вниз к Москве-реке с крутого склона кресты, ограды, камни помоложе катились и цеплялись за кусты.

И среди них я увидел высокий надгробный столп из бурого гранита. Он был искусно резан и шлифован с такой душой, что небо отражалось, как век тому, когда на месте этом стоял убитый горем человек.

Я прочитал с огромным удивлением, что был он не купец и не помещик, не фабрикант, банкир или военный в чинах, летах и при больших деньгах.

Он был всего лишь молодой крестьянин из здешних мест. А памятник чудесный воздвиг жене, скончавшейся при родах, и с любушкой своею, как писалось, под камнем сим себя похоронил...

Я шел домой. Душа моя рыдала не потому, что жалко человека, хотя, конечно, было очень больно представить безутешного его.

Она меня оплакивала, ибо я стал ничуть не лучше этих бесов, кто пальцем или лемехом железным ведут бездумно по чужой судьбе.

Ведь прежде, чем сочувствие проснулось,
я принялся подсчитывать: во сколько
бедняге обошелся непомерно
широкий жест или красивый шаг.

Под сердцем глухо рокотал бульдозер.
Но бурый камень, сброшенный с откоса,
упал на грудь и больно зацепился,
и вот лежит.
И благо, что лежит.

Валерий КАПРАЛОВ

ЗИМНИЙ ВСАДНИК

* * *

Коня навеки отразит вода
в рассветный час, что сгинет без следа,
когда по крупу мокрого коня
вода стекает чистыми ручьями,
а конь своими влажными глазами
читает книгу скачущего дня,
когда, на эхо ржаньем отвечая,
он раздувает теплые бока,
и резкий свист зовет издалека
туда, где слышен пряный запах чая.
И кипяток дымится в котелке.
И горожане, поднимая лица,
по берегу идут, чтобы умыться,
и сны их растворяются в реке.

* * *

Забытая дорога вдаль.
По ней
я в детстве бегал к солнцу.
Небо — близко,
касалось головы.

И цвел репей.
Завод казался белым обелиском.
Здесь жили мы,
встречаясь день за днем
с горячим солнцем.
Раскалялись степи.
И стены дома солнечным лучом
отштукатурены.
И трав прямые стебли
тянулись к свету.
Красил зной барак.
Молоковозы солнце развозили.
Я залезал
на пыльный наш чердак
поближе к солнцу..
Люди приходили,
кормили нас горячим пирогом,
сиротами украдкой называли
и, добротой озаряя дом,
все будущее в жизни
просветляли.

* * *

Какое головокруженье —
стоять среди глухого сада
и в желтом ливне листопада
смотреть на облаков движенье.
Испытывая невесомость,
к тугой антоновке тянуться,
свободно телом изогнуться,
не яблоко сорвать, а солнце.

НОЧЬЮ

Кто рассыпал по небу сквозному
этот путь?
Оглянуться лишь раз
и на звезды взглянуть по-иному.
Приближается яблочный Спас.
У антоновки треснула ветка
от плодов.
До осеннего ветра
солнцем пахнет трава.

Гаснет зной.
Август.
Яблочный путь надо мной.

ЦВЕТ ЗЕМЛИ

Так ночи зимние светлы,
как будто снег на небо выпал
и черноту его засыпал,
сровнял с поверхностью земли.
И кажется: в пустыне белой
раздастся топанье копыт.
Вот всадник на коне летит,
припав к нему озябшим телом.
И где-то на краю земном
сверкнет звездой на небосклоне.
А вслед ему помчатся кони
гривастым рыжим табуном.
И на душе спокойней станет.
Развеется белесый дым.
И цвет земли с небес проглянет
зрачком бездонным и живым.

* * *

Когда, переполняя города,
деревня опустеет навсегда,
и только, словно малая звезда,
один тот дом, наполненный теплом,
мне будет виден на сто верст кругом,
тогда я брошу город навсегда
и поселюсь вдали, чтоб сердце выло.
Но тысячи охотников — людей,
на зверя ружья взяв и без затей,
забыв о том, что это уже было,
пойдут облавой. И сжимая круг..
Я так боюсь: а если это вдруг
душа моя со мной заговорила?

* * *

Есть вечные вопросы: почему
лишь человек имеет светлый разум,
а долговечны сосны или вязы,
чьи корни погружаются во тьму,
чьим кронам недоступно пониманье
законов жизни?

И когда пилу
мы водим по шершавому стволу,
то сквозь его глухое колебанье
нам слышится отчетливо порой,
что и у нас была судьба иная,
пока мы ничего о ней не знали,
покрытые корявою корой.

* * *

Вот день прошел.
И воздух чист и пуст.
Качает сломанной вершиной куст.
В изгибах убегающей реки
прозрачны краски.
И слова легки.
Касается меня твоя рука:
«Все обойдется, будет жизнь легка».
И зыбкое пророчество твое,
как облако —
и тает и плывет.

* * *

Где осень сквозит по забытым садам,
построю свой дом под кирпичной трубою,
а вечером в печке заслонку открою,
чтоб весело было огню и дровам.

Зачем предаваться на волю судьбы?
Я сам подожгу золотые поленья.
И чистого духа глухое томленье
поднимется в небо из теплой трубы.

* * *

В природе лишь одно необратимо —
бег времени.
А время, как судьба —
всё было, а потом промчалось мимо,
всё превратилось собственно в себя:
деревья — в сад,
а дети — в поколение,
деревня — в город,
окна — в небосвод.

Сожмется время в жесткое мгновенье —
и птица превратится в самолет.
Но почему, себя опережая,
подумаешь — и сердце захлестнет...
Опять летит по небу птичья стая
и песню позабытую поет.

Борис ОРЛОВ

ГНЕВНЫЕ СТРОКИ

* * *

«А Русь еще жива... Еще жива...
Ни немцу не поддастся, ни монголу...»
Слова во рту сгорают, как дрова,
Подогревая в голове крамолу.

Не скрипы колесниц, не звон мечей
Тревожат сердце — есть страшней невзгоды!
От пламени обманчивых речей
Бесследно гибнут страны и народы...

ДОМ

В окнах — небо. Потолок высок.
Дом большой. И сад вокруг тенистый.
На дорожках — золотой песок.
В комнатах — тепло, светло и чисто.

Вроде всё на месте: стол, кровать,
телевизор... Но душа не рада.
Нет иконы. Не горит лампада.
В этом доме негде помирять!

* * *

Рассвет. Предзимье. Тяжесть сна.
Безмолвие в беседках.

Блестит холодная луна.
Листва звенит на ветках.

Дымы из труб летят в зенит —
Жди стужу по приметам.
И даже слышно, как звенит
Бубенчиком планета.

* * *

Ты-то откуда? А ты-то куда?
Неразбериха — гнилая вода.

Горе не горе. Беда не беда.
Из ниоткуда бежим в никуда.

Будет ли лучше? Не стало бы хуже!
Смутное время — мутная лужа.

* * *

Гарь пепелищ и зарницы пожарищ,
Дымного ветра смертельный кульбит.
Был человек человеку товарищ,
Стал человек человеку бандит.

Вместо Союза — враждебные страны.
Вам и позор, и бесчестье к лицу.
Не на иконы — на телеэкраны
Молитесь вы Золотому тельцу.

* * *

Станция. Старый автобус. Билетом
Обзаведусь. И отступит мороз.
Родина встретит лазерным светом
Чистых снегов и пречистых берег.

Небо прозрачное высветлит душу,
Над горизонтом затеплит звезды.
Мартовский вечер. Подмерзшие лужи.
Кто меня ждет? И куда я пойду?

Встанет автобус. Тропинкой знакомой
Тени деревьев потянутся вслед.

И засияет над маминым домом
Детская память — Божественный свет.

* * *

Власть всегда темнила и лукавила —
Для народа нет единых норм.
Жизнь — игра... И в ней меняют правила
С помощью восстаний и реформ.

Но и во дворце, и в тесной комнате
Есть икона для бесед с Творцом.
Проливая кровь чужую, помните:
Жизнь — игра с трагическим концом!

* * *

В живую плоть стреляют, а не в блюда,
Ныряют в джунгли низменных страстей.
Во времена реформ и революций
Бог отнимает разум у людей.

Не оглядеться и не оглянуться —
Мир словно дом без окон и дверей.
А люди, от реформ и революций
Озlobясь, превращаются в зверей.

* * *

Простором душу лечим,
Дорога нелегка.
Звени, звени, бубенчик,
Для друга и врага.

Шумит лесная чаща —
Ее бураны гнут.
Не числите пропащим,
Пока сжимаю кнут.

Бубенчик, Бога ради,
Звени про наш полет
Врагу, что ждет в засаде,
И другу, что не ждет...

Летим — ни огонечка,
Свист ветра у виска.

Овраги, пни да кочки,
Да русская тоска.

А климат переменчив,
В занозах облучок.
Звени, звени, бубенчик —
Веселый дурачок.

То волки, то медведи,
То горе, то беда.
Куда-нибудь приедем,
Но знать бы нам — куда!

* * *

Трещит богатства грязная изнанка —
Не сшить слепым безумием страстей.
Ворьё в своих законах, словно в замках,
Укрылось от ограбленных людей.

В статьях мелькают рожки да копытца,
Как в омуте — лишь сверху тишь да гладь.
Но даже в пьянстве от себя не скрыться
И в спорте от себя не убежать.

* * *

Уплывают и луга, и пашни
Под асфальт и в сорную траву.
Каменную бабой телебашня
Из-под неба смотрит на Москву.

А вокруг то фэнтэзи, то мифы
Отрывают от земных забот.
С телебашни, свив гнездо, как грифы,
Олигархи гадят на народ.

* * *

Отними у меня Россию —
Что останется у меня?
Виктор Смирнов

Ты пришел нас грабить, подлый тать?
Будешь проклят, а не вписан в святцы.

У меня Россию не отнять —
Я не раб, чтоб без нее остаться.

Не на кого злиться и пенять:
Наши судьи — предки и потомки.
У меня Россию не отнять —
Велика... не сухари в котомке!

Я на вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я — ее частица!

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

На стенах — блики желтых фотографий.
Друзья и предки. Взгляд со стороны.
В своей избе, как будто в батискафе,
Я погружаюсь в прошлое страны.

Меня овеет ветром вечной славы
Из-за стекла, где дремлет русский мир.
...На аргамаке дед гарцует браво —
Он рвется в бой. Гвардеец-кирасир.

Во имя веры и святого трона
Готов поигнать. Пристальной смотри —
Герой войны... Но пятая колонна
Россию расколола изнутри.

...Тяжелый дым повис над Сталинградом.
Долг воина превыше «высших мер».
И смотрит из огня спокойным взглядом
Отец — двадцатилетний офицер.

Он победил. Но стали вне закона
Фронтвики — виновны без вины,
Их предали... И пятая колонна
Глумится над историей страны.

Скользит слеза. Сдавило горло горем.
Повымерла почти что вся родня.
Друзья погибли в Баренцевом море —
Они с укором смотрят на меня.

Враги нас окружают. И вороны
Над селами кружат. Ослеп народ.
«Вставай, страна...» Но пятая колонна
Уничтожает армию и флот.

Душа болит. Довольно спать! Довольно!
Нам защищать духовный Сталинград!
Избу покину. И на колокольню
Я поднимусь — и загремит набат!

Владимир АРХИПОВ

ЛЮБОВЬ НЕУГАСИМАЯ

ВСТРЕЧА НА РОЖДЕСТВО

Рождество. Родная Вятка.
На окно мое из тьмы
Лают белые собаки
Лютой северной зимы.

Мать придет, вздохнет устало.
А в глазах немой вопрос:
«Ты зачем Москву оставил?
Ты какую боль привез?»

Мама, мама! Сердцем мудрым
Сына ты должна понять —
Без тебя мне очень трудно
Небом Родины дышать!

Правит миром стужа века,
Легкой жизни не суля.
Греет даже из-под снега
Здесь родимая земля.

Это шутка — «вятский лапоть».
Вятских гениев — табун!

Маршал Конев, Грин, Шаляпин,
Да и пламенный трибун!

Васнецовых вспомнить впору:
Нам завещаны не зря
Не уставшие в дозоре
Русских «Три богатыря»!

Выйду утром за ограду —
Тихо, празднично в полях!
Материнским добрым взглядом
Солнце искрится в снегах.

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

Гладила мама ржаной колосок.
Рожь наливалась, качалась стеною.
«Похорони меня выше, сынок,
Чтобы я видела поле ржаное...»

Встал косогор над родимой землей —
Место, открытое ветру и зною.
Глажу и глажу могилку рукой,
Глажу и глажу —
как поле ржаное.

* * *

На Кубани выпал снег!
Выпал только на Крещение!
Человек замедлил бег,
Рот раскрыл от восхищенья.

Мчатся снежные полки
На поля и на купальни,
На озябшие штыки
Тополей пирамидальных.

Позабыли о зиме.
Предавались благодушью.
Стужа гнет сады к земле,
Леденит моря и сушу.

Мне в тепле с тобою жить.
Мы сады-цветы укрыли.

Наш очаг не погасить
Этой снежной эскадрилье.

Мы дыханием своим
На стекле согреем льдинки
И сердца соединим
В поцелуйном поединке.

РУБЛЮ ДРОВА

Рублю дрова у дома под окном.
Когда топор с рукой летит, сверкая,
Я отсекаю жаркое бревно
И небо голубое отсекаю!
Росло-крепчало дерево в бору,
Приют давало облакам и птицам.
Но срок пришел — из печки поутру
От стужи отогреть родные лица.
Сжигала жизнь, как дерево, меня.
Душа от мук не углилась — светлела.
Я двух детишек вынес из огня.
А вот страна...
Страна в огне сгорела!
Такая боль!
Как будто нынче сам
Не топором, а молнией расколот.
И даже мой поклон родным местам
Не может растопить знобящий холод.
Угрюмые заходят земляки.
Афонин сын, как прежде, называют.
Мол, тот, кто ударяется в стихи,
Деревню никогда не забывает.
Деревня! Ты держись, не умирай!
Спасибо, что меня не забываешь!
Ответь, ответь, целебный отчий край, —
Как прежде, почему не исцеляешь?
О, вятские! Они святым — сродни!
Они всегда с надеждой в чудо жили.
К концу столетья поняли они —
Влачить нужду придется до могилы.
На сенокосе и в вечерней мгле
Ни песен, ни гармоника не слышно.
Да есть ли справедливость на земле?

И видит ли страдания Всевышний?
Проходит лето. Падает в закат.
Я боль глушу молитвой и работой.
Поленницы на солнышке горят,
Как пчелами сработанные соты.
Я все познал: предательство и смерть!
Но ни одной я клятвы не нарушил.
Смогу ли я, как дерево, согреть
Хотя б одну остынувшую душу?

В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ

Что случилось с Петербургом?
Гаснет смех и гаснет след...
Город сник под снежной буркой.
А над Лаврой — Божий свет.

В мире мгlistом свет небесный
Лавру высветил лучом,
Где святой защитник Невский
Встал с молитвой и мечом.

Здесь среди сынов известных,
Где снежок укрыл гранит,
Рядом с Невским Достоевский
Русь Великую хранит.

Только с Верой мрак осилим,
Отстоим любовь свою!
...У величия России
Верным ратником стою!

ДЕВОЧКА И ГОЛУБИ

Она бросала птицам корм —
Печенье, пирожки с печенкой.
Прохожий цокал языком:
Какая добрая девчонка!

К девчонке стаи голубей
Слетались со всего квартала.
А вот глазающих бомжей
Она, увы, не замечала.

РОДНАЯ КРАСОТА

Роса горит светло и тихо.
Ей жить недолго под кустом.
Еще в своем гнезде дроздиха
Дроздят не чувствует крылом.

Красива Русь перед рассветом!
Еще неясностью полны,
Как лебедята, дремлют ветки
Над зябкой леностью волны!

Нет, неспроста мой предок древний,
О лучшей доле видя сны,
По-птичьи называл деревни —
То Лебеди, то Коршуны.

Гудит-скорбит, взывая к Богу,
В глухую ночь
И в знойный день
Надсадный колокол тревоги
О судьбах русских деревень.

Здесь по бурьянам ветер рыщет,
Скворешня старая скрипит.
От гнезд грачей, как шапок нищих,
Прохладой кладбища сквозит.

Хотя б петух прокукарекал!
Дома глухи. И даль пуста.
Как без дыханья человека
Мертва родная красота!

Стою, печальный, над долиной.
Ах, если б крылья отросли!..
В час торжества
И в час години
Не отрывайся от земли!

ДАЛЕКИЙ МОТИВ

В каждой кувшинке — по солнцу,
В каждой травинке — заря.
Ивушка веточкой сонной
Ловит в реке пескаря.

Утро искристое, росное.
Тянет с реки холодком.
Мама в цветах сенокосных
Машет веселым платком.

Тихая музыка льется
И уплывает в зенит.
То ли девчонка смеется,
То ль колокольчик звенит.

Светятся церковь и ельник.
Бьется сердечко в груди...
Кто ж этим чудом-твореньем
Нас на земле наградил?

Ягодой пахнет лесною.
Птица поет и поет...
Это родилось со мною,
Это со мной не уйдет.

Дали мои синеокие
Светятся ночью и днем...

Это — из детства далекого.
Это — о счастье моем!

КРАСНОЕ КАШНЕ

Татьяне Николаевне Тихоненко

На тридцать шестом километре пустынного степного шоссе Керчь — Феодосия ответвляется вправо и уходит в степь, в невысокие гладкие холмы, неприязательная грунтовка, по которой попадаешь в старинную деревеньку, называемую Новониколаевка. До революции она называлась, кажется, Мариендорф — «деревня Марии»: ее заложили в XVIII веке немецкие колонисты, приехавшие в крымские степи по приглашению Потемкина и Екатерины Великой.

Осенью и зимой 1941—42 годов на этой просторной земле шли долгие и тяжелые бои. Танковая армада Манштейна во всю сатанинскую мощь попирала степь. Красная Армия, прижатая спиной к двум морям и Керченскому проливу, несколько месяцев дралась здесь жестоко, отчаянно, стояла насмерть. Лишь к маю 1942 года немцы смогли пройти степь и оккупировать Керчь.

В Новониколаевке установилась гулкая тишина; бои гремели на других берегах: за проливом, за Таманью, за Кубанью... В селе, странным образом мало пострадавшем во время гремевших вокруг боев, разместилась немецкая ремонтно-механическая часть и комендантская рота.



ПРОЗА

Тане Ивановой навсегда врезалось в память, как в двенадцатом часу серенького июньского дня в улицу въехали мотоциклы с колясками, в которых сидели сгорбившиеся фашисты в касках и с торчащими за плечами короткими дулами автоматов; за мотоциклами, ревя моторами, ползли крытые зелено-коричневые грузовики. Вместе с ними в Танину душу вполз ужас. Она замерла у калитки и, оцепенев, смотрела, как из кузовов прыгивают, словно сыплются, бесчисленные солдаты в серых шинелях. Прибежала простоволосая Елена Дмитриевна с посеревшим лицом:

— С ума сошла: торчишь тут! А ну, в дом!

Заперевшись, мать и дочь беззвучно засели в доме. Таня в окно видела, как через дыру в заборе к ним прокрался сосед Родька, ее «кавалер», как называла его Елена Дмитриевна. Он постучал в заднюю, чуланную дверь; они, сделав друг другу страшные глаза, не открыли, и он ушел, опасливо вытигая шею и поглядывая на улицу поперх забора.

С улицы доносились гортанно-картавые выкрики, смех, гулки взрывания моторов, треск мотоциклов, деловито сновавших по улице мимо их окон. Там что-то делалось... Под вечер, когда изныла душа и Таня готова была зарыдать в голос, лишь бы кончилось это ожидание неизвестно чего, но чего-то очень страшного, в дверь громко, приказывающе постучали. И обе вздохнули с облегчением обреченных. Елена Дмитриевна махнула рукой: все, теперь будь что будет.

Так началась оккупация.

Отец Тани, Иван Игнатьевич Иванов, был на фронте с первого дня войны.

Их дом выбрал для своего проживания командир комендантской роты лейтенант Нимц. Он был молод и отталкивающее невзрачен: бледнолиц, вислонос, низок росточком, худ, узкоплеч, хром. Он занял большую угловую комнату в два окна, служившую Елене Дмитриевне с мужем спальней. Полупуторную их пружинную кровать с никелированной грядущкой он велел убрать — поставил себе раскладную койку на ножках с пружинными упорами. Фашист оказался любителем чтения: его книги заняли оба подоконника.

Он жил по неуклонно соблюдаемому расписанию. Ровно в шесть утра тельничал его будильник. В шесть пятнадцать он отправлялся в комендатуру и возвращался в семнадцать пятнадцать. Все вечера он сидел дома, читал и что-то писал в пухлой, с золотым обрезом, тетради. В его отсутствие книги, по-армейски безупречно убранная узкая постель, парадный мундир на вешалке, накрытый белой тряпочкой от пыли, — вызывали у Тани неприятный трепет, и дыхание

стеснялось сложным чувством ненависти, страха и любопытства к чужому, вражескому миру. Через комнату, где неприятно пахло одеколоном, недавно такую родную, мамину-папину и с родными запахами, Таня пробегала на цыпочках с чувством, словно перебиралась через открытое поле, грозившее опасностью. Лишь однажды что-то случилось в ее душе, переполнившейся этим отвратительным чувством опасности через край: словно протест какой-то взвихрился в ней; и Таня пересилила себя, остановилась посреди комнаты, огляделась... и раскрыла одну из книг на подоконнике, и вдруг вместо букв увидела противные остроконечные крючочки, похожие на пауков; она не смогла прочесть ни слова, хотя в школе учила немецкий язык. Елена Дмитриевна просветила:

— Это готический шрифт. Фашисты все книги издают готическим шрифтом, как во времена Священной Римской империи. Куда ж там!.. наследники римских императоров!..

И добавила, перебирая книги:

— Надо же, читает Цицерона, недомерок... Ницше... Не трожь ты эту гадость! Не лазь тут! Еще заметит, хлопот не оберешься...

Лейтенанту, видимо, наскучивало одиночество по вечерам, и он частенько звал к ужину Елену Дмитриевну и Таню. Он угощал их добротным хлебом, тушенкой, эрзац-кофием с сахарином и фруктовым желе из крошечных металлических баночек.

Он расспрашивал о том, как они жили до войны. Он уже знал, что в новониколаевской школе учили немецкий язык, и, улыбаясь, приказывал Тане переводить их разговоры. Таня, превозмогая себя (едва могла есть за его столом), листала свой школьный немецко-русский и русско-немецкий словарь и через силу выговаривала слова.

Елена Дмитриевна не скрыла, что ее муж на фронте, за первым же ужином заявила об этом с вызовом в глазах и тоне. Таня, громко шелестя страницами словаря, твердым голосом выговорила это немецкими словами. Она ожидала, что лейтенант сейчас вскочит, опрокинув стул, начнет кричать, топтать ногами, схватит пистолет и застрелит их... Лейтенант помолчал, глядя в темноту за окном, и спросил, есть ли у Елены Дмитриевны еще братья, сестры и дети. А потом показал фотографию своей семьи: матери, сестер, еще каких-то женщин-родственниц, сложных названий родства которых Таня в своем словарики не нашла. Тане показалось, что у него задрожал голос. Он сообщил, что его зовут Рудольф, что он не женат, хромает оттого, что его

ранило в Норвегии, и с тех пор он служит во вспомогательных войсках. До войны он преподавал литературу в средней школе.

Спустя несколько дней он попросил Елену Дмитриевну учить его русскому языку. Теперь каждый вечер полтора часа уходило на него. Его присутствие в доме давило душу. Таня плохо спала по ночам; засыпала по-настоящему только утром, после его ухода. Ей снились тяжелые, саднящие сны. Весь день и всю ночь ее душа к чему-то прислушивалась, и хотелось всякую секунду оглянуться и куда-нибудь спрятаться.

Родька Вернигора, сосед, ее «кавалер», восемнадцатилетний нескладный парень, которого предвоенной весной из-за легкого косоглазия и плоскостопия забраковали на армейской комиссии, нравился Тане за громадную силу (подкову заворачивал в спираль или ломал играючи) и улыбался как-то симпатично, и косоглазие его почти не замечалось; когда началась война, и всех ребят и мужчин мобилизовали, а его нет, Тане сделалось его жалко, и она стала позволять ему обнимать ее и даже целовать. А когда пришли немцы, дружба с Родькой помогала сохранять присутствие духа. Обе ее подружки уехали в эвакуацию, она осталась одна... С Родькой они уединялись в Родькином саду, в беседке, он целовал ее, а она представляла себе, что нет войны, нет немцев, нет Немца, и что папа дома... Родька шептал Тане, что любит ее, и иногда пытался залезть рукою к ней на грудь под пальтишко или за коленки хватал, но от этого Таня решительно отбивалась и грозилась пожаловаться матери.

Медленно прошли лето и осень, началась зима с жестокими норд-остами. В конце декабря сорок второго из низких туч посыпалась жесткая снежная крупа; мороз, небывалый для Крыма, леденил тело и душу. В январе степь покрылась серой ледяной коркой и цветом походила на немецкие шинели.

Каждый день Таня одевалась в стеганный материнский ватник и поверх него заматывалась в платок (под который нахлобучивала на голову древнюю, еще прадедову, шапку-ушанку) и выходила на крыльцо. Родька уже поджидал ее; взяв санки и мешки, они уходили в степь, за холмы, на разбитую свиноферму: за дровами.

Нимц никому из жителей Новониколаевки не разрешал покидать село; отпускал, только если в Керчь на базар кто-нибудь просился, и то — одному от хаты. Нимц приносил бензин со склада горючего, Таня с Еленой Дмитриевной разливали его по мелким склянкам, и потом раз в неделю, до

холодов, Таня с кем-нибудь ездила на базар торговать этим бензином. Его покупали на зажигалки.

Многие жители села, кто хотел и мог, нанимались подсобными рабочими на земляных работах: фашисты строили что-то в степи со множеством траншей и прочего. Кто не хотел, тех заставляли. В механических мастерских, где ремонтировали немецкие танки (вот радости было, когда привозили очередную партию обгорелых побитых «тигров»! Новониколаевцы ходили по улицам, улыбаясь друг другу, как в праздник), местным жителям работы не давали. Некоторых наиболее здоровых мужчин возили на строительные работы под Керчь. Немцы платили зарплату эрзац-марками — напечатанными для оккупированных русских территорий.

Когда началась зима, оказалось, что в селе жителям нечем топить дома. Немц назначил Тане и в компанию с ней Родьке ходить на разрушенную во время боев свиноферму за дровами. Елене Дмитриевне он выдал на бумаге с печатью лицензию на торговлю дровами.

На комендатские нужды немецкая солдатня пилила абрикосы, двадцатилетние акации и клены в расположенной поблизости лесополосе, к которой местные жители не допускались.

Елена Дмитриевна попыталась раздавать дрова сельчанам бесплатно.

Нимц узнал об этом и сделал Елене Дмитриевне внушение. Он доверительно объяснил ей, что свиноферма теперь не колхозная, а собственность рейха. «Поэтому если вы не будете брать за дрова деньги, вас обвинят в воровстве имущества рейха, а меня — в пособничестве Советам».

Пришлось подчиниться и торговать дровами по-настоящему. Все вырученные деньги сдавались Родькой в комендатуру (Нимц поставил Родьку учетчиком). Из этих денег раз в неделю, по субботам, платили зарплату Тане и Родьке. Елене Дмитриевне как владелице лицензии платили пять процентов от недельной выручки.

Ее саму Нимц обязал работать в комендатуре машинисткой. Комендатура разместилась в помещении церкви. Елена Дмитриевна говорила, что лучше бы она до войны в церковь ходила, чтобы Богу молиться, чем теперь в церковь ходит, чтобы на фашистов работать.

Работа в комендатуре помогла ей, однако, спасти школьную библиотеку. Произошло это так.

В здании школы немцы оборудовали склад топлива и смазочных масел для ремонтно-механических мастерских.

Сами мастерские расположились в просторных зданиях колхозной кузницы и межколхозной ремонтно-тракторной бригады.

Школьные парты и доски, все без изъятия, были распилены и порублены немцами на дрова. Они уже испытали на себе морозные норд-осты 41-42 года и основательно готовились к зиме.

Все книжки из школьной библиотеки, занимавшей две большие угловые комнаты, Нимц по инструкции должен был бы сжечь, но он не стал этого делать, а приказал перенести все книги в комендатуру и сложил их в углу своего кабинета несколькими громоздкими штабелями.

Он сказал Елене Дмитриевне, что если явится армейская тыловая инспекция с проверкой выполнения инструкций рейхсфюрера по работе на оккупированных территориях, он скажет ей, что книги оставлены им на зиму для отопления жилья. Он при этом пристально смотрел на Елену Дмитриевну. Она спросила, не может ли она несколько книжек взять домой. Нимц с улыбкой кивнул.

И Елена Дмитриевна теперь каждый день уносила домой (дважды в день: отправляясь обедать в 12.30 и после работы) авоськи с книгами. Сначала она прятала их на дно сундука, под хранимое в нем (старые одежные и постельные вещи), потом, когда сундук перестал закрываться, складывала их под кровати. Сначала она выбирала из штабелей то, что считала наиболее ценным: книги Толстого, Пушкина, Жюль Верна, Беляева, Фраермана, Гайдара. Следом настала очередь задачник по алгебре и геометрии: Ларичев, Рыбкин. Неожиданно она наткнулась на вспомогательную литературу по немецкому языку. Здесь были адаптированные «Leiden des jungen Werthers» («Страдания юного Вертера»), «Märchen von Gebrüder Grimm» («Сказки братьев Grimm»), чеховская «Kaschtanka» и даже «Manifest der Kommunistischen Partei». Она показала это Нимцу. Он изумился:

— In der kleinen Dorfschule lasen Kinder «Werther»?! Komische Sache... («В маленькой деревенской школе дети читают Вертера?! Странно...»)

И забрал эти книжки на свой подоконник.

На выходе из села Таня и Родька предъявляли часовому пропуск, подписанный Нимцем. Там же к ним присоединялся Васятка-Помазок. Это был убогий, то есть не от мира сего, мужичок лет сорока; он жил в халабуде на краю села, со стариком-отцом, баптистом, сторонящимся людей; он любил

собак — около него всегда вертелись две-три шавки, с которыми он разговаривал ласковыми междометиями; а с людьми Васятка говорил очень выпренок и непонятно, но иногда вдруг проговаривался такой умной или пронзительной фразой, что его в селе почитали Божьим прозорливцем и к речам прислушивались. «Помазком» его прозвали за ярко-соломенные волосы, торчащие пучком на голове, как в кисточке для бритья. Во все времена года он ходил с непокрытой головой. Его глаза полыхали глубинным огнем. Таня его жалела и до войны всегда угощала при встречах каким-нибудь гостинцем: карамелькой или мятным пряником — специально носила с собою. Он не боялся холода и зимою одевал поверх рубахи лишь пиджак и красное, как флаг, длинное кашне, неизвестно как к нему попавшее. Немецкая солдатня не упускала возможности при случае пнуть его сапогом, идиотски хохоча при этом, но выпускали из села без пропуска: его за человека не считали. Родьке было велено за ним присматривать.

В степи Васятка-Помазок шагал, выпрямившись, как военный на параде, твердо тыкая посохом в мерзлую землю. Шавки, поджав от холода хвосты, бежали рядом. Он шел с гордо задранной подбородком и так, чтобы загораживать Таню от ветра; время от времени он поглядывал на нее и бережно осведомлялся, «не дует ли». Ледяной ветер мотал волосы на его голове. Когда вступали в руины свинофермы, он с собаками оставался у входа, как на часах. Иногда он покидал свой пост, подходил к работающим Тане и Родьке и говорил:

— Упал на землю светильник и погас! Конец времен близко, источники сделались горьки, и пепел уже остыл. Но это ненадолго, ненадолго: через двенадцать лет антихристы сгинут, светильник воссияет вновь, время возобновится, а там и божьи звезды засверкают. И всюду делается светло и тепло.

Тане представлялось, как будет чудесно, когда всюду делается светло и тепло и «засверкают божьи звезды», и ей хотелось, чтобы Васятка говорил что-нибудь еще такое же, но Родька, брезгливо сверкая глазами на убогого, обзывал его «баптистом чертовым» и орал, чтоб не мешался.

Васятка внимательно смотрел на него, как врач на больного, и, помолчав, обращался к Тане:

— Никудышный человек Родька... Бочка без обручей.

Таня защищала Васятку от Родькиных наскоков, а Васятка с удовольствием наблюдал это и молвил с таким видом, словно награждал Таню даром щедрим:

— Танечка, ты достойна ходить в белых одеждах и помавать пальмовой ветвью, славословя Бога нашего православного единославителя.

Родька, стиснув зубы, яростно крушил колуном слегка обожженные стены фермы (сгорела лишь и рухнула крыша). До войны новониколаевская свиноферма была самой крупной в Крыму. Возведенный почему-то из дерева (это при дефиците строительного леса!), колхозный свинарник теперь предназначен был спасти новониколаевцев от морозов. Таня до изнеможения, без передыхов пилила с Родькой двуручной пилой вывернутые им из гнезд брусья и доски: вернуться домой следовало до темноты; на это имелся строжайший приказ Нимца. А темнело рано.

Распилив порушенное, набрав напиленное и щепы в огромные, в два человеческих роста, мешки, уложив и увязав все на саях, они под тугим морозным ветром по мерзлой траве (снег в степи не задерживался) тащили сани назад в село. Васятка, заткнув свой посох среди мешков, помогал из всех силенок; хоть и слабосилен был, а труд его не пропал втуне. Сани с громоздкими мешками приходилось переволакивать через рваные безобразные следы танковых гусениц, испоганивших лик степи, вокруг обледенелых воронок. Тянули на себе: лошади им не давали.

Между Новониколаевкой и фермой лежало пять километров степи, в которой хозяйничал ураганный морозный ветер.

Дома Родька до комендантского часа (восемь вечера) топором рубил принесенное на поленья и вязал охапки — половину поленьев, половину щепки; наутро все продавали — по спискам, нормированно.

— А что? Порядок, между прочим! Никакой толкотни, по справедливости. Орднунг! — раздумчиво говорил Родька, подбивая в тетрадке цифры после торговли.

Покупателей доставало: Нимц запретил изводить на дрова заборы и фруктовые деревья из собственных садов. Порубливали, конечно, но аккуратно, чтоб незаметно было: топить приходилось порядочно при таких холодах.

А потом, как ни в чем не бывало, расцвела весна.

В марте над степью поплыли мягкие розовые туманы, безучастные к людским браням; в апреле, когда Тане исполнилось пятнадцать лет, теплый ветер разметал туманы, и степь покрылась красно-желтыми россыпями тюльпанов. Как будто не было войны!.. Странно казалось: как можно цвести тюльпанам, когда мышинные мундиры снуют по улице, когда дышишь через силу! Никак не привыкалось к это-

му. Вроде бы и устоялась жизнь, вроде бы и приспособились кое-как, с грехом пополам... А возле сердца словно пружина туго взведенная притаилась, как в ходиках. И все ожидалось беды, не верилось ни солнышку, ни теплым ветрам с древних скифских холмов, так мирно и вечно голубевших на горизонте.

А там и лето началось.

Был вторник, 3 июня, день рождения Елены Дмитриевны. Нимц утром разрешил ей не приходить на работу; ярко сияло солнце; Таня и Елена Дмитриевна пололи у себя в огороде грядки с картошкой; в начале одиннадцатого Нимц вдруг распахнул калитку, что было необычно: он никогда не являлся домой днем. Бледное вислоносое лицо его нервно подергивалось, а глаза сквозь круглые металлические очки сверкали тревожно.

— Елена! Таня! — негромко окликнул он, быстро идя по двору к дому, сильнее обычного припадая на раненную ногу. — Спокойно, — сказал он по-русски, по своему обыкновению надменно глядя на Елену Дмитриевну и на Таню. — Без паник. В дом за мной.

В доме, став посреди своей комнаты, он отчеканил в приказном тоне:

— Таня, надо прятать! Таня, du must sich verstecken! Сегодня все девотчки унд буршен молодой собрали на Дойчланд! В пять надцать минутен. Поньятно?! Сейчас приехать тартарен унд ландиегер, жандармери! Бистро Таня прятать! Пять надцать минутен!

Первой поняла своего ученика Елена Дмитриевна и бросилась тормозить Таню, стоявшую столбиком.

— Госсподи... Жандармы с татарами!.. через пятнадцать минут будут здесь! Молодежь угоняют в Германию! Ну, очнись же, Таня! Мигом в сарай, на чердак, в катакомбу. Ну! ну! ну!

— Таня! Давай-давай! Лос! Тайное место! Есть на вам тайное место?! — сорванным шопотом кричал Нимц, тараща глаза под очками.

— Есть, есть... Танюша, быстрее!

— Елена, ты иди на комендатур! Du must sofort an die Arbeit antreten! (Тебе надо немедленно на работу!) Никто оставаться дома!

— Да-да... спасибо! Данке! сейчас приду! Таня, пошли, скоренько!

— Надо Родьке сказать! — вскинулась Таня и молнией выскочила во двор — к дыре в заборе — к Родьке. Елена Дмитриевна настигла ее.

— Нет его дома, нет! Сегодня всех мужиков погнали мусор и ветошь выносить из мастерских! на целый день! При деле твой Родька, не заберут его! Ну-ка, в сарай на чердак, в катакомбу, и без разговоров! Вон, едут уже! — Елена Дмитриевна топталась перед Таней и ловила ее руки.

Из степи, от большака, донесся гуд моторов. Таня метнулась в сарай. Елена Дмитриевна захлопнула за нею дверь и навесила замок. Таня задыхалась. Ничего не было страшней угона в Германию. Об этом всегда думалось не просто с ужасом, а как о конце жизни. Она вскарабкалась на второй этаж, называемый чердаком, хоронясь света из запыленных оконце. И тянуло взглянуть, что творилось на улице, и страшно было, ибо явно представлялось, как с улицы увидят ее в окне.

Танин прадед чуть ли не сто лет назад построил этот двухэтажный каменный сарай, похожий на крепостное сооружение. Он придумал тайник: между деревянным полом чердака и каменным потолком первого этажа, из древних боспорских плит, купленных на раскопках, он оставил полость в полтора метра высотой.

Полость называли в их семье «катакомбой». Проникнуть туда можно было через небольшой, тщательно подогнанный люк в полу в самом углу чердака. На люк всегда было навалено сено, которое хранилось на зиму.

До войны Иваньковы держали корову. Осенью 41-го Елена Дмитриевна отдала корову Римму и телушку Милку изнуренным бойцам Красной Армии, отходившим по большаку на Керчь.

Отвалив сено, Таня юркнула в тайник и опустила над собою крышку люка. Потом, подумав, приоткрыла люк и на ощупь натащила на крышку клок сена: замаскировалась.

В катакомбе царила совершенная темнота. Таня привычно примостилась на деревянных ступенечках лестницы под люком. Мгновенные сладкие воспоминания о минувшем пронеслись вихрем, и на миг сделалось счастливо на сердце. Но миг промелькнул, и вспомнилось, как Васятка-Помазок, встретив ее недавно на улице, сказал, глядя ей своим необыкновенным пылающим взором словно в самую глубь души:

— Танечка, терпение — это самое главное в жизни. Будешь терпеливо терпеть — все перетерпишь и узришь Божью благодать.

Ей слышался нехороший шум с улицы. Там причитали, кричали. Таня разобрала в шуме, как громко, в голос, плакала и причитала тетя Дуся — соседка напротив. Ее дочке Фенечке, худенькой шустрой девчонке с задорными выгорев-

шими косичками, было четырнадцать лет. Потом в шум ворвался Родькин голос: он что-то орал — кажется, на немецком, сорванно, истошно. Неужто на немцев орет?! Пристрелит ведь жандармы! Это же звери! Грохнул выстрел, и Таня словно оглохла. Болело в груди, в сердце, кипели слезы. Она задыхалась.

Вдруг — услышала тяжелые стуки вниз и догадалась, что сбивают замок. Не стало вмиг ни слез, ни мыслей. Она сжалась, обняла себя за коленки... Хотелось превратиться в точку. Почти бесчувственная, услышала грохот шагов на лестнице и на чердаке и даже не успела шевельнуться, когда люк над головою распахнулся; мутный свет пролился в темноту катакомбы, и ее больно схватили за волосы, за косички, и дернули вверх так, что в шее что-то хрустнуло.

— Ах ты сучка русская!.. — завизжал татарин-каратель. — Таракашка!

Татарин был стар, морщинист, его дочерна загорелая физиономия скалилась и походила на морду рычащего пса. Он, таща Таню за волосы, визжал что-то по-татарски ей в лицо, брызгал слюной. У него были запекшиеся губы, в уголках рта белела высохшая пена. Позже, вспоминая случившееся, Таня не могла понять, как она отважилась на сопротивление. Из неведомых глубин, из самой души вдруг выплеснулся непереборимый и невидимый яркий свет, несущий с собой что-то даже радостное, какую-то нереальную свободу, словно она перенеслась в другой мир, где ей все позволено, и она вцепилась зубами в коричневую жилистую руку, державшую винтовку с плоским немецким штыком. Каратель зашипел, выпустил ее, и она кубарем скатилась с лестницы, сгорая даже не успев испугаться выстрела, который он послал ей вслед.

Она выскочила на двор, на солнце. Во рту было тошнотворно солоно (она поняла, что прокусила татарину руку до мяса). Захлопнула дверь сарая и задвинула щеколду. Это спасло ей жизнь, иначе татарин застрелил бы ее. Под его свирепый визг Таня опрометью бросилась из калитки на улицу. Ей послышался далекий голос Елены Дмитриевны, будто мама жалобно окликнула ее «Таня!». Она оглянулась было на зов ее — и споткнулась обо что-то мягкое.

Перегораживая вход в их калитку, на земле с раскинутыми крестом руками лежал Васятка-Помазок. Его закинутое к небу лицо было белым, соломенные волосы сияли золотом. Грудь была залита кровью. И красное кашне с разметанными концами лежало на плечах и на земле.

Над селом стлался черно-коричневый дым. Горело где-то за школой. Два солдата в касках и с автоматами, в жандармских темно-зеленых мундирах стояли неподалеку на обочине и смотрели на нее с любопытством. Нескольким татар с винтовками наперевес бежали к ней, что-то крича. От тяжелого и хлесткого удара по плечам и спине Таня рухнула на землю и с негодованием (страха не было!) оглянулась на ударившего. Незнакомый рослый немецкий офицер с хлыстом смотрел на нее, поверженную, равнодушно.

— Иди, — проговорил он и ткнул хлыстом в пространство: указывая, куда идти.

Таня поднялась, вытирая разбитую в кровь коленку. Там, куда указывал офицер, в окружении нескольких жандармов в касках и карателей в узких, пирожком, пилотках Таня увидела человек двадцать — в основном девчонки, многие из ее класса; и соседка Фенечка там была; и парни — близорукий Костя Пилюгин, Владя Митрохин (у него с детства не хватало большого и указательного пальцев на правой руке); и — Родька: живой!

Она сообразила, что давешний выстрел сразил Васятку. Родька не смотрел на нее, шел, сутулясь и сцепив сзади руки. Всех их под конвоем вели к громадному крытому брезентом грузовику с откинутым бортом — с отверстием черным зевом, — стоявшему на выезде из села. Подбежавшие татары с винтовками, матерясь грязно, толчками погнали Таню вперед.

Сзади цепь жандармов перекрывала улицу и не пускала сюда толпившихся возле церкви жителей.

— Танья! Танья! — услышала она словно из-под ваты. Она оглянулась и увидела Нимца. Подпрыгивая из-за хромоты, он, маленький, как школьник, почти бежал по улице и призывно махал ей рукой. Один из карателей, мальчишка ее возраста, с винтовкой на плече, больно схватил ее за локоть.

— Танья, komm her! Komm-komm! (Иди сюда! Иди-иди!) — хрипло, срывая голос, кричал Нимц.

Таня рванулась, но мальчишка, скалясь по-псиному, как давешний старик, вцепился в нее. Она толкнула его изо всех сил, и мальчишка не удержался, оступился, покатился в пыль под хохот татар. Таня со всех ног кинулась к Нимцу. Вслед ей хлестнул выстрел; татары закричали, залопотали. Она слышала за спиной топот: мальчишка догонял ее. На бегу Нимц выхватил из кобуры пистолет. Тане показалось, что он сейчас выстрелит в нее, и она от испуга упала на землю. Но Нимц выстрелил не в нее, а в татарчонка, который уже подбежал к ней, наставив на нее винтовку со штыком.

— Ште ауф, шнеллер! (Вставай, быстро!) — рявкнул Нимц, подавая ей руку.— На дом! Нах хаузе! Нинеин! (Ступай в дом, внутрь!)

— А Родька? — крикнула ему Таня. — Родьку можно освободить?

К ним широким шагом спешил жандармский офицер с хлыстом. Равнодушие исчезло с его лица, оно сделалось злым. Двое жандармов со «шмайссерами» бежали следом.

— Was hat das zu bedeuten, Leutnant?! (Что это значит, лейтенант?!) — еще издали резко прокричал офицер.

— Dieses Madchen ist meine beste Zutregerin! Pfuschen mir ins Handwerk nicht, bitte, Herr Hauptmann! Ich bin Kommandant dieses Ortes, und ich ordne hier an! (Эта девчонка — моя лучшая осведомительница! Не надо портить мне мою игру, герр капитан! Я здесь комендант, и распоряжаюсь здесь я!)

Мертвый мальчишка лежал на боку рядом с Таней, стискивая винтовку в маленькой худой ладони, и смотрел на Таню недоуменно и обиженно. У него грудь под шеей была вся в крови, и изо рта бежала, истончаясь, струйка черно-красной крови.

— Wofür haben ihre Leute den Abfall angezündet?! (Зачем ваши люди зажгли мусор?!) — кричал возмущенно Нимц.

— Leutnant, wahre Theaterstück braucht wahre Dekoration (Лейтенант, настоящая пьеса требует настоящей декорации), — усмехнулся гауптманн.

Таня побрела к дому. Ее сознание словно туманом окуталось. Нимц и жандармский офицер о чем-то спорили за ее спиной резкими голосами, два жандарма и старик-татарин с прокусанной, залитой кровью рукой прошли мимо (татарин скалился с яростью на нее). Таня догадалась, что старик-татарин застрелил Васятку, не пускавшего его в Танин двор. У калитки она нагнулась над телом Васятки и высвободила из-под него красное кашне.

Таня пришла в себя к вечеру. Она не помнила, что делала днем. На веревке во дворе сохло выстиранное Васяткино кашне — оказывается, рассказала Елена Дмитриевна, Таня его выстирала в трех водах, без спросу взяв кусок туалетного мыла с полки лейтенанта Нимца в его комнате, и измылила весь кусок. Забрать у нее этот кусок не было никакой возможности.

Нимц, слава богу, не осерчал. Вечером он был мрачен, сидел спиной к ним в своей комнате и что-то истово писал в тетрадь. Но на ужин позвал.

Ужинали в молчании.

У Нимца дрожали руки. Странно было вообразить, что сегодня он застрелил человека.

Молчание нарушил сам Нимц.

— Таня, dein Rotka hat an dich angezeigt. Verstanden? Er hat aber die Katakomben dem Hauptmann berichtet. Denke dran. (На тебя донес Родька. Поняла? Он рассказал гауптману о катакомбе. Помни об этом.)

Слова были незнакомые, и Нимц говорил очень быстро и неотчетливо. Таня выловила из его невнятицы три слова — «Родька... катакомбы... гауптман...»

Она все поняла.

Нимц погиб с нелепой неизбежностью — по закону войны.

Осень и зиму он жил тихо, держался с некоторым даже отчуждением; и к ужину приглашал их не так часто, как раньше: с продовольствием у немцев стало хуже, и не было уже ни греческих маслин, ни португальских анчоусов в масле, ни бельгийских паштетов. Вечера напролет он читал книги с подоконника и много писал в тетради.

В конце февраля, когда солнце повернуло к весне и весь Божий мир сделался теплее и мягче, он как-то вечером вдруг заявился на кухню (Таня и Елена Дмитриевна пили с сухарями чай из сушеных яблок, заваренных на кипятке), скромно сел в уголке на табуретку и произнес тихонько, едва слышно:

— Nach dem Krieg trete ich in die kommunistische Partei ein. Sie, Russen, haben eine gerechte Ordnung vollendet. (После войны я вступлю в коммунистическую партию. Вы, русские, установили справедливый порядок.)

Пока Таня листала словарь в поисках незнакомых слов «gerechte» и «vollenden», Нимц медленно встал и, зачем-то ступая на цыпочках, словно боясь разбудить кого-то, ушел к себе. Взгляд, который он бросил на Таню и Елену Дмитриевну, был печален и серьезен.

— Как только жареным запахло, так сразу прозрел, — сказала Елена Дмитриева, выслушав Танин перевод.

— Пусть хоть так... — отозвалась Таня.

— Господи... — Елена Дмитриевна вздохнула. — Конечно, если б не он, то тебя бы... Вообще, он похож, конечно, на человека. Но все равно!.. Нет, не лежит у меня к нему душа.

Но она же и плакала (потаенно) в тот апрельский вечер, когда Нимц погиб.

Он погиб наивно и героически в тот день, когда Советская Армия освободила Новониколаевку. Нимц не отступил со своей ротой, не подчинился приказу и не взорвал мастерские

и склад с горючим; отправив восвояси своих солдат во главе с унтером на последних двух грузовиках. За минуту до советских танков, вкатившихся в Новониколаевку, он вбежал в дом и потребовал у Елены Дмитриевны красное знамя.

— Rote Fahne!.. Schneller!.. Ach, entschuldigen, um Gotteswillen!.. (Красное знамя мне! Быстрее!.. Ах, извините, ради Бога!..)

Он увидел тулившееся на краешке сундука, засунутое за хозяйственную мелочь Васяткино красное кашне, схватил его лихорадочно и ринулся на улицу, где уже слышалось гудение танковых моторов. «Куда ты! — вскрикнула Елена Дмитриевна и, всплеснув руками, бросилась за ним, как за ребенком, — ведь убьют!» Но было, конечно, поздно; она с крыльца увидела: размахивая этим кашне, как флагом, Немц побежал по улице навстречу советскому танку и, сраженный мгновенной очередью автоматчика, повалился на бок. В его неловко откинутой правой руке было крепко стиснуто красное кашне.

Незадолго до этого Немц в дополнение к книгам из школьной библиотеки притащил домой школьный глобус, целую связку географических карт, таблицу Менделеева и деревянные инструменты: треугольники, транспортиры, циркули, линейки, да еще два ящика колб, пробирок, штативов, амперметров и прочего. Эти бесценные в послевоенной разрухе вещи, кроме спасенной библиотеки, послужили серьезным подспорьем Елене Дмитриевне, когда советская власть разбиралась, имелись ли предатели или добровольные прислужники немцев в Новониколаевке. Таковых не нашлось.

История с Немцем выяснилась быстро. Нам досталось на складе больше тысячи бочек с горючим и огромный, аккуратно накрытый брезентом штабель мощных танковых аккумуляторов. Склад не был заминирован.

Немца похоронили хоть и в сторонке, но все же на новониколаевском кладбище. И даже поставили оградку.

РАССКАЗ

БЕЛОЕ, ШЕЛКОВОЕ, С КРУЖЕВОМ...

После сороковин он, наконец, собрался с духом и вошел в квартиру, откуда ее увезли. Сложилось так, что они жили врозь: он и его одинокая мать. Он не раз предлагал съехаться, чтобы она с ее гипертонией находилась под присмотром его семьи, но мать отказывалась, не желая никому быть в тягость. Она надеялась на то, что какое-то время протянет без посторонней помощи, но, увы, все кончилось неожиданно быстро.

В квартире ощущалась та жутковатая тишина, которая всегда присутствует там, откуда ушла живая душа. «Ее нет», — пронеслось в голове сына, и перед ним стремительно развернулась его жизнь, прошедшая рядом с ней, умершей его матерью. Он увидел ее молодой и беспечной, потом сосредоточенной и усталой и, наконец, постаревшей и немного чудаковатой в силу органических нарушений, безжалостно опустошавших ее некогда светлый ум.

Горькое чувство сиротливости охватило его, и оно, это чувство, разрасталось по мере того, как он обводил глазами знакомые предметы, книги, подушки на диване, тарелки на стене и разные пустяки, заполнявшие полки шкафа, куплен-



ПРОЗА

ного еще в пору, когда сын был ребенком. Каждый предмет был окутан незримым налетом ее прикосновений, и эти мелочи почему-то говорили о смерти красноречивее, чем обряд похорон.

Чувство потери становилось невыносимым, и, чтобы унять его, необходимо было заняться делами. Сын знал: у матери скопился большой архив, куда входили и дневники, и письма, и какая-то ненужная, но ей дорогая чепуха. Сын достал с антресоли большую картонную коробку, полную бумаг, и принялся раскладывать их по степени их значимости в отдельные стопки. На одной из папок значилось «сжечь после меня».

«Странное требование», — подумал сын, угадывая в строгом наказе матери нежелание, чтобы кто-то «совал нос» в ее тайны. Что ж, он отвезет эту папку на дачу и там сожжет. Он не любопытен и не преступит запрет, но... Что-то тормозило его решение выполнить просьбу. Было очевидно: она придавала особое значение этим бумагам и берегла их до последнего часа. А ведь она могла еще при жизни уничтожить эти свои записки, содержавшие, может, ее сокровенные тайны. Но она не сделала этого, оставив лазейку для доступа к личному в надежде на широту суждений того, кто возьмет на себя смелость нарушить волю умершей.

«Пусть это нехорошо, — размышлял сын, — но приказ уничтожить двояк: он не велит смотреть и одновременно интригует». Не будь строгой надписи, сын без раздумий бросил бы в огонь эту папку, не читая.

Но запрет призывал: загляни, не бойся послушаться, там содержится что-то важное, чего она, его мама, стыдилась и хотела скрыть. И сын решил не выбрасывать эту папку. Он прочтет эти записи, потому что обречен тосковать без нее, а эти листки насытят его ее жизнью и ее неповторимой душой.

Удивительно небрежно написанные фразы звучали как музыка ее речи, как удивительный ее голос — сын не только слышал ее, но и видел пластику ее движений, порывистых и легких, видел выражение ее глаз и смысл ее смутной улыбки.

Да, совсем не случайно она велела сжечь эти разрозненные листки. В них была боль, и было чувство вины перед ним, теперь уже взрослым сыном. Он читал и видел себя тринадцатилетним подростком, горестно переживавшим появление в их доме чужого дядьки — ужасного мужа мамы. Выйдя во второй раз замуж, мама отправила сына к бабушке с дедушкой, чтобы он не мешал ее личному счастью. О,

как ему было обидно и горько, и как он любил свою маму, предавшую его ради толстого противного «мужа». Ей в то время было около сорока, и она еще не успела обрести ту зрелую женскую полноту, которая округляет фигуру и приращивает к солидности. Выглядела она по-студенчески резвой и стройной, да и в мыслях ее гулял ветер, подгонявший любой ценой достичь цели: дать сыну того, кто заменит ему родного отца.

Иллюзии рассыпались так быстро, что уже через полгода сын был водворен на прежнее место, чтобы наблюдать последствия совершенной матерью ошибки. Тогда он, конечно, многого не понимал и не мог судить мать за ее легкомыслие. Он просто ощущал тяжесть атмосферы в доме и мучился из-за того, что живет в «ненормальной» семье.

Бывая в гостях у друзей, как музыку воспринимал он басовые ноты мужского голоса, и вся атмосфера в полной семье удивляла его здоровой радостью, чего не было в доме, где он жил с мамой.

Наличие бабушки и дедушки, конечно, спасало положение, но отсутствие отца все же его удручало. И теперь, перелистывая мамины дневники, он надеялся узнать разгадку того, что послужило причиной развала семьи, из-за чего их жизнь исказилась.

Однако ответа он не нашел. Страницы дневника, относившиеся к тому периоду, когда мама ушла от отца, были заполнены воем отчаяния и попытками как-то справиться с душевной болью.

Его внимание привлекли обрывки стихотворных строчек: «Ожиданье мое, ожиданье, у ночного окна прозябанье». И снова сердце его сжалось от жалости к ней, и он живо представил ее в накинутой на плечи шали стоявшей вот у этого окна. «Невыносимо жить не вместе и даже просто без причины жить»... «Прошло лет сто, а может быть и двести, а я не научилась нелюбимой быть...»

Сын отложил тетрадь в сторону и поднялся с кресла. Недаром она берегла его от чтения этих строчек. Она не хотела, чтобы он узнал о ее страдании. А он... Он не знает, как будет жить, сознавая свою вину перед ней. Мало он любил ее, небрежно к ней относился. Не мог забыть своего детского горя из-за ее предательства. И теперь он ненавидит себя и жалеет о том, что не стал для нее близким другом. Что-то мешало ему открыться перед нею душой. Он не выговорился и носил свои чувства в себе и ни разу не сказал ей, что любит ее вместе с ее «закидонами», заблуждениями и необъясни-

мой способностью попадать в нелепые положения, ударяющие по ее сердцу.

Воспоминания теснились в его мозгу, сменяя друг друга. И он думал, что люди многого не замечают в ходе своей жизни, многому не придают значения и только в редчайшие моменты трагедий начинают понимать, какая неизмеримая ценность заключается в каждом прожитом дне, в каждом даже казавшемся мелким событии. Ему вдруг вспомнился день рождения мамы. Она уже была на пенсии, к ней пришли женщины, с которыми она работала. Сын, сидя за столом, рассматривал их лица, не тронутые печалью духа, не умевшие снять напряженную погруженность в какие-то свои домашние дела. Ему казалось тогда, что каждая из них лжет, притворяясь лояльной. У каждой был за пазухой камень, но они наперебой расхваливали маму и ее угощение. И ему стало обидно за маму: неужели у нее за всю жизнь не оказалось истинно понимающих друзей? С кем приходилось ей проводить время на ее скучной работе? С кем делилась она своими переживаниями, которые воспринимались многими как доказательство ее нетерпимости и плохого характера. Ему знакомо было и ее критиканство, и ее манера все привычное, узаконенное общим мнением выворачивать наизнанку, чтобы доказать обратное. Ее обличительный пафос пугал, ее откровенность вызывала недоумение. Они-то, наглухо закрытые, считались добропорядочными, рядом с ними мама выглядела сумбурной и странной. Сын хотел тогда произнести цветистый тост в честь именинницы, но раздумал и ничего не сказал, опасаясь спрятанных за пазухой камней. А они были бы непременно запущены, дай только повод, в ее безрассудную влюбчивость и неукротимое стремление обрести «спутника жизни».

Об одном из них он догадывался. Мама куда-то уезжала, в какую-то богом забытую деревню, говорила — с друзьями. И видимо там ее постигло очередное разочарование.

Судя по дате в ее дневнике, это именно ему были адресованы строки ее сумбурных излияний.

«Надо же быть такой дурой, чтобы поверить невнятному бормотанию склеротика о совместной жизни на лоне природы!.. Почему я опять наступила на те же грабли? Почему не догадалась, что белоручке понадобилась помощница — огурчики выращивать...»

Прервав чтение, не выпуская из рук тетради, сын зашагал по комнате.

«Все дело во мне», — со стыдом за себя думал он. Он разрешил ей жить самостоятельно, но не задумывался о том, каково ей находиться в четырех стенах вдали от него и внуков. Его жена не терпела свекровь и чинила всевозможные препятствия, затруднявшее общение бабушки с внуками. А он, сын, ничего не предпринимал, чтобы эти препятствия снять. Слишком поздно он стал понимать, что ради сохранения своей семьи и собственного покоя он невольно отдалял мать от своего дома, где она могла бы найти успокоение, заботясь о детях. Этого не хотела жена. И его матери ничего не оставалось, как, пытаясь одолеть одиночество, метаться в поисках своего места в жизни.

Какой-то порочный круг... Регина, считавшая поведение свекрови «сомнительным», наносящим вред детям, спасала детей от бабушки, упорно пытавшейся доказать свою нужность кому-то. Кровавое чувство вины затопляло сердце сына, и чтобы сильнее наказать себя, он продолжал читать дневник. И, читая, представлял себе, как его неугомонная в свои шестьдесят с хвостиком мама ходит по рынку, выбирая подвенечное платье. Придя домой, она примеряет покупку и разглядывает себя в зеркале. Белое, отделанное кружевом платье ей к лицу и хорошо облегает фигуру. Уже назначен день регистрации брака с тем склеротическим любителем огурчиков, и вдруг от него приходит телеграмма: «Пьянство вред тчк не жди».

Она опять надевает злополучное платье, пытаясь понять, что в ней такого, что заставило «жениха» ретироваться. Не найдя ответа, она комкает платье и запикивает его в чемодан для старья.

«А все-таки она была с юмором, — подумал сын, наткнувшись на отдельный, отпечатанный на машинке листок под заголовком «Белое платье — как символ бредовых идей».

Ее тянуло писать, и эта привычка помогала ей сохранять чувство жизни. Она спасалась бессмысленным и малопродуктивным стремлением излить свою душу на бумаге.

Белое, шелковое, с кружевом, ни разу не надеванное... Мама велела, как она выразилась, «использовать» его для похорон. Не пропадать же добру! Да если б он знал, по какому случаю оно было куплено, он бы ни за что не разрешил... Он бы просто выбросил его на помойку! Боже мой... Он представил ее, лежавшую в этом самом платье со сложенными на груди руками... Насмешка судьбы... И он, он виноват в том, что не уберег мать от ее ошибок и душевных страданий. Если

бы он был внимательнее к ней, если бы умел согреть ее и помочь ей преодолеть разрушительное действие ненавистного ей одиночества, она бы не умерла так внезапно... Но у него не хватило воли, он боялся истерик жены, и мать молча сносила свою заброшенность, изматывая свои дни на безрассудные поступки.

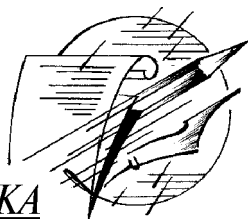
А теперь ему остается одно: молиться, чтобы она услышала его раскаяние... Его руки лихорадочно собирали разбросанные листки, он прижимал их к груди, и просил, просил у нее прощения. Смешная, странная, мечтавшая о любви, она завещала похоронить ее в белом платье. Бедная, несчастная его мама.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

С 20 по 24 апреля 2009 года в штаб-квартире ООН в Женеве проходила вторая международная конференция против расизма «Дурбан-2». На открытии этого форума выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Средства массовой информации преподнесли его выступление как мировую сенсацию. Однако содержание речи иранского лидера освещалось весьма однобоко.

Из довольно обширного выступления Ахмадинежада в СМИ цитировалась одна-единственная фраза об Израиле как «самом жестоком расистском режиме». Позицию иранского президента явно старались представить как «антисемитскую» и «расистскую». Агентство Ассошиейтед Пресс прибегло даже к заведомой лжи, заявив о том, что президент Ирана «начал речь с обвинений в расизме Израиля». Речь Ахмадинежада началась, однако, не с этого и вовсе не исчерпывалась обвинениями в адрес Израиля. Что же все-таки было сказано на конференции в Женеве, о чем дружно промолчала пресса?

Президент Ирана начал речь с того, что вежливо напомнил собравшимся некоторые общеизвестные факты. На протяжении многих столетий вовсе не Восток, а Запад был очагом дискриминации



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

в самых различных видах: от преследования инакомыслящих средневековой инквизицией и постыдной торговли чернокожими рабами вплоть до двух всеевропейских войн XX века, которые унесли жизни около 100 миллионов человек. К расистским практикам оратор отнес и созданную «демократическим Западом» колониальную систему. Борьба за национальное освобождение дорого обошлась угнетенным народам — в миллионы жизней.

Напомнив эти хрестоматийные истины, Ахмадинежад констатировал, что, к сожалению, этот трагический опыт прошлого не послужил человечеству достаточным уроком. Расизм и дискриминация благополучно существуют и ныне. В качестве примера он привел оккупацию Ирака и Афганистана, а также Израиль, где «на оккупированных палестинских территориях было создано государство исключительно по расовому признаку». Однако главным объектом критики в женеvской речи Ахмадинежада выступил вовсе не Израиль. К тому же обвинение против Израйля со стороны Ирана трудно назвать сенсацией. Жесткую антиизраильскую линию Иран проводит уже 30 лет — с момента победы исламской революции в 1979 г. Вот, к примеру, маленькая, но характерная деталь: в Иран запрещен въезд лицам, имеющим израильскую визу в паспорте, даже если это просто туристы, побывавшие в Израиле.

Позицию иранского руководства характеризует и тот факт, что именно в Тегеране в декабре 2006 г. состоялась международная конференция, посвященная проблеме холокоста. В своем вступительном слове на открытии конференции министр иностранных дел ИРИ Манучехр Моттаки задал присутствующим тот же вопрос, который прозвучал в женеvской речи Ахмадинежада: почему за преступления нацистов должны расплачиваться палестинцы? Ведь они не были причастны к уничтожению евреев во время Второй мировой войны. Концепция «народа без земли» является необоснованной, поскольку уцелевшие от преследований евреи не были лишены земли — они были гражданами европейских государств. В конце концов, если мировое сообщество признаёт еврейский народ потерпевшим, то пусть Германия и Австрия, как государства, наиболее виновные в холокосте, выделяют собственные земли для создания еврейского государства.

Таким образом ту позицию в отношении Израйля, которая была заявлена в женеvской речи Ахмадинежада, новой никак не назовешь. Сенсацией она давно не является. Аналогичные высказывания и аргументы уже не раз звучали из уст как самого Ахмадинежада (начиная с его знаменитого письма Джор-

джу Бушу), так и различных должностных лиц Исламской Республики Иран.

Почему же выступление иранского лидера в Женеве вызвало столь бурную реакцию в мировых кругах? И почему в качестве сенсации подавалось то, что давным-давно известно? При помощи этого нехитрого приема СМИ пытались отвлечь внимание от главных требований иранского руководства, прозвучавших в Женеве.

В действительности центральным тезисом женевской речи Ахмадинежада было не обвинение против Израиля, а обвинение в расизме самой ООН. Оно состояло из двух пунктов.

Во-первых, Ахмадинежад обвинил ООН в пособничестве расизму, прежде всего сионистскому режиму в Палестине: «Совет Безопасности ООН узаконил этот оккупационный режим и на протяжении 60 лет выступал в его защиту». Не препятствовал этот международный орган и агрессии против Ирака и Афганистана.

Во-вторых, Ахмадинежад квалифицировал саму структуру ООН и Совета Безопасности как дискриминационную и, по сути, расистскую. Здесь надо напомнить, что главными органами Организации Объединенных Наций являются Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. Генеральная Ассамблея — это собрание представителей всех государств — членов ООН, где решения принимаются демократическим путем по принципу: одно государство — один голос. Все дело, однако, в том, что решения Генеральной Ассамблеи не являются обязательными для правительств, а носят сугубо рекомендательный характер. Обязательную силу имеют только решения Совета Безопасности.

Согласно статье 23 Устава ООН, Совет Безопасности состоит из 15 членов: пяти постоянных и десяти непостоянных. Непостоянные члены — выборные, они избираются Генеральной Ассамблеей на двухгодичный срок. Постоянные члены не подлежат переизбранию. К ним относятся: США, Великобритания, СССР (Россия), Франция и Китай. Постоянные члены Совбеза имеют право вето. Это означает, что если какое-то из этих пяти государств не согласно с решением СБ, оно может проголосовать против. Голосование против имеет силу запрета, т. е. блокирует принятие решения. Так, например, США более 60 раз накладывали вето на решения Совбеза против сионистского режима. В том случае, если постоянный член Совбеза не поддерживает его решение, но и не хочет блокировать его, он может воздержаться.

Таким образом, устройство ООН не имеет ничего общего с демократией. Это олигархическая структура. Совет Безопас-

ности наделен особыми полномочиями по сравнению с Генеральной Ассамблеей, а постоянные члены СБ имеют особые полномочия по сравнению с непостоянными. Пока был жив Советский Союз, эта система не подвергалась критике. Но после ликвидации СССР и появления на международной арене новых региональных стран-лидеров стал все чаще подниматься вопрос о реформе ООН и, прежде всего, Совета Безопасности. Стали звучать требования об изменении его членского состава с тем, чтобы он отражал современные политические и экономические реалии.

В ответ на эти требования в 2003 г. при ООН была создана специальная международная группа в составе 15 человек (так называемая ГВУ — Группа Высокого Участия) для проработки возможных вариантов реформы СБ. (От РФ в состав группы был приглашен Е.М. Примаков.) Через год группа вынесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи два варианта реформирования Совбеза. Но ни одно из предложений не получило необходимой поддержки, поскольку не меняло ситуацию по существу. Ни один из вариантов не предусматривал отмену права вето или хотя бы его расширения для новых постоянных членов СБ. Это были паллиативные проекты, не затрагивавшие сущности системы. Реформа ООН, таким образом, забуксовала.

В такой исторической ситуации и прозвучало выступление президента Ирана на конференции в Женеве. Ахмадинежад напомнил собравшимся, что Организация Объединенных Наций является «порождением двух мировых войн». Она возникла в послевоенной обстановке, когда державы-победительницы могли диктовать свою волю другим государствам. Тем самым, по мысли Ахмадинежада, из победителей они стали завоевателями, присвоив себе львиную долю прав в ущерб остальным государствам.

Иранский лидер расценил такое устройство главной международной организации как дискриминационное и призвал предпринять «срочные шаги» по реформированию ее структур. Он потребовал вынести на рассмотрение ООН вопросы о реформировании Совбеза, отмене «дискриминационного права вето», а также вопрос об изменении мировой валютно-финансовой системы. По сути, Ахмадинежад призвал мировое сообщество к окончательному пересмотру итогов Второй мировой войны.

Не все, возможно, помнят, что относится к числу этих итогов. Главными элементами послевоенного устройства мира были: разделение Германии; установление биполярной системы международных отношений с двумя противостоящими

друг другу блоками — западным (НАТО, 1949) и восточным (Организация Варшавского Договора, 1955); создание в октябре 1945 г. Организации Объединенных Наций — в том виде, в каком она существует до сих пор; создание в 1948 г. государства Израиль на территории арабской Палестины.

Все это вместе взятое и получило название «послевоенного устройства мира» или, иначе, «ялтинской системы». В 90-е годы основные элементы этой системы были ликвидированы. Объединение Германии, распад СССР, самоликвидация Варшавского Договора, исчезновение биполярной структуры международных отношений, — все это означало конец ялтинской системы. От нее остались одни рудименты — в виде ООН и Израиля. Покушение на эти устои не входило в планы Запада. Замышляя и поддерживая антисоветский реванш в странах Восточного блока, Запад явно не рассчитывал, что найдутся силы, которые осмелятся довести этот процесс до логического конца.

Но такие силы нашлись. Застрельщиком в этом выступил Иран. Женевская речь Ахмадинежада — событие в полном смысле слова историческое. В лице своего президента Иран потребовал от мирового сообщества полного пересмотра итогов Второй мировой войны, т. е. завершения того процесса, который начался в середине 80-х годов XX века. Это серьезный исторический вызов и смелая политическая инициатива.

Нельзя не согласиться с тем, что требования, которые прозвучали в речи иранского президента, справедливы — с логической, исторической и моральной точки зрения. Если Запад пересмотрел итоги Второй мировой войны в свою пользу, то почему этого нельзя сделать Востоку? Если ликвидирован огромный Советский Союз, то почему не может быть ликвидирован крохотный Израиль? Какое право имеют правительства США и России в одиночку вершить судьбы мира? Разве эти судьбы находятся в надежных и ответственных руках?

Какой народ и какое государство могут считать себя в безопасности, пока по планете бродит крупный хищник звездно-полосатой масти? Хищник, обглодавший Югославию, Ирак, Афганистан, тянущий соки из всего мира. И разве народам не унижительно сознавать, что их судьба зависит от воли непредсказуемого дебошира и его назначенцев? Дебошира, на весь мир опозорившего Россию выходками, непристойными даже для бомжа, а не то, что для президента державы. Неужели народы мира, наблюдая то что происходит в России, не вправе усомниться в праве ее горе-руководителей заправлять мировыми делами? Это прежде всего по их вине народ России лишен се-

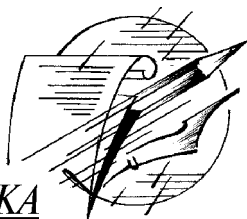
годня и политической воли, и исторической инициативы. Это по их надменной, но недалекой воле Россия находится сегодня на обочине исторического процесса и, возможно, совершает свой путь в историческое небытие. Но напрасно они торжествуют победу. Можно уничтожить народ, но нельзя уничтожить историю. Историческая инициатива переходит сегодня к другим народам и государствам. По выражению иранского лидера, исторический прогресс подобен сплаву по быстрой реке. Это движение неукротимо. Можно сомневаться в том, хватит ли Ирану сил добиться осуществления своих инициатив. Но поддержать их — моральный долг всех разумных и порядочных людей на планете.

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СТАЛИНА

XIX съезд партии завершился краткой речью Сталина, обращенной главным образом к представителям братских партий. Есть версия, будто это свидетельствует о плохом физическом и умственном состоянии вождя. В действительности, ничего подобного не наблюдалось. Он просто не захотел, как говорится, выносить сор из избы, освещая внутреннее непростое положение в партии. Отделяться общими гладкими формулировками он вообще не любил. Вскоре на закрытом Пленуме ЦК КПСС 16 октября 1952 года последовало принципиально важное крупное его выступление. Как оказалось, оно стало последним.

Об этом событии следует рассказать подробно. Оно проясняет многое, происходившее в последние годы жизни Сталина, и, возможно, помогает понять причины его смерти, всего лишь через 4 месяца после этого события. Сталин говорил около полутора часов без перерыва. Он не читал заранее написанный текст, а именно говорил, обращаясь в зал и не сбиваясь. Одно уже это убедительно свидетельствует о том, что он был здоров и, во всяком случае, никакими умственными и психическими расстройствами не страдал. Он сразу же взял деловой тон: «Итак, мы провели съезд партии. Он



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

прошел хорошо, и многим может показаться, что у нас существует полное единство. Однако у нас нет такого единства...»

Обратимся к воспоминаниям присутствовавшего на пленуме писателя Константина Симонова, члена ЦК партии:

«Говорил он от начала до конца сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, сцепившись глазами в зал, — все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению...»

Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, приближается то время, когда другим придется продолжить делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжелая и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствовавших, что, в свою очередь, было связано с темой собственной старости и возможного ухода из жизни. Говорилось все это жестко... За всем этим чувствовалась тревога истинная и не лишенная трагической подоплеки».

Написано это было спустя 27 лет после пленума, но общее впечатление и некоторые детали писатель запомнил, по-видимому, хорошо. К сожалению, отсутствует стенограмма выступления Сталина. Сошлюсь на запись Л.Н. Ефремова, приведенную в книге В.В. Карпова «Генералиссимус». Сталин объяснил некоторые свои предложения, сказав:

— Некоторые выражают несогласие с нашими решениями. Говорят, для чего мы расширили состав ЦК? Но разве не ясно, что в ЦК потребовалось влить новые силы? Мы, старики, все перемрем, но нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела, кто ее понесет вперед?..

Нашлись комментаторы, излагавшие его слова в том духе, что коварный диктатор захотел под благовидным предлогом избавиться от конкурентов. Такова точка зрения тех, кто привык строить каверзы, лгать и клеветать ради своей карьеры или по заказу своих «спонсоров». На мой взгляд, Сталин говорил то, что хотел сказать. Он не привык унижаться, лицемерить, хитрить.

Причины кадровых перестановок он объяснил так:

— Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа мини-

стра — мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полны сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе. Что же касается самих видных политических и государственных деятелей, то они так и остаются видными политическими и государственными деятелями. Мы их переводим на работу заместителями Председателя Совета Министров. Так что я даже не знаю, сколько у меня теперь заместителей...

Однако: оказалось, что дело не только в возрасте ветеранов партии. Сталин перечислил несколько серьезных ошибок Вячеслава Михайловича. На одном из дипломатических приемов Молотов дал согласие английскому послу издавать у нас буржуазные газеты и журналы. «Такой неверный шаг, если его допустить, — сказал Сталин, — будет оказывать вредное, отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, приведет к ослаблению нашей, коммунистической идеологии и усилению идеологии буржуазной».

Судя по всему, вождь знал о влиянии последней на умы не столько рядовых советских граждан, сколько на тех, кто причисляет себя к элите общества. Ведь будет рекламироваться под видом буржуазного образа жизни благосостояние наиболее обеспеченных слоев западного общества, но вовсе не того большинства, которое едва сводит концы с концами.

Кроме того, Сталин указывал на то, что Молотов предложил сделать Крым еврейской автономией и что он делился со своей женой (еврейкой) секретной информацией. «Получается, — говорил Сталин, — будто какая-то невидимая нить соединяет Политбюро с супругой Молотова Жемчужиной и ее друзьями. А ее окружают друзья, которым нельзя доверять». Среди них были Голда Меир, сотрудник посольства США и т.п.

Красноречивый факт: когда в Москву приехала первый посол Израиля Голда Меир, перед синагогой, куда она пришла, собралась многотысячная толпа. Ее приветствовали с восторгом, и она ответила: «Спасибо за то, что вы остались евреями». А на приеме в МИДе жена Молотова подошла к Меир, заговорила с ней на идиш и на вопрос, не еврейка ли она, с гордостью ответила: «Я дочь еврейского народа».

У жены Молотова были знакомые и в посольстве США. Вячеслав Михайлович имел неосторожность обсуждать со своей женой некоторые секретные решения Политбюро. А вскоре эти решения становились известны американцам.

«При всем гневе Сталина... — вспоминал Симонов, — в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще более злой и неуважительной.

В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица...»

Но самый большой удар по нервам присутствовавших был нанесен в заключение Пленума. Вот как описал это К. Симонов:

«Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней своей должности он просит его освободить, уважить его просьбу... Сталин, говоря эти слова, смотрел в зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение — не то чтоб испуга, нет, не испуга, — а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других осознававшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трех своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!», или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно!» Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду показалось, что это все естественно: Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарем ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине».

Тут писатель позволил себе сомнительную вольность: за-

говорил о мыслях малоизвестного ему человека, политика и государственного деятеля, соображения которого в тот момент могли быть совершенно иными. (Учтем, что написан этот отрывок в 1979 году, когда был осужден «культ личности Сталина» и много клеветы говорилось в его адрес.)

По мнению Симонова, Маленков *«понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказываться от поста Генерального секретаря, что эта просьба, прощупывание отношения пленума к поставленному им вопросу — как готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести еще эту, третью свою обязанность... И почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной, или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, трудно себе представить»*.

Увы, печальными бывают результаты даже искренних попыток писателей, не относящихся к числу крупных мыслителей, думать за выдающихся государственных деятелей! Как говорится, не по Сеньке шапка.

Пожалуй, Маленков, как многие другие, был обескуражен прежде всего неожиданностью предложения Сталина. Он просто не знал, что предпринять в такой экстремальной ситуации. Поэтому обратился в зал:

— Товарищи! Мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Последовали бурные аплодисменты. Сталин:

— На Пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря.

Встал маршал С.К. Тимошенко и пробасил:

— Товарищ Сталин, народ не поймет этого. Мы все как один избираем вас своим руководителем — Генеральным секретарем ЦК КПСС. Другого решения быть не может.

Все стоя поддержали его слова аплодисментами. Сталин постоял, глядя в зал, потом махнул рукой и сел.

Странно, что «инженер человеческих душ» К. Симонов истолковал этот эпизод как выражение торжества. Или вождь поистине выжил из ума, если решил таким нелепым образом «прощупать отношение Пленума» к поставленному вопросу о его отставке? Ну а если бы его просьбу удовлетворили, он

что же, приказал бы покарать всех, кто ее поддержал? Выходит, захотел внести раздор в ряды партии, начать массовые репрессии среди узкого круга участников Пленума? Зачем?! Он же откровенно сказал, что уже стар и может вскоре умереть.

Разумней предположить, что он хотел выяснить, готовы ли новые государственные деятели к самостоятельной работе, к продолжению дела, которому он посвятил всю свою жизнь. Или, возможно, в порыве раздражения он просто пригрозил своей отставкой, чтобы присутствующие поняли, насколько важно то, о чем он говорил. Хотя не исключены и другие предположения. Жаль, что обычно тиражируется самое глупое и подлое.

ПРОТИВ ПАРТИЙНОЙ ЭЛИТЫ

Некоторые авторы, фантазируя на тему «осень патриарха», пишут, будто Сталин панически боялся смерти. Полная чепуха! Как революционер он смерти не боялся. Но, чувствуя ее приближение, беспокоился за судьбу страны.

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года он сказал, обращаясь к Рузвельту и Черчиллю: «Пока мы все живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений между нами... Но пройдет десять лет или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Придет новое поколение, которое не прошло через все то, что пережили мы, которое на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы».

Как видим, он спокойно и вполне философски относился к своей смерти, даже фактически предсказал ее с удивительной точностью.

С подачи Хрущева принято считать, будто существовал политический кризис, с которым не мог справиться престарелый вождь. Эта легенда понадобилась Никите Сергеевичу для оправдания своих провальных мероприятий после захвата власти. (Аналогично поступили и Горбачев, и Ельцин; любому обанкротившемуся политику хочется свалить свою вину на своего предшественника.) Его мнение пришлось по душе многим авторам. Например, историк Д. Боффа уверенно писал о «кризисе сталинского правительства» (по-видимому, точнее сказать — сталинского правления). Хотя уже в следующем абзаце констатировал:

«После десяти лет международных испытаний, одно другого тяжелее, которые страна победно преодолела, Советский Союз постепенно окреп. Последствия войны и голода отошли в прошлое. Население увеличивалось в результате демографичес-

кого подъема. Промышленность росла. Из стен высших учебных заведений выходило около 200 тыс. выпускников, в дополнение к которым подготавливалось также примерно 300 тыс. специалистов со средним техническим образованием». Если таковы результаты кризиса правительства, то побольше бы подобных кризисов! Словно в помрачении рассудка автор ссылается на «маниакальное вырождение подозрительного характера» Сталина и «признаки неспособности осуществлять руководство». Боффа объясняет парадоксальность ситуации просто: *«Всё преодолевающая жизненная стойкость народа находилась в противоречии с тем свинцовым колпаком, который послевоенная сталинская политика надела на всю общественную жизнь в стране».*

Оказывается, под «свинцовым колпаком» происходит невиданный подъем народного хозяйства, растет количество населения, улучшается его благосостояние и повышается культурный уровень! Выходит, «колпак» предохранял общество от всяческих бед и определял его устойчивость. На мой взгляд, под идеологическим колпаком находилось сознание Боффы, когда он писал подобные вещи. Умилительную оговорку делает этот буржуазный историк: «Мало кто ясно осознал это противоречие». А может быть, его и не было? Или стремились создать и усилить социальные противоречия именно те, кто желал уничтожить существующий строй и обрести благоприятные возможности для личного обогащения?

Именно так все и произошло, когда в конце XX века осуществилась в России — СССР буржуазная революция (или контрреволюция). Она явилась своеобразным реваншем за провал в феврале 1917 года. В результате общество не перешло на более высокий уровень; напротив, очевидно его деградация буквально по всем параметрам — упадок социальный, научно-технический, экономический, нравственный, культурный.

Отчасти оправдывает логические несуразицы Д. Боффы то, что его работа относится к концу 1970-х годов. Над ним довлели политические стереотипы западных идеологов. Не исключено, что он выполнял соответствующий социальный заказ. К тому же о положении в СССР он судил преимущественно по всяческим диссидентским сочинениям.

Как уже говорилось, в СССР в 1952 году основополагающим событием стал XIX съезд партии. На нем были подведены итоги сталинской эпохи и намечены перспективы на будущее. Однако в изданном полумиллионным тиражом учебном пособии «История СССР. Эпоха социализма» (М., 1958)

о нем сказано было весьма скупо и неопределенно. Даже не упомянут основной докладчик Г.М. Маленков, не сказано о присутствии на съезде Сталина.

В новейшем учебнике истории России для 11-го класса (2007) сказано: «В последние годы жизни И.В. Сталина нормы внутрипартийной демократии перестали соблюдаться даже формально. Не созывались заседания руководящих органов партии. 13 лет не проводились ее съезды. Лишь в 1952 г. состоялся XIX съезд ВКП(б). Съезд утвердил новое название партии. Она стала называться Коммунистической партией Советского Союза (КПСС)». Только и всего!

Традиционно «наивное» пояснение дал Д. Боффа: *«Ход работы XIX съезда, на котором партия окончательно отказалась от своего именованья как партия большевиков и назвалась просто Коммунистической партией Советского Союза (КПСС), подтвердил наличие в эти годы глубокого кризиса. В СССР и правители, и управляемые в дальнейшем старались вычеркнуть его из памяти истории; в более позднее время об этом событии стремились говорить как можно меньше (стенограмма выступлений на съезде не была до сих пор опубликована)... Основным докладчиком был Маленков; это поручение, казалось, представляло собой ясное указание на возможного наследника Сталина».*

Вновь ссылка на кризис без какого-либо убедительного пояснения, а вдобавок отказ обдумать странный феномен стремления власть имущих вычеркнуть данный съезд «из памяти истории». Почему?

Предположим, страна находилась в критическом положении. Но тогда для Хрущева и его сторонников имело прямой смысл раскрыть суть кризиса, который способствовал свержению сталинизма. А тут прямо противоположная стратегия умолчания и даже засекречивания. Тот же самый Боффа вольно или невольно указал на то, каким в действительности был кризис. Был он связан не со сталинским управлением, а назревал вопреки нему. Существовали некоторые объективные явления, угрожавшие системе, созданной Сталиным. О них много говорил Маленков. *«Он резко акцентировал внимание, — справедливо указал Боффа, — на четырех пунктах: необходимо дать большой простор самокритике и критике «снизу»; дисциплина партийная и государственная должна быть укреплена и должна стать единой для всех, руководителей и руководимых: выдвижение и подбор кадров должны проводиться более строго, не должно быть места для кумовства и личных капризов, как это часто случается; необходимо также усилить идеологическую работу, для того чтобы не допустить возрож-*

дения буржуазной идеологии и остатков антиленинских групп (то есть оппозиций давнего времени)».

С докладом о партийном обновлении выступал Хрущев. Он приволил аргументы, аналогичные тем, что использовал Маленков. Членам партии предписывалось исполнение новых обязанностей: критика и самокритика; запрет любых форм «двойной дисциплины», одной — для руководителей, другой — для рядовых членов; уважение к «секретности в партии и государстве»; обязанность докладывать наверх о местных «недостатках», «невзирая на лица»; подбор руководителей без каких-либо соображений дружбы, родства или землячества.

Нет никаких сомнений, что повторение Хрущевым основных положений кадровой политики, доложенных Маленковым, свидетельствует о том, что данная проблема считалась ключевой и предварительно обсуждалась со Сталиным. Скорее всего, обсуждение это проводилось преимущественно или даже единственно с Маленковым. Ведь именно он отвечал за кадровую политику в государстве и партии.

Если Сталин счел нужным представить Маленкова своим преемником, то логично предположить, что состояние руководящих кадров вождь считал неудовлетворительным, а наведение порядка в этом деле — важнейшей, первостепенной задачей. (По словам Д. Боффы, «даже если под этими докладами и уставными новшествами и не было подписи Сталина, то наверняка инициатива исходила от него и их содержание контролировалось им же».)

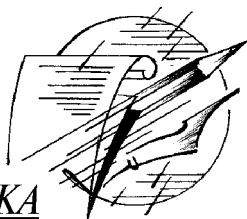
Вот и Н. Верт высказал мнение, что Сталин вынужден был, «не трогая основ, обновить политические, административные, хозяйственные и интеллектуальные кадры государства. Именно с этой точки зрения следует рассматривать изменения, произведенные на XIX съезде партии». То есть и мы, и антисоветские историки приходили к одним и тем же выводам. Данное мнение верное, ибо основано на фактах. Оно вполне очевидно для любого, кто более или менее внимательно ознакомится с докладом Маленкова.

Но если всё так просто и ясно, то почему же советская партийная пропаганда стала замалчивать материалы и основные положения данного съезда? Почему на них не обратили должного внимания? Ответ, как мне представляется, может быть один: с хрущевских времен и до настоящего времени власть в СССР, а затем в Российской Федерации захватили представители того самого социального слоя, против которого ополчились Сталин и его преемник Маленков.

НЕ О ТОЛЕРАНТНОСТИ НАДО ТАЛДЫЧИТЬ!

Пусть сильнее грянет кризис! — призывал Всеволод Емелин в известной песне. Не знаю, все ли так случилось с «однополярным миром» и «финансовыми монстрами», как он предвещал, но вот на телеканалах, и вообще в современной культуре никакой очистительной бури не произошло. А специфика культурной ситуации такова, что последние 20 лет культура живет (и в культуре живут) в ситуации кризиса. Вот уж, действительно, нам к кризису не привыкать...

Увы, за эти двадцать лет в результате «оптимизации» учреждений культуры в русской провинции уверенно-наполовину уменьшилось число объектов культуры (библиотек и клубов). Увы, сумма, выделенная в этом году библиотекам на приобретение книг, гораздо ниже того, что тратят на тысячу жителей развивающиеся страны. Большинство библиотек (муниципальных) не имеет в своих фондах ни Конституции, ни центральных газет. Социологи нам говорят, что 37% взрослого населения вообще не читают книги... И только в семи современных семьях из каждых ста родители читают книги детям... Ну, а про ухудшение у школьников способностей понимать и внятно пересказать не раз говорили педагоги. В общем, все эти цифры чрезвы-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

чайно важны для понимания одного: государство не имело и не имеет никакой культурной стратегии. Конечно, можно решить, что такая стратегия и не нужна, но выживать в кризисной ситуации мы будем именно благодаря тому, что культура вложила в человека. Выживать в кризис мы будем за счет ценностей культуры и человеческого потенциала. Боюсь, что то состояние культуры, которое двадцать лет преобладало в нашей стране, не дает нам достаточного оптимизма. Вкладывая в культуру, государство вкладывает в человека, и тем самым создает будущее, формирует свой главный капитал. Но у нас все было наоборот.

Вместе с тем, уже до кризиса, в трехлетнем бюджете страны на 2008—2010 гг. (где еще фиксировался рост финансирования по всем бюджетным статьям), уже снижались расходы на культуру. «Если в 2007 году они составляют 1,24% от расходов бюджета, то к 2010 году государство предлагает на развитие культуры и сохранение наследия 0,83%. Восемьдесят три сотых процента — это государственный бюджет!» (из отчета Общественной палаты). Деятели культуры вновь стали говорить (как в советские времена) об остаточном принципе финансирования культуры. Только советские «остатки» и нынешние сильно отличаются! По отношению к советскому финансированию культуры нынешнее можно назвать уже попросту «объедками», а не «остатками».

Как и чем обоснован такой государственный презрительный взгляд на культуру?

Думаю, что сами деятели культуры во многом тут виноваты. Они, захотевшие свободы, усиленно боровшиеся с давлением советского государства на «творческих людей», сами же уже в начале 90-х порвали с государством все официальные отношения, повернулись к нему задом и сказали: нам ничего от тебя не надо, поди прочь, исчадие ада! Они сами освободили государство от каких-либо обязанностей по отношению к культуре. Но на самом-то деле долго не протянули: творческую свободу на хлеб не намажешь. И вместо официальных завели неофициальные отношения все с тем же государством (сняв с него обязанности «верной жены», — потребовали от него услуг «ветреной любовницы». Оно же — согласилось). И все те же самые свободолюбцы постепенно начали рыть ходы к Кремлю, чтобы у того или иного чиновника получить «денежку» под свои проекты.

Вместо государственной стратегии мы получили индивидуальное или мелкогрупповое лоббирование! Вхож режиссер Т. к чиновнику N — вот он и имеет капиталец на «реконструкцию» театра, а другой проложил путь к С. — и вот уже

какой-нибудь фестиваль сооружает, где тоже кормится исключительно своя тусовка. В общем, все стали промысловиками, охотниками-одиночками — каждый со своей культурной (или антикультурной) делянкой! Каково ее качество и вообще — зачем она нужна на государственные деньги?! Такой вопрос даже шепотом нельзя задавать... Но и это не все. Именно государственной поддержкой и часто на высоком уровне обладают личности странные.

Вот Виктор Ерофеев пишет много разного-грязного, антирусского, например, но это не в счет и никак не мешает государственному чиновнику регулярно отсылать его в командировки на всякие международные выставки-ярмарки и прочие съезды, где он представляет «русскую культуру». Виктор Ерофеев, автор рассказа под названием «Запах говна изо рта», являлся (и кажется, все еще является) членом Комитета по Государственным премиям при президенте России. «Надо полагать, что писатели, избегающие фекальной темы, имеют мало шансов на державное внимание» (Л. Сычева). В общем, странную диспозицию мы наблюдаем: самые агрессивные «свободолюбцы» под шумок тащат из государственного кармана деньги «на проезд по Европам», но при этом же, как Татьяна Толстая, горделиво сообщают о своем презрении — о том, что она не встает при звуках Государственного гимна России. А может, так им, чиновникам, и надо?!

В общем, один этот персонаж (В. Ерофеев) в качестве государственно-обласканного — большой аргумент в естественном нашем подозрении самых высоких госчиновников в самом тупом и безответственном бескультурье и в сознательных, непрофильных тратах государственных (наших с вами) денег.

Существует такой документ как общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Есть там и культура, которая находится в разделе «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». Перед «культурой» стоит «удаление сточных вод», а следом за ней классификатор называет химчистку, парикмахерские и организацию похорон. Вот он, государственный взгляд на культуру! Во всей, так сказать, красе. На этот взгляд культура — это «деятельность по организации отдыха и развлечений». В общем, сфера услуг, не различимая для государственного ока с организацией похорон. О чем говорит сей государственный документ? О безразличии — тотальном и полнейшем — к самой культуре, которая ежесекундно, всегда и всюду обнимает собой человека, т.к. она транслирует ценности и смыслы. И от того, что, кому и как она будет трансли-

ровать, — и будут «плясать» все те проектировщики жизни в кризисе или за кризисом. Например, один из опросов 2007 года (юбилейного года Октябрьской революции) показал, что 44% наших граждан приняли бы участие в новой революции (мотив — борьба с богатыми).

Ну а то, что 51% считают роль Сталина в истории нашей государственности положительной, — это известно уже всем школьникам. Так что можно и выводы делать из этих пока вполне культурных фактов. С другой стороны, писатель Виктор Николаев, у которого недавно вышла книга документальной прозы «БезОтцовщина», говорит о том, что в беседах с малолетними правонарушителями в колониях он не раз слышал, что на преступление их «вдохновил» фильм «Бригада», взятый «за образец». В общем, нынешние государственные чиновники не могут и не хотят понять, что культура (в том числе телеэфир, радиоэфир) являются нашей общей копилкой, достоянием всего народа; что культура — это не меньшая стратегическая ценность, чем территория, природные ресурсы; что культурное единство нации — это тоже огромный государственный потенциал (и его разрушение — свидетельство потери национальной безопасности). Не о толерантности надо талдычить, а о чудовищной терпимости к насилию! Насилию, тиражируемому и воспроизводимому нашими «культурными» СМИ. Не спелённому младенцу надо бежать и вручать «права человека», а побеспокоиться о навязчивой и наглой пропаганде только одного образа жизни — жизни потребителя с его философией «человек есть то, что ест».

Мы можем какой угодно счет предъявлять чиновникам Федерального агентства по культуре, а они в ответ выдадут списки их «огромной деятельности». И тяжба эта будет бесконечна. Что уже только не создавалось, чтобы «спасти русскую культуру»! Одно время был даже создан (но о деятельности его никто не слышал) Совет по государственной политике и даже Комитет культурной безопасности. Правда, кто в этих Советах дает советы, все равно общественности не очень ясно.

Мне представляется, что стоит иначе посмотреть на проблему. Безусловно, государство должно поддерживать культуру. И оно поддерживает... Например, Московскую международную биеннале или матершинника Ерофеева. Но эта поддержка в глазах многих творческих людей выглядит так, как если бы государь-император эротические и порностишки Баркова печатал за счет государственной казны.

Высокий общественный статус культуры — это совсем не исключительное достижение советского периода, как дол-

гие годы нам пытались внушать. И это-то внушение тоже напрочь освободило чиновников от правильно понимаемых задач! Никакой великой культуры у нас никогда бы не было без государственного ресурса. Вспомним о высоком общественном статусе литературы в век Екатерины, в царствование Николая I. В XVIII столетии не только сами литераторы, но и правительство понимало, что русская литература должна достигнуть уровня европейской. В XVIII столетии, например, была практически переведена вся античная классика, к тому же создана своя, отечественная классическая система жанров. Тут тебе и трагедия с комедией, и проза, и поэма с одой.

Именно в тот блестящий век Екатерины уже всем было ясно то, что неясно сейчас: подлинное культурное строительство требует больших затрат. В культуру были вложены огромные деньги, кроме того, инициатива освоения европейской культуры и создание своей исходила именно от правительства, то есть была «инициативой сверху». Это императрица платила жалованье Семену Баркову за переводы Горация, она же финансировала (как сейчас говорят) в течение семнадцати лет труд Василия Петрова по переводу «Энеиды» Вергилия. А неродовитый, добродушный поэт Костров получал за свои переводы от университета 1500 рублей в год, что по тем временам было немало (см. Н.Калягин. Чтения о русской поэзии). Да что и говорить — царское правительство открывало университеты, Академии наук и художеств, учебные заведения, периодические издания, совершенно безвозмездно тратило деньги на культуру. Не с тех ли самых пор у нас поселилась уверенность, что правительство отвечает не только за «уровень жизни» народа, но и ответственно за его культурный статус, что государство не должно быть врагом просвещения.

Вообще культурное служение в России именно с XVIII века оформилось именно как служение и было подчинено дворянскому долгу, служению Отечеству и царю. Кроме того, культурное служение было как бы вторично по отношению к ним, из них вытекало. Отсюда и «пафос доверия к власти, пафос служения, верности, культ чести, культ ранга» (Н.Калягин). Все крупно. Все явно. Писателя, поэта вдохновляет только значительное — Бог, Россия, русские цари, наша воинская слава. Не случайно того же Державина Гоголь позже назовет «певцом величия».

Право, читая о XVIII или XX веке, очень остро чувствуешь, как связаны между собой, как соотносимы масштабы государственных и масштабы культурных задач. Государство как бы требует, занимается «искусственной возгонкой своих Ра-

синов, Вергилиев, Софоклов», а в советское время — своих «штатных классиков». Понятно, что искусственность, механичность в культуре — не лучший способ ее возрастания, но все дело в том, что сама установка на возрастание оборачивается качественными, талантливыми явлениями. К тому же стоит признать, что официальный патриотизм в культуре (официальная культура) существовал всегда. Вспомним знаменитую триаду министра просвещения графа Уварова — «Православие. Самодержавие. Народность», которая стала стержневой для духовного движения русской культуры ее золотого века — XIX. Официальная формула? Да. Но эта «формула» чеканно и верно вобрала в себя всю нашу самобытность, как и отразила всю нашу идеальную «программу», в рамках которой подлинная русская культура живет до сих пор. «Духовность, государственность, народность» — неужели они уж так непригодны нам? Неужели нынешнее государство не способно положить их бодрость, глубину и правду в основание своего культурного строительства? Или мы уже так глубоко зашли в своем отрыве от собственной сути, что впору повторить слова Дениса Давыдова:

*То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки...*

Неужели это про нас и уже навсегда?

Наверное, если бы мы произвели опрос, то большинство нашего народа именно на власть страны возложило бы свое ожидание правильных культурных поступков (замечу, что в предвыборных программах ни одной партии, кроме КПРФ, не было сказано ни слова о культуре!). Вся история культуры говорит нам об одном — гарантировать некоммерческий статус культуры может только государство, способное защитить достойное и «окоротить незаконные притязания бизнеса на духовную власть в обществе» (А. Панарин). И тут совсем не «тоталитарное рабство» и не «советская привычка» дает о себе знать. Несмотря на то, что арена культуры захвачена исключительно себялюбивыми «профессионалами», а вокруг президентов мелькают одни и те же лица «культурной элиты», которые далеко не всегда соотносят свою деятельность с идеалами и убеждениями всего народа, вера в возможность вернуть государству, власти и культуре достойный статус в народе остается. Но, к сожалению, этот дар народа власти, сегодня очень и очень мало ценится.

Наверное, чиновники у нас имеют свои резоны, но связаны, они, безусловно с тем, как и каким видят госчиновники будущее России: если это будущее только транспортный коридор и сборочный цех, то тогда очень логична вся нынешняя культурная политика. Тогда наша культура попросту перегружена страшными излишествами, невероятными избыточностями, тогда подлинное творчество, помнящее о почве и традиции, абсолютно не нужно, оно еще и мешает тому «новому человеку», который будет жить не в самобытной цивилизации, а в транспортном коридоре! И зачем поддерживать то, что мешает?! Зачем поддерживать «толстые журналы», авторы и сотрудники которых не могут и не умеют освободить себя от дум высоких, от высокой культуры, от роскоши русского языка? Вот образчики «актуального искусства» — Московская биеннале, «Дети Розенталя» в Большом — действительно не страдают никакими высокими художественными и мыслительными достоинствами. Их и поддержим! Они не нагружают нашего соотечественника никаким желанием понять мир и себя. Они не помешают никаким планам превращения народа в «элемент» глобального общества, смирившегося со своей некачественной социальной и культурной судьбой.

Мы все помним заседание правительства, на котором министр обороны Сергей Иванов потребовал от министра культуры «прекратить дебилизацию населения». Но с ним не согласился любитель «Аншлага» Герман Греф, заявивший: «Вам не нравится Аншлаг, а мне не нравится футбол». Неужели у нас только и должен остаться выбор между футболом и «Аншлагом»?

Культурофобией на самом-то деле заражено сегодня многое: культурофобия борется прежде всего с культурной памятью. И мы должны констатировать, что за последние 15 лет у нас произведена грандиозная культурная чистка, когда нравственность, традиция, патриотизм, Отечество из бранных слов медленно переползли в ряд мертвой официальнойщины. В общественное сознание был внедрен в качестве успешного проекта «человек экономический», но не культурный, добровольно обременивший себя наследством норм и запретов. Результатом же стало то, что основными критериями в культуре являются продажность и прибыльность. Я даже не буду тратить время на характеристику антикультуры — все всё знают. Упорно и настойчиво антикультуру связывают со вкусом зрителя, желающего якобы только страстей и развлечений, то есть с рынком и рыночным продуктом. Но достаточно назвать «Идиота», экранизированного для ТВ, недавний

фильм «Страсти Христовы» или нынешнего «Тараса Бульбу», чтобы враз уничтожились все аргументы варварской культурной версии (народ хочет зрелищ!). Но ситуация не изменится до тех пор, пока не будет понимания главного: в культуре не работает и не будет никогда работать принцип равенства, то есть равнозначности и равноценности любых проявлений. Именно рынок сегодня выбраковывает высокие и подлинные ценности, а нас почему-то призывают не удерживать их и не сопротивляться этому процессу, но, напротив, полагать авторитет рынка некой последней инстанцией истинного вкуса.

Итак: категорически необходимо доносить до общества (и потребовать этого понимания от чиновничества), что подлинная культура имеет право жить вне рынка, вне рыночных законов; что нужны сознательно поддерживаемые и сохраняемые «оазисы культуры», которые являются особой культурной зоной — не зоной свободного культурпредпринимательства, а напротив, той культурной зоной, где ценно именно некоммерческое воодушевление, где созданы условия для подлинного творческого самочувствия. В культуру необходимо ввести вместо прежнего принципа «остаточного финансирования» другой принцип — «достаточной дополнителности», о котором говорил уже много лет назад А.С. Панарин. Создание внерыночного культурного пространства и является основой этой системы дополнителности. Тогда культура не будет «балластом», а мораль — «прибежищем неприспособленных» к рынку и ростовщичеству.

В нашем обществе достаточно сил для строительства Большой культуры, у нас много ярких личностей — носителей подлинной почвенной культуры. Сегодня, когда мы говорим об информационном обществе, чрезвычайно важно понимать, что подлинная, большая культура живет идеями. Нам же предлагают этот мощный классический тысячелетний проект изменить — и мы уже почти позволили заменить идеи технологиями. Идеиный человек, человек классической парадигмы, подвижник и борец, вытесняется расчетливым и холодным оператором.

Мы должны решительно потребовать государственного озвучивания того, что большая культура может развиваться при одном условии — признании ее самооценности. А логика самооценности такова, что видеть в культуре только прикладной, служебный характер — это преступление. Культура наша должна быть многоукладна — именно высокие ее «этажи» позволяют кабацкие отношения удерживать в стенах кабака, а рыночные — на площади рынка (Н.Калягин). И тогда

императив рыночной пользы будет достойно скорректирован с признанием других прав, целей, мотивов и других достоинств у носителей иных культурных укладов. И тогда станет ясно, что разные цели несут в себе и совершенно разные достоинства, следовательно, далеко не все обязаны разделять призывы Швыдкого к перманентной культурной революции и усилению художественного радикализма, на которые он успел затратить большие казенные деньги. Эксплуатировать ресурсы подлинной культуры, ее цивилизационного наследия и эксплуатировать бесплатно — вот современная мораль любителей все оценивать в рыночной стоимости и достигать «неимоверного напряжения» художественного радикализма за счет Большой культуры.

Закону стоимости в культуре должен противостоять закон ценности — такова и только такова может быть культурная стратегия государства, если государство собирается жить. И жить суверенно.

Но все, что сказано выше, острием своей цели направлено на человека, на народ. Как самосохранение народа есть высшая цель государства, так и сохранение, удержание человека в спасительной, защитной культурной оболочке ради его высокого человеческого образа — высшая цель культуры. И не стоит играть в спекулятивные игры: будто бы если речь идет о государстве, то такой разговор сразу же, напроць «подавляет личность». Ведь чем выше культурный статус личности, тем больше в ней сил и крепости противостоять девиантности (отклонениям) в любой области: хоть в нравственной, хоть в государственной. Первейшая задача государства и культуры сегодня — вернуть народ, нацию и каждого человека в созидательное состояние. Именно народ, обладающий своей живой сущностью, а не «электорат», предполагающий в человеке временное включение «предвыборной функции». Электорат — сила численная. Народ — сила качественная. Вот эту, последнюю, силу пока еще можно вызвать к деятельности, если, конечно, будущее видится в рамках собственного проекта. Но это невозможно сделать без включения культурных механизмов, без, в конце концов, культурного восторга в человеке взамен нынешней культурной тупости и апатии, вызванной, в том числе, и некачественным рыночным продуктом.

ПЕСЕНКА ВАГАНТОВ

Прекрасно, когда солнцеликие одуванчики растут прямо у крыльца твоего дома. У моего растут...

По телефону заманиваю Маришу в Старово-Смолино: «Что у нас твурится, что твурится. — Это Варюшка так говорит, твурится. — Черемуха отцвела. Вишни, яблони цветут. Гроздья сирени набухают. На дубу скоро листочки распустятся. Возле Стеблево в полях гуси на ночевку остановились. Слышу их встревоженные детские голоса. Будто все они друг дружке взволнованно говорят: «Близко Родина, братцы. Родина близко». Я молюсь чтобы все они до Родины долетели... Поздно вечером кукушка прокукует два-три раза и словно опомнится: что это я? уже ночь на дворе, а я раскуковалась...»

Все цветет. Воздух звенит от пчел, ос. Бабочки, как цветы летящие. А цветы, как бабочки. Все смешалось. Все будто являет себя миру. Кажется, это не золотые осы, а сами деревья звенят от радости цветения, ожидания лета...

В саду на могилке Малыша, песика нашего любимого, белые лепестки яблонь. Весь холмик запорошен белыми лепестками. И так у него всегда: в мае — лепестки яблонь, черемухи, вишни; в конце лета —



ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

красные яблоки; осенью — листва золотая. В саду он лежит! Счастливчик! Каждый день я навешаю его. Была бы мама моя в саду похоронена, я бы и к ней так навешивался. И меня бы потом рядом с ними положили. И на мою могилку также бы падали белые лепестки яблонь и листва золотая... И мои дети, внуки каждый бы день у нас бывали. Но людей не хоронят в их собственном саду.. А как бы всем было хорошо в саду! И живым, и мертвым. В саду..

Окна распахнуты. Соловей ночью шелкнет — непонятно: то ли за окном, то ли в доме. От этой близости соловьиной сердце молодеет..

Поехал встречать Маришу за Борисоглеб. Сначала хотел ждть у бензозаправки, а потом понял: это самый подходящий случай наконец-то побывать на «нашей лесной дороге». Когда в первый раз прибыли в Борисоглеб искать дом, то на подъезде к поселку увидели справа между высоких сосен заснеженную дорогу, по которой только что кто-то проехал на лошадке с санями. И так она нам запала в душу эта зимняя санныя дорога в сосновом бору, что теперь всегда, подъезжая к Борисоглебу, стараемся не проглядеть нашу лесную дорогу. Однако ни разу за многие годы мы почему-то не остановились, не прошли по ней...

И вот сбилось — шагаю по мягкой от сосновой хвои колее. Хотелось подальше заглянуть, наверняка там какое-то чудо скрывается, но боялся, что Мариша с гостями проедет.

Часа два ждал и столько радости пережил. Денек майский — солнечный, теплый. Долго-долго слушал верховой шум сосен. Словно русское войско в поход выступило... А внизу — тишина. Прилетел ко мне шмель. Сел на цветок, а он под его тяжестью согнулся и шмель упал на землю. Посидел, подумал и так же неторопливо взлетел и прицветился на другой. Конечно, я поговорил с ним, дескать, какие мы с тобой счастливыцы — в таком чудесном благодатном краю живем, посоветовал ему подальше от машин держаться — не то увезут в далекий чужой город...

Жаль было с ним расставаться. Ведь больше никогда в жизни не встретимся, а если и встретимся, то не узнаем друг друга. А мы целых пять минут рядом были и он мне таким родным стал.

Жаркая бабочка решила передохнуть у самых моих ног. Так что я рассмотрел хорошенько на ее раскрытых крыльях все прекрасные симметричные узорчатые пятнышки. Такая она красавица-девица, что я не посмел заговорить с ней, только любовался.

Давно я так подолгу ни с кем в природе не встречался, как со шмелем и бабочкой. Хотя живу в деревне гораздо больше, чем в Москве. Все как-то на ходу, на секунду... Но, главное, наконец я остановился у нашей лесной дороги и даже пожалел что Мариша с гостями так скоро подъехала.

Два счастливейших часа моей жизни. Было это в мае...

Слышу, машина подъехала. Глянул в окно — отец Илья. Весь огненный, распаренный. Жара стоит градусов тридцать пять. Обрадованные выбежали с Маришей к калитке. Сначала никак он заходить не хотел. Долго с ним препирались под сенью нашего дуба. Солнце невозможное. Лето! Русское лето! И вдруг одновременно догадались: взяли его под руки и повели в дом. Обедать он отказался, мол, времени в обрез. Тогда Мариша поставила на стол прохладные темно-блестящие вишни. Отец Илья ел и удивлялся: «Интересно. Кислые ягоды, а так бы ел и ел». Конечно, Мариша сразу откликнулась — целую коробочку вишен ему упаковала.

Все это происходило каких-то десять-пятнадцать минут. Было жарко, было русское лето. Заехал неожиданно наш родной отец Илья и было пятнадцать минут радости...

Стояли с Маришей на нашей реке Устье на мосту. Пара влюбленных четырехкрылых темно-синих стрекоз, почти черных от синевы, летала над самой гладью воды. Жара египетская и они, чуть не касаясь воды, счастливые, влюбленные... Было страшно за них, что коснутся воды и утонут. Но как же они счастливо летали в чудесном дне, жарком-прежарком. Едва не касаясь крыльями прохладной воды. Как они прекрасно летали! Мы словно сами с ними полетали.

Ездили на Устье. На обратном пути Мариша, вот жизнедеятельная натура: «Ой, а камни? Ты же давно обещал». Я от счастья, не так часто мы вместе гуляем в лугах, расщедрился: «Ты иди вперед, собирай и оставляй на краю дороги, а я буду подъезжать и складывать в машину».

Когда ехал потихоньку за Маришей, глядел на опушку молодого сосняка и невольно по многолетней привычке ждал, что вот сейчас между стволов мелькнет родная фигурка Малыша. Один раз, чувствуя его присутствие, не выдержал: «Малыша, ну выбеги, роднуша, выбеги». Он не выбежал, но был рядом. Сказал Марише, она согласно кивнула: «Я тоже сегодня чувствую, что он с нами».

Успокоил Малыша: «Ничего, я потерплю. Ты-то вон

сколько ради нас потерпел... Ничего, я потерплю. Все равно мы с тобой встретимся. Ты ведь — Божий песик. Только нам еще надо очень-очень постараться чтобы попасть туда, куда тебя Бог определил».

Камней собрали много и Мариша сразу взялась копать очередное «пятнышко» для клумбы цветочной. Я же сел на крыльце и принялся притворно возмущаться, что она залезла на мою землю. Мы с ней поделили во дворе землю. Мне для стоянки и разворота машины, а ей — для цветочных клумб. Она всерьез пошла показывать границу. Я засмеялся, но опять укорил ее, мол, столько она жучков, паучков, червячков всяких уничтожила своим «отвоевыванием» земли. Жили, мол, они в раю. Внизу — тень, вода-роса. Захотел погреться — вылез наверх на листочек. Всякой травки для еды было немерено. А она разрушила этот «насекомый рай».

Вечером гулял по двору, а кот Муська — по пятам. Как-то внучка Даша с круглыми глазами сообщила, что какой-то кот к нам в сени пожаловал. Мы ее успокоили, что это не какой-то кот, а это Муська. А она поняла по своему, стала звать Муську «кот Муська». Нам это понравилось и мы не поправляем Дашу. Даже сами иногда называем Муську котом Муськой.

Окна распахнуты в русское лето, и по радио пели нашу любимую песню «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет...» И я просил Маришу, сидящую теперь в доме со своими листочками, прибавить громкости.

Какое же это великое счастье — ходить по двору, видеть в распахнутом окне Маришу, разговаривать с ней, не заходя в дом, и просить прибавить погромче «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет...»

А разговаривали о том, что нынче почему-то мало цикад. Сегодня всего одна звенит...

Сказал Марише виновато, что давно не был у тети Лиды, только все обещаю зайти. Однажды так года три обещал. Потом совестно стало и навестил девятого мая. И даже фильм с ней про войну посмотрели. Стал вспоминать, когда же это было: «В этом году?» Мариша: «В этом году мы с тобой на девятое мая в Москве были». — «Значит, опять я ей уже два года обещаю. Хотя позавчера минут пять постояли возле ее дома. Как раз Вовка подъехал на машине. Вспомнили с тетей Лидой, каким он был мальчишкой ласковым, как из армии цепочку для креста тете Лиде привез. Конечно, от души посмеялись, вспомнив, как мы с Вовкой

познакомились. Вовка даже засмутился». Только-только мы поселились в Старове, пошли с Маришей на колодец, а он на лавочке возле дома сидел и вдруг встал и сказал: «Меня зовут Вова». Так это было трогательно. Мы с Маришей на всю жизнь запомнили.

Снова гулял по двору, а Мариша за распахнутым окном вязала круглый лоскутный половик. Это ее моя мама научила. Потом я делал свои вечерние записи, а она обстукивала его на полу ладошкой. Догадался — закончила. Повернулся, поглядел: «Красивый... У нас такого нет, а ты людям вяжешь...» Мариша виновато промолчала, и мне стало жалко ее. Пригрезилось, что Валентин Петрович всем его показывает: «Это связала Марина Ивановна, жена Сергея Антоновича». Сказал Марише. Она обрадованно кивнула, мол, все так и будет. Показала, из чего связан половик: «Это мамино платье, это твоя синяя рубашка, здесь даже мой пионерский галстук есть...» За двадцать лет мы перевезли в наш деревенский дом все старые вещи. Я обронил, что про галстук-то Валентин Петрович, ярый антисоветчик, с особенной радостью будет гостям рассказывать. «Каждый гость будет слышать рассказ об этом половике, связанном из нашей жизни. И в результате, как это часто бывает, люди будут восхищенно передавать, что Сергей Антонович сам половики вяжет». От души посмеялись.

А теперь я думаю, мы ошиблись. Валентин Петрович не тот человек. Половик наш, который Мариша вязала с таким вдохновением, у него где-то валяется в куче пыльных вещей или же просто безвестно затерт ногами. И никому он ничего о нем не рассказывал. Грустно это. Лучше бы половик у нас остался. Я бы сам с гостями вспоминал, как гулял по двору, а Мариша за распахнутым окном вязала его и как потом мы по лоскуткам вспоминали нашу прекрасную жизнь. И был бы праздник. Зря мы его Валентину Петровичу подарили. И вообще нельзя было его никому отдавать. Все надо делать с рассуждением. Пропал наш половик...

Во сне боль в виске невыносимая. Взмолился: «Господи, помилуй». Чувствую, вот-вот лопнет все в голове, и закричал: «Господи, помоги». И перекрестил больное место. Сразу боль ушла. Проснулся и обрадовался: «Слава Богу, уже и во сне зову Господа в опасную минуту». Это не так-то просто для нас «слепорожденных» — без крещения, без веры проживших по тридцать-сорок лет! Бывает, в страшную минуту и наяву-то Бога не помнишь, а тут во сне позвал!..

Опять мы с Маришей во дворе. Я лежу на раскладушке, как в детстве на крыше дома лежал и часами любовался плывущими по синему морю небес белыми караванами. День такой чудесный, что бабочки летают выше дуба... Мариша же отвоевывает для своих цветочных клумб землю у «гади». Делает «гать». Устала, и на этот раз каким-то чудом я уговорил ее полежать на раскладушке, полюбоваться синим морем небес. Она: «Внимание. Редчайший кадр». Да, редчайший — мой трудолюбивый дружок лежит среди бела дня. Поэтому я так раздобрился, что даже отвез несколько тачек сорняков за огород и изрек: «Ну вот, теперь и я не только могу «гадить», но и «гатить»».

И был день такой прекрасный, что бабочки летали выше дуба...

Возле тети Лиды всегда под вечер тачка свежескошенной травы стоит у крыльца. Ждет внука Вовку. Ему для теленка. Уверен, не только ради травы он приезжает. Трава — это отговорка для жены, мол, не просто так заезжал к бабушке, а по делу. Ему такую тачку накосить — пять раз косой махнуть. Нет, не ради травы он приезжает каждый вечер к бабушке. Она вырастила его вместо матери...

Сломалась машина, и два дня ездил в Борисоглеб на велосипеде. Через Кринки. Это на трассе самое красивое место. С обеих сторон дороги — лес, переполненный птичьими голосами, словно травой. В чаще, скрытно от чужих глаз, два чудесных синих озера, в которых когда-то росли кринки. Так в старой России называли лилии.

Несколько раз я слезал с велосипеда. Слушал пение птиц. Мечтал пробраться к озерам. Смотрел на камешки на дороге, по которой мы когда-то с Маришей чуть не каждый день пешочком с рюкзаками за спиной, с тяжеленными сумками на колесах. Лет десять так...

Два раза попадалась на дороге рыжая девчонка, доярочка. Она доит коров на ферме возле хутора. Позавидовал ей: «Счастливая — каждый день три раза через Кринки пешком ходит. И всю жизнь будет ходить. Что еще для счастья нужно! И мы с Маришей тоже десять лет были счастливы. Надо почаще на велосипед садиться...»

Еду в Кринках на велосипеде. Впереди взлетел ястреб. Я остановился. Он поднимался все выше и выше. Решил смотреть на него, пока он не скроется из глаз. Раньше я удивлялся: зачем им так высоко? Ведь добычу оттуда не видно. Нет,

оказывается, видно. Недаром говорят, ястребиный глаз. Да, может, и они не хлебом единым живы?! А и небом?!

Так они высоко залетают, что уже и крыльями махать не надо. Надо ловить восходящие потоки воздуха...

С гордостью подумал: у нас в России очень много людей достигли такой высоты в творчестве, когда крыльями махать не надо, а надо парить над землей. И они парят...

Были на юбилее школы в селе Ивановском. Идя вместе с компанией высоких гостей, я вдруг сказал: «Здесь даже одуванчики вон какие крупные!» Все остановились и согласно закивали головами. Поняли, что это я к портрету Владимира Сергеевича Мартышина, директора школы. Мол, там, где он, там все крупно, крупнее, чем в других местах. Я не погрешил против истины — школу он создал замечательную, и одуванчики в Ивановском, может быть, самые крупные на Ярославщине. Гости частенько потом глядели под ноги и, оглянувшись на меня, согласно кивали...

Прямо на дороге, возле озерка у сосен-сестреноч, лежала на животе прекрасная птица. Лежала и не могла понять, поверить, что она не может взлететь и даже идти. Настолько не могла она этого вместить, что даже не шелохнулась, когда я подошел к ней. Глядела на меня вопрошающе, без испуга. Я понял ее с одного взгляда: «Чего бояться еще — самое страшное уже случилось, я не могу взлететь». Взял ее бережно на руки. Перекрестил. Перенес на обочину, чтобы машина не задавила. Нет ничего жалче, чем птица, не могущая взлететь.

День такой жаркий, чудный и она такая красивая... И рядом смерть... Ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба...

На другое утро я не нашел ее. Звери съели? Или она чудом Божьим взлетела? Поднялась на свои прекрасные сильные крылья? Как же хочется чуда Божьего! Чтобы оно всегда торжествовало!

Долго я горевал после смерти Малыша. Многие меня утешали, некоторые же удивлялись такой любви к собаке. Один знакомый священник даже возмутился, когда услышал от меня, что «в этом году у нас умерла Маришина наставница и Малыш...» Одернул меня: «Это несравнимо». А я никого и не сравнивал. Я с ним искренне, как с близким человеком, горем поделился. Так мне больно стало, что я заплакал.

А утешил меня иеромонах отец Сергей. Как-то братия монастырская гостила у нас. На стенах я развесил несколько

фотографий, где мы с Малышом счастливые. Они рассматривали их с интересом. Я растрогался таким вниманием и рассказал, как знакомый священник поучил меня уму разуму. Отец Сергей, глядя на фотографию, где мы с Малышом сидим нос к носу, неожиданно спросил: «А что ты ему говоришь?» — «Что у меня есть мясо». Я всегда на прогулки брал мясо — приманивать непослушного Малыша. Отец Сергей недоуменно глянул на меня и я тут же поправился: «Что я очень люблю его». Отец Сергей просиял: «А что он тебе говорит?» — «Как он меня любит». Отец Сергей счастливо разубался. Такого ответа он и ожидал от меня. Это стало для меня самым дорогим утешением после смерти Малыша. На всю жизнь отец Сергей меня утешил... Как бы сказал моими устами: любовь главное, любовь превыше всего...

Да, несравнимо, что сказал отец Сергей и что тот знакомый священник...

Однажды Мариша спрашивает меня: «Видел, что выросло на могилке у Малыша?» Отвечаю: «Мох». Она: «Нет, не мох. Посмотри внимательнее». Пошел на могилку. Да, это не мох. В головах, почти до центра могилы, выросли какие-то будто из зеленого мрамора маленькие листочки. Такого растения я нигде не видел. Словно чья-то заботливая рука украсила могилку Малыша. Захотелось, чтобы весь холмик такими листочками покрылся. Вот будет красота. Но если и так останется, слава Богу...

Какая-то маята, тоска. Не могу места себе найти. Решил прогуляться. С Малышом-то каждый день в любую погоду бродили по лугам да лесам, а теперь очень редко дальше своего двора выбираюсь.

Решил пройти нашим с ним путем. Сначала — к нашей каринке. Оказывается, над ней дубок вымахал и совсем ее затеснил. Промолвил печально: «Ну, что ж, дуб — дерево благородное». Но каринку нашу, под которой столько счастливых минут нами было прожито, перекрестил.

Спустившись до половины с горки, присел, как всегда, на корточках, распахнул руки и позвал: «Малыша, роднуша...» Увидел, как он летит ко мне со своими белыми лапками, с брызгами счастья во всей его милой фигурке... Так двенадцать лет он летал!..

Возле овражка тропа, по которой мы с Малышом ходили, совсем заросла. Я даже удивился: выходит, мы больше всего ее топтали. Конечно, кто чаще нас здесь бывал!

Вскоре устал идти целиной. Выбрался на дорогу к реке ря-

дом с озерком, в который рыбаки еще лет десять назад, возвращаясь с реки с пустыми руками, закидывали сети и вытаскивали пяток карасей. Теперь оно пересохло. В жару даже лягуши здесь не живут.

Из леса мужик вышел. Издалека разглядеть не могу. Узнал по согнутым коленям — Гена. И фамилия у него самая подходящая — Кулемин. Он еще издал: «Сережка. Решил я воздуха глотнуть, грибы посмотреть». Я ответил: «Тоже раз в кои веки выбрался. С Малышом-то каждый день здесь ходили, а теперь...» Слезы застлали глаза. Гена посочувствовал мне: « У нас двух собак машина задавила. Больше не буду брать. Тяжело. Ночью проснешься, вспомнишь и так жалко станет. До слез».

Спросил я: «Шарку помнишь?» Гена: «А как же. Я, когда мы его с тобой нашли возле дороги, сказал, мол, пусть лежит — все равно вороны склюют; а ты, мол, надо похоронить, ведь у него хозяева есть. Я взял санки, привез. Сожгли мы его». Я оправдал Гену: «Зима была — покопай-ка...» Про себя же порадовался: а Малыша нашего и зимой похоронили по-человечески.

Мне очень запомнился тот день, когда сожгли Шарку. Сидел я за столом. Вижу из окна, Гена по дороге идет и как-то с надеждой несколько раз поглядел на наш дом. Я забеспокоился и, когда он шел обратно, выбежал к калитке. Оказывается, Шарка два дня как потерялся. Был бы Шарка человек, Гена знал бы, что ему делать, а о собаке сильно беспокоиться у крестьян не принято, вот он и взглядывал на мои окна с надеждой на поддержку. Притом Шарку когда-то я им сватал, да и вообще все деревенские, зная мою любовь к Малышу, считают меня «начальником над собаками» и всегда идут со своим собачьим горем ко мне. У тети Нины пропал Патрулька, так она посчитала своим долгом рассказать мне, как искала его везде и как ей теперь одиноко. У Капы собаку задавили — она тоже сразу ко мне со слезами...

Тепло попрощался с Геной и перекрестился: Слава Богу, что ничего не сказал ему тогда. А здорово подмывало. Он стал жить с замужней женщиной при живом муже. Правда, тот был страшный пьяница, нигде не работал много лет и силу мужскую потерял. Гена же, хоть ему под семьдесят, хоть ноги в коленках всю жизнь у него согнуты, мужик во всех отношениях. Кулема-то он кулема, а ворочал за троих. С голоду с ним не умрешь. Римке двоих надо было вырастить. Так они и стали жить. Гораздо лучше, чем с тем, законным мужем. И пить стали меньше и оба на ферму устроились. Вроде бы так грешно, а получилось, что так для всех лучше.

Отец Сергей Правдолюбов, настоятель храма Троицы в Голенищеве, удивительный проповедник. На Преображение Господне сказал: «Яблочным Спасом у нас в России Преображение назвали. А в Греции можно было назвать «Маслиничным», где-то «Виноградным...»

Я с гордостью подумал: но ведь нигде не назвали кроме нашей России. Так что будет на веки вечные Преображение «Яблочным Спасом»!

Отец Сергей продолжил: «А я бы принес на освящение картошку. Семьдесят лет советской власти на одном огороде картошку сажали, не меняя культуру, и Бог творил чудо — картошка выростала вопреки всем законам севооборота. Семьдесят лет на одном огороде картошка выростала! А картошка спасла миллионы советских людей от голодной смерти!»

Значит, можно у нас в России Преображение по праву называть еще и «Картофельным Спасом»!

На святом колодчике Иринарховом в Кондакове, на родине преподобного. Трудник монастырский Владимир подошел и рассказал свою историю. Он был уже послушником в одном из северных монастырей, но бес попутал: ушел и женился. Пожил недолго с Любаней и сказал ей: «Зачем нам все это?» Мне пояснил: «У меня два подрясника есть, куда мне еще. Мирского я столько нацеплял за три месяца... Пришел на работе гвозди получать. Говорю: мне шесть килограммов. А кладовщица: я тебе десять выпишу. Я ей объясняю: мне не надо десять, мне шесть надо. А она: так ты и возьмишь шесть, а я запишу десять. Ну, я и понял, что надо к своим подаваться, где меня понимают. Подрясник надел, словно броню, сразу выпрямился. Подрясник как военная форма... Упал я, но ведь подняться хочу. Да и кто не падал? По сорок лет пустычники подвизались и падали. Куда уж нам грешным... Как с Любаней жить стали — сначала телевизор купили, потом видеомagneтофон понадобился, потом кассеты... И говорю Любане: «Зачем нам с тобой это надо? А она не понимает. Ушел к своим, где меня понимают...»

Пожаловался я Леониду на строгость его брата отца Василия. Он ласково улыбнулся: «Младшенький он у нас». Теперь я всегда думаю про жестких людей: наверное, младшенькие они?

В хорошей большой семье младшенького все любят. Купается он в любви, а его любовь никому не нужна, в ней никто не нуждается...

Сказал я Гале П. про нашего общего знакомого, мол, какой он некрасивый. До этого я подошел к нему сзади, а он запрокинул голову, не вставая со стула, и я увидел, какие у него толстые розовые внутренние веки.

Утром у меня самого вдруг глаз безобразно опух. Главное, что никакая соринка в него не попадала и никакой простуды в помине не было... Это вразумление Господне. Обозвал человека некрасивым, и сразу Он меня обезобразил. Помолился хорошенько, попросил простить окаянного, и глаз выздоровел.

Заехал в одну деревню, где жили наши знакомые. Потом семья у них распалась и они перестали ездить на дачу. Слишком они заботились о своем материальном благополучии. Муж даже забросил любимую профессию преподавателя вуза, ушел в бизнес. Сначала все у них шло как по маслу. Потом муж от сытой жизни пристрастился к выпивке, да и погуливать от жены начал. Она тоже пошла в разнос. В общем, деньги не принесли им счастья.

За несколько лет, что я не был у них, все вокруг дома заросло травой в рост человека. Забор повалился гармошкой...

В прошлом году знакомый неожиданно навестил нас. Начал бодро рассказывать, как он замечательно живет, но, видимо, заметив, как мы жалостно на него смотрим, сбился: «Ничего, траву скосим». Мы недоверчиво покачали головами: эту-то траву ты скосишь, а вот другую уже скосить трудно... И он подтвердил наши сомнения: «Они, теща с женой, думали, что я пропаду. А я в Питер на Пола Маккартни сгонял и опять все отлично». Мы только горько усмехнулись: нашел себе утешителя. Нет, брат, с этим траву не скосишь. Так и оказалось. Трава вокруг их дома все выше, все непролазней...

На прощанье обнял его: «Держись, дружище». Он сразу сник — понял, что нас не проведешь, будто все у него в жизни отлично.

Девушка в троллейбусе по мобильнику: «Вот что деньги с человеком делают». Два раза повторила. У меня стало тепло на сердце: они тоже еще кое-что главное помнят. Среди всеобщего омерзения, ожесточения, отупения. Чудо! Ведь эти горестные слова стары как мир. И, слава Богу, они еще звучат у нас. И будут звучать.

Однажды жарким-прежарким июльским деньком гуляли с Малышом в лугах. На моей родине в Забайкалье лето ко-

роткое, и я с малых лет обожаю жару. Сердце мое просто тает в океане тепла и света.

И на этот раз так было хорошо, что я решил не торопиться, присел на крутом берегу бережку нашей реки Устье. Малыш, родная душа, конечно, тут как тут. Привалился к левому плечу. Обнял я его, прижал к сердцу.

А на том берегу за столом под навесом, под сенью старой липы, обедали покосники. С детства знаю, нет вкуснее еды, чем на покосе. Там и едят из огромных алюминиевых чашек. Вдруг одна женщина, будто угадав мои мысли, весело крикнула: «Эй, борода, иди к нам обедать». Меня ее приглашение растрогало до глубины души. Кивнул на Малыша: «Собака у меня». Но она не отступала: «А ты и собаку бери».

Конечно, мы с Малышом не стали переправляться на тот берег, но, уходя, поклонились ей низко-низко. И такая была великая радость от ее сердечной ласки. И стоял распрекрасный июльский денек. Из тех, что навсегда остаются в душе. И может быть, он слился бы в памяти с другими такими же деньками, но женщина крикнула, я ответил и теперь он не забудется даже на том свете...

Конечно, опустели без Малыша луга и под навесом у старой липы на другом берегу уже давно никто не обедает в сенокос. И уже некому позвать нас. И Малыша моего уже нет рядом...

Такая тишина. Присаживаюсь на корточки и зову: «Малыша, роднуша...» Но никто не бежит ко мне со своей любовью... И все же и Малыш, и тот июльский денек, и та ласковая женщина, были. Значит, есть и будут!

Мариша сфотографировала наш полевой стан. Карточку я поместил на обложку моей книги «Ближние». Очень близким рассказываю, что «вон под той липой обедали покосники и женщина позвала нас с Малышом разделить трапезу...» Место это мы стали называть «обложкой»: «Ну, что, посидим у обложки?»

Утром услышал: за окном капает дождь. Две недели жара стояла несусветная, и хоть я ее люблю, но жалко природу, зверьков. Такой дождик был робкий, что я не стал включать приемник даже во время физзарядки. Но он немножко покапал и прекратился. Я включил приемник. Безголосый юнец опять гундел об одинокой женщине-волчице. Поскорее выключил. Может, в доброй тишине дождь опять пойдет? Уж очень он нужен. И дождик пошел. И я уже не стал радио в тот день слушать. Какая еще музыка?! Когда музыка дождя за окном! И все живое вздохнуло облегченно.

Не до радио мне в этот день было. Боялся я дождь спугнуть. Нет, неслучайно Господа нашего Иисуса Христа величают Начальником тишины!..

Вчера вечером гуляю по двору. Какие-то жалобные крики. Ближе, ближе. Господи, да это журавли курлычат. Три отставших. Сердце заболело — погибнут. Тут звонит по мобильнику Мариша. Попечалился вместе с ней о журавлях — лучше бы мне их не слышать. Мариша: «А что это у тебя голос какой-то сиплый?» Пришлось рассказать, как дунул сегодня на паучка и вся летняя пыль с подоконника мне в лицо. В общем, опять у меня аллергия. Мариша, конечно, рассердилась: «Твоя жизнь зависит от каждого паучка паршивого». Я, дескать, совсем он не паршивый, и как же мне быть? Мне надо ленту на зимнюю раму наклеить, а он, паучок, сидит себе и не двинется. Убрать его нельзя — такой махонький, что стоит дотронуться и убьешь. Я и дунул на него... Мариша тяжело вздохнула: «Ладно, что с тобой поделаешь. Таблетки принял?»

Войдя в дом, не стал включать свет. Сел на диван, на который редко теперь сажусь. Увидел белый ствол березы за окном. Вспомнил, раньше любил вечерами глядеть, как березы из белых становятся оранжевыми от закатного солнца, потом опять — белыми. Это почему-то шемяще грустно и прекрасно в то же время. «Господи, как же давно это было! Хотя всего каких-то лет десять назад. Как же давно. И Малыш был жив. И мы были еще молодыми. И все было впереди. «Борисоглебское лето», «Рабочая собака», «Крестный ход»... Еще не были они прожиты и написаны...»

День Успения преподобного Сергия Радонежского. На проповеди отец Василий сказал, что наш монастырь один из девяти основанных Сергием. Третий. Двадцать шесть были основаны его учениками. Что в 1992 году в пасмурный день была освящена часовня в Варницах, на родине преподобного Сергия. «А теперь поглядите, какой монастырь здесь. Некоторые говорят, дескать, неизвестно на какие деньги его построили. А забывают, что дело не в этом, а в том, что такой сильный небесный покровитель у Троице-Сергиева Варницкого монастыря. Сам Сергий Радонежский!»

Мне стало стыдно. Будто именно для меня отец Василий сказал. Я как раз на днях обмолвился в разговоре с Галей П., мол, у нас монастырь хоть и не блесит, как в Варницах, зато дух какой. А там еще неизвестно откуда что взялось.

Для меня отец Василий сказал. Снова меня обличил.

На Ярославской дороге стоит большое село Макарово. Въезжая в него всегда говорю: «Палыч», и возле кладбища мы с Маришей крестимся: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Николая и в селениях с праведными вчини». Если с нами едет кто-то близкий, я непременно рассказываю поучительную историю любви Николая Павловича, нашего деревенского соседа, и Марьи Александровны. Было им по шестьдесят с лишним, когда пришла к ним последняя любовь. И такая, что невозможно было не радоваться, глядя на них. Но родственники Палыча испугались, что она его дом заграбастает. Стали вбивать между ними клинья. И развели-таки Колю с Машей. Маша не раз приходила ко мне со слезами, чтобы я вразумил Колю, что она без него жить не может, что ничего ей от него не надо, что она готова свой дом на него записать. Раза два я возвращал Колю к Маше, но все-таки он ушел от нее. Мужиком он был крепким. Не раз с гордостью говорил мне, что никогда в больницах не лежал. В общем, поехал Палыч в Ярославль свататься. Я его отговаривал, мол, Маша тебя так любит и как вы замечательно жили пока никого не слушали. Но он настолько был озлоблен на Машу, что и слышать о ней не хотел. На пороге квартиры той женщины у него вдруг отнялся язык, потом ноги и руки. Пробыв две недели без сознания Палыч скончался. После его смерти Маша долго ходила со слезами по деревне, как помещанная. Ее даже не позвали на похороны любимого Коли в село Макарово, где лежат его предки. В одночасье Маша заболела раком и умерла, прожив после Коли чуть больше года... Ее похоронили в Ростове Великом, на ее родине. Когда проезжаем мимо ростовского кладбища кто-нибудь из нас напоминает: «Маша». Мы крестимся: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей Марии и в селениях с праведными вчини».

Заканчивал я обычно печальный рассказ о их любви тем, что, мол, Бог наказал Колю за Машу. Она была «сиротой». Ни детей, ни близких родственников. И уж так она Колю любила! Бог его наказал.

Дом Колин достался совсем другим родственникам. Не тем, которые их погубили. Так что зря они старались.

Однажды, рассказывая историю их любви, я споткнулся. Накануне злосчастного сватовства Палыч ремонтировал наш старенький дом. Очень мне хотелось обновить его к летнему приезду Маришмы, и я все торопил Палыча. А у него свой дом большой, хозяйство немалое. Перед Машей-то Палыч, конечно, виноват, но и на нашем доме он надорвался. Даже две очень удобные деревянные кровати смастерил!..

Когда в деревне выпадает снег и я гляжу из окна на дом Николая Палыча, всегда невольно представляю Кубика. Он спал прямо на тропинке в снегу. Кубик, Куба, Кубидзе — он был такой справный, толстопопый, коротконогий песик. Восемь лет счастья с хозяевами! Палыч с гордостью и любовью говорил о нем: «Дворянин». Не дворяня, а дворянин. После смерти Палыча и Маши Кубик стал бездомным. Он пытался победить судьбу — жил у меня под березой в ямке. Я его кормил, но уехал в Москву, а по приезде узнал, что свои же деревенские собаки выжили его. Несколько раз люди видели Кубика в Борисоглебе, на дороге, а потом он пропал. Убили на шапку? Или бездомные съели? Или просто от голода умер?

Но, когда я гляжу из окна на снег, сразу вижу Кубика. Было у него счастье! Целых восемь лет! А если бы Палыч с Машей не разошлись, то и Кубик был бы до самой смерти счастлив... Как же он сладко спал прямо на снегу у крыльца родного дома...

Отец Василий на проповеди говорил, что недаром сегодня сошлись три праздника: Казанская, Федора и Павла, а теперь еще национальный праздник. Может быть, как с Казанской началось одиннадцать лет назад возрождение монастыря, так и сегодня начнется возрождение России?! И наш монастырь вновь открылся на Казанскую потому, что именно в этот день разгромили поляков Пожарский с Мининым, приходившие перед битвой на благословение вот в этот монастырь, вот в этот храм к преподобному Иринарху затворнику. И может быть, они приходили сюда именно с иконой Божьей матери. Раньше было принято брать в святые места войсковой образ.

И уж так батюшка радовался, что снова можно крестным ходом пройти хотя бы до кельи Иринарха. И был праздник!

Если какая-то жидкость «бурлила, бурлила» и мы, люди, якобы появились в результате этого «бурления», то столько православные «бурлят», что если бы Бога и не было бы, то он бы появился в результате «бурления» нашей крови православной.

Там вода бурлила, а в нас живая кровь!!! Из многих тысяч святых, наверное девяносто из ста — мученики. Пролили они свою кровь за Христа Бога нашего. Столько крови ради Христа пролито!

Безбожникам для размышления. Нынешние обезьяны почему-то не развиваются в людей?..

Тургенев в рассказе «Живые мощи» великолепно показал, что в произведении искусства должно быть два блеска: «молодых утренних лучей и вчерашнего ливня». Блеск вчерашнего ливня — это омытая свежая листва, трава. Небесный блеск и земной!

И «земное» — ливень вчерашний, тоже у него с неба... Все с неба! Все Бог создал! Тургенев точно описал, почему так чудесно блестят трава и листья. От двойного блеска... В истинном произведении искусства непременно должно быть два освещения: небесное и земное...

Святой Прокл сподобился видеть, как святой апостол Павел нашептывал на ухо святому Иоанну Златоусту его творения. Думаю, Ивану Сергеевичу Тургеневу нашептал «Живые мощи» автор непревзойденной «Песни Песней» Соломон премудрый... Настолько все здесь Божественно прекрасно, что просто невозможно что-либо выделить. Все в рассказе — бисер бесценный! Приведу только завершающие строки: «... в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничным. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: «с Неба».

Колокольным звоном встречал невесту Христос! И она сияла, как месяц посреди неба, красотой великого смирения — после семи лет терпеливого неподвижного лежания в темном предбаннике не посмела сказать, что звон колокольный шел с Неба. Что это ее, страдальицу, Бог так встречает! Вот оно великое смирение русского человека! Может быть, сильнее Тургенева о нем никто не сказал. Одна эта деталька «вероятно, она не посмела сказать: с Неба», томов премногих тяжелых...

Часто на дороге в Борисоглеб мне попадается этот мужик с хутора возле наших Кринок. Он никогда не спешит. Ему незачем больше спешить. Он никого не видит, словно слепой, но я успеваю глянуть в его глаза, и мне становится страшно — такой безысходной тоски я ни у кого не видал, даже у собак потерявших любимого хозяина. По пьянке он убил в драке своего сына. Жена утратила всякий интерес к жизни, принялась заливать горе вином. Он отсидел в тюрьме несколько лет и вернулся. Не могу понять, как ему достает сил жить с таким камнем в душе, да еще без Бога?... Так хочется помочь бедолаге, но здесь уже без Всемиловейшего Всемогущего Спаса даже обыкновенной суеты сует, какой живут миллиарды людей, не получится...

Борис Романович Бобылев поделился. Когда в Борисоглебке открывали памятник народному герою святому Пересвету, то полномочный представитель президента в центральном округе Георгий Сергеевич Полтавченко, выходя из врат монастырских, изумился: какие же стены высокие и какой монастырь большой. Мол, никак он этого не ожидал. А Борис Романович ему: «Посмотрите на столбы». Он посмотрел — там двуглавый орел. Полтавченко: «А что это значит?» Борис Романович: «Это значит, что монастырь наш не простой, а царский». Полтавченко еще с большим уважением взглянул на врата и стены. Недавно наш знакомый рассказал, что нередко видит Георгия Сергеевича на службе в одном московском храме...

Варюшка легла в больницу на аборт. Хотя мы ее с Маришей отговаривали, обещали помочь. Она: «С этим (имея в виду Ванюшку) не знаешь, как одного-то вырастить». И мы примолкли.

Зашел я поведать Ванюшку. Сидят они с приятелем. На столе бутылка. Говорю: «Смотри, Ванюшка...» А он дерзко так: «Что я, если выпью, козленочком стану?» И криво улыбнулся. Когда у него на душе неладно, то улыбка сразу кривая какая-то становится. Да, наверное, у всех так. Рассердился я, сказочки он тут мне будет рассказывать: «Не козленочком, а козлом». Мол, жена в больницу, а ты сразу за рюмку. И тут я осекся, стыдно стало — когда-то Мариша моя лежала на сохранении, а я с друзьями по всей Москве пьяный чертил. Так что чья бы корова мычала, а моя бы молчала. Когда-то и я из «копытца» бесовского пил. Вот почему Ванюшка сказку эту вспомнил...

Месяца два болею. Люди говорят: зиму бы пережить. Да, зимой труднее болезни перемотать. Хотя и летом умирают. Но зимой смерть сильнее чувствуется, ближе она. Дни короткие, холодные, тусклые. Все умерло или тоже, как старые люди, тщится «как бы зиму пережить».

А дальше, в глубокой старости: как бы ночь пережить. В старости «зима» и «ночь» почти синонимы смерти!..

Да, видно, и ко мне пришла старость — нынче впервые в жизни мне не хотелось зимы, а чтобы лето продолжалось, продолжалось... Болезни надоели, старость и смерть подступили...

Плотник Юра Паршин из Андреевского открыто приезжал к жене моего соседа Александра Иваныча. Потом со-

всем увел ее. И счастья у них не было. И злы они стали друг на друга, как соучастники преступления. У них не может быть любви друг к другу. Не может быть взаимного уважения. Она с презрением сказала мне: «Он пустой оказался». Вроде бы имея в виду, что детей от него не было. А в самом деле о другом. Думаю, оба они пустые оказались...

А Юра стал пить. Хмельной все бродил по нашим дорогам. Его потерянную фигуру можно было встретить в самой глухомани: на проселочной дороге в Протасьево, на полевой дороге в Сабурово, за Демьянами... А то и за дубами на реке Устье, хотя он никогда не рыбачил...

Он бродил по нескольку дней, но жена его не искала. Умер на дороге совсем еще молодым. Шестидесяти не было. Тысячи лет назад Соломон премудрый сказал: не ложись с чужою женой, зачем тебе умирать раньше срока... Умер Юра вслед за Александром Иванычем, в том же году!..

И друг мой Юрка Д. отбил чужую жену, а потом она и его бросила ради другого. И Юрка тоже «бродил по дорогам» по нескольку дней и жена тоже его не искала. И умер он не дожив до пятидесяти...

Игорь Виноградов, главный редактор журнала «Континент», оказывается, сказал о моей повести «Рабочая собака»: «Слишком просто». Передал это мне Женя Ермолин. Конечно, я напомнил ему святых отцов: «Где просто, там — ангелов со сто, а где мудрено, там — ни одного». Так в их мудреном журнале и есть, и если бы не Женя, которого моя повесть очень растрогала, я бы никогда к ним не обратился.

Правда, интересно, как бы отозвался Виноградов, если бы узнал, что «Рабочую собаку» я не придумал, а записал то, что Бог дал нам прожить с женой и с песиком Малышом? Он-то, скорее всего, воспринял мою повесть как очередную писательскую фантазию...

Да, просто, но получили мы Бога, любовь и все мои Борисоглебские рассказы и повести!...

Тамара Яковлевна по телефону, мол, пусть наша дочь Нина внучку нашу Дашу к ней привозит и она с ней занимается, а то уж было собралась в детдом к детям идти. Он недалеко от ее дома. А Марина: «Нет, Тамара Яковлевна, в детдом не ходите — вы нам нужны». Кольнуло мне в сердце это ее необдуманное «в детдом не ходите». Сказал: «Пусть Тамара Яковлевна к несчастным сиротам в детдом идет, а Дашу мы как-нибудь сами воспитаем». Вдруг Марина так на меня рассердилась: «Ты сам вырос без воспитания, по-

этому не понимаешь, что это такое... Если бы не я, то ты бы умер под забором...»

Я тоже разгневался, закричал, что надо ей сначала себя воспитать — не оскорблять меня вот так, и Даша тогда вырастет добрым человеком, а это самое главное. И уже спокойно закончил: «Пусть Тамара Яковлевна идет в детдом. А Благодарный Господь за то, что мы ею пожертвовали, найдет как воспитать нашу Дашу. Сам Господь станет воспитателем нашей Даши! Да и от нас она тогда сможет получить гораздо больше. Мы выбираем между Тамарой Яковлевной и Богом!» Марина притихла...

Ложась спать с «холдингом-мониторингом» для проверки сердца я пожаловался, что придется всю ночь на правом боку спать, а при моем позвоночнике это не так легко. Сказал, что живу бестолково. Святые ради Бога терпели трудности, болезни, а я все ради своего здоровья: «Один юродивый только всего и совершил, что спал прямо на земле, где ночь заставляла, и всегда на правом боку, как я сегодня». Когда произнес последние слова, сразу спохватился, что глупость мелю, но Мариша уже опередила меня: «Ничего себе, только и всего!» Я со стыдом поправился, что, конечно, это не так мало. А утром, проспав всего одну ночь на правом боку на мягкой кровати, я произнес: «Да, теперь я понимаю, что такое «только и всего». Не иметь своего жилья, спать в жару и в стужу прямо на земле всегда на правом боку! Только и всего!»

Стоял на остановке в Москве бездомный. Грязный, темный, еле ноги переставляющий от голода, от мороза. Два раза он пытался сесть в автобус. Видимо, хотел немножко в тепле дух перевести, жизнь хоть немного продлить. А водители прямо перед его носом захлопывали двери...

Да, на том свете они жестоко поплатятся за свое бессердечие. А сейчас, наверное, и не поняли, что сделали. Ведь это их брат-человек хотел немножко жизнь себе продлить. Это сам Христос хотел немножко погреться, а они двери перед Ним захлопнули. Вот так и перед ними двери рая захлопнутся. И даже, наверное, не запомнили такой «мелочи» жизни. И будут на том свете вопить: «За что, Господи? Когда мы не пустили тебя погреться замерзающего?..»

Есть у меня в Москве приятель Паша. Вроде бы тихий такой, но я за него боюсь. Оказалось, поговорка «в тихом омуте черти водятся» очень точна. Все-то он мудрит. Сколько раз говорил ему, что надо сначала Евангелие прочитать, а потом,

если священник благословит, можно и за Ветхий Завет браться. Он же все про жертвоприношения у древних иудеев штукудирует и находит какие-то только ему понятные смыслы. Любит иногда значительно произнести: «Что там священники! Есть люди, которым больше их открыто». Явно на себя намекая. Я в таких случаях крещу его и он утихает.

А недавно Паша не то спросил, не то сказал: «Христос же сначала человеком был, а когда умер — Богом стал?!» Я ему разъяснил, что это очень опасная ересь и что во Христе два неслиянных и нераздельных естества: Божеское и человеческое, что Бог вочеловечился, а не человек Богом стал!

Когда же он ушел, меня просто в жар кинуло. Я вспомнил: он как-то по секрету сообщил, что священник на исповеди, якобы, спросил его: ты ли это? или ожидать нам другого? Это Иоанн Креститель так Христа через учеников спрашивал. Вон куда Паша метит! В Боги! Ведь Христос у него тоже сначала просто хорошим человеком был. Паша всякий раз перед исповедью говорит, что ему не в чем исповедаться — у него грехов нет. И сколько ему ни объясняй, что грехов у одного Христа не было, он все равно удивляется, зачем ему исповедоваться...

Я теперь уже не спорю с Пашей, просто крещу его. Он снисходительно усмехается: «Крести, крести...», но все же переводит разговор на другую тему... Главная его беда — никого слушать не хочет. Уже три священника ему говорили, что он ересь несет и может плохо кончить.

Жаль, человек-то Паша хороший...

Накануне Пасхи, в субботу, поехали на Литургию. На «поле чудес» Валя П. на тачке навоз везет. Я не удержался: «Уж сегодня-то можно было и на службу сходить. Вроде бы верующий, а так и не воцерковился — два раза в год в храме бывает. На Пасху да на Рождество. Все в хозяйстве копается, а богатым так и не стал. И все злее, злее год от года. Уже и заходить к нему не хочется».

В храме знакомая старушка Зоя радостно поздоровалась, а я вдруг подумал: «Сошлась с Геннадием Кузьмичем, одиноким богатым стариком, чтобы добро его заполучить. Как только он умер, сразу на север к себе засобиралась, а дом на продажу. Ловкая бабэшка...»

Рядом Владимир В. стоял. «Ишь, как держит себя. Прямо генерал! А на самом-то деле кто такой? Многодетный папаша. Только и всего...»

Глянул на образ преподобного Сергия, перед которым всегда стою. А он строго так на меня глядит. Господи, я же забыл

сегодня приложиться к нему! Наклонился и вдруг пребольно ткнулся скулой в металлическую ручку на киоте. Столько лет прикладывался и все было в порядке, а тут на тебе. Что-то здесь кроется? Перебрал сегодняшний день и жарко стало — всех заосуждал, а сам-то грешник треокаянный... Нельзя так. Но бес осуждения никак не отцеплялся. Начал читать, как научил отец Василий: «Предложение твое вражье на главу твою. Пресвятая Богородица помоги мне. Господи, я твой, Господи». Три раза повторил молитву, и сердце проснулось: Валя П., несмотря на тяжелую болезнь, никогда не сидит сложа руки; а как хорошо было Геннадию Кузьмичу последние годы жизни с трудолюбивой внимательной Зоей...

Поглядел вправо, а там в уголку дочка Владимира В. — чистенькая, симпатичная. Любо-дорого поглядеть! Даже краска у меня к лицу прилила — так стыдно стало. Владимир с женой воспитали шестерых своих девочек скромными, работящими, послушными. В наше распущенное время это только с Божьей помощью возможно! О таких невестах нынешние парни и мечтать не смеют! Да и попробуй одеть, прокормить такую ораву! Вот тебе «только и всего»... Молодец Владимир, а я сегодня посильнее наказание заслужил, чем удар о ручку...

После обеда вышел на крыльцо. На маленькой яблоне какой-то крохотный воробышек сидит. Говорю: «Здравствуй, братец». А он в ответ: «Тех, тех, те-тех, те-тех». Господи, да это же соловушка! Я просто обмер от восторга — первый раз в жизни увидел соловья так близко. Обычно ближе тридцати шагов они к себе не подпускают. Думаю: сейчас он мне хвост покажет. Но соловей, казалось, совсем меня не боялся. Так расщелкался. Соловьев я называю тетехами, и мне кажется, что именно от соловьиного колена «тех-тех...» образовалось слово у-теха. Говорят у нас: «Нашел себе утеху». То есть соловья, поющего сердцу сладкие песни...

Долго слушал я и до слез растрогался: «Спасибо, братец, потешил ты мою душеньку. Вовек не забуду». И хотел было уже идти за дровишками, глядь, на соседнюю яблоню второй тетеха уселся. И так они затетехали на два голоса, что я о всяких дровах позабыл.

Думаю, редко кто так близко соловья слышал, а соловьиный дуэт и подавно! Даже наша соседка Капа, все подвергающая сомнению: «Не знаю, не знаю...», на этот раз искренне удивилась: «Первый раз слышу, чтобы соловей среди бела дня пел в деревне и так близко от человека». А я невольно подумал: «Тетехи мои родненькие отблагодарили меня за всех

птичек; за то, что я их защищаю». Когда образовалось это повальное сумашествие, дьявольское ослепление о птичьем гриппе и началось уничтожение диких птиц, — взялись в кормушки яд подсыпать, в некоторых районах отстреливать перелетных — я просто спать не мог от жалости к дочерям пения. Так Соломон премудрый называл птиц. И Господь помог мне написать очерк в их защиту «Скворцы прилетели». За несколько дней Творец дал мне прожить этот сюжет. Даже думать почти не пришлось, просто надо было точно записать то, что Бог выложил на блюдечке...

Потом я прочитал очерк по радио. Очень я спешил спасти хоть несколько крылатых — хоть на капельку отодвинуть конец света. Соломон премудрый сказал: когда умолкнут дочери пения, тогда все придет к концу... Прочитал, не дождавись приезда отца Василия из паломничества по святым местам, без его благословения. Ну а когда делаешь что-нибудь без благословения, всегда неразбериха получается. Оказалось, отец Василий дал слово в прессе не фигурировать, а я ему целый эпизод посвятил! Так он на меня рассердился, что в сердцах рубанул: «Вы меня сдали». И напечатал опровержение, что он к моему очерку непричастен, что я прочитал без его благословения, что вообще я страдаю гордыней, считаю себя самым мудрым, живу по стихиям мира... В общем, открестился от меня всячески...

Это были самые тяжелые дни моей жизни. Думал, умру. Я не мог понять, что происходит. Да, я виноват — без благословения прочитал «Скворцов» по радио, но я ведь сам покаялся. А повинную голову меч не сечет! Зачем же надо было про меня на всю вселенную, что я такой разэтакий. Ведь мы жили, боролись, немало пудов соли съели вместе с отцом Василием! Как же он мог?!... Младшенький он...

Потом втемяшилось, что отца Василия могут убрать с его места. Мне-то тогда куда деваться?! Как жить дальше с такой виной?!

Вот эти мысли постоянно крутились в голове, разрывали душу на части! Несколько дней я даже не мог выйти на улицу — лежал на кровати лицом к стене. Однажды вечером показалось, кто-то стучит в дверь. Вышел на крылечко, а в саду тетеха мой заливаётся. Сердце дрогнуло, и боль прошла. Я почувствовал, все у нас будет хорошо. И, конечно, соловушки пели для меня. Чтобы я потом утешился, мол, не может у нас быть плохо — ведь сам Бог водил меня за руку в «Скворцах»...

Но почти месяц я не мог ходить на службы в наш монастырь к отцу Василию. Ездил в другой. А соловушка каждый

вечер заливался и напел мне про главного русского «соловья», песнопisca святителя Димитрия Ростовского. Мощито его рядышком в Ростове лежат в Спасо-Яковлевском монастыре. Вот к кому надо за помощью обратиться! Три раза съездил, приложился к раке: «Святителю Димитрие, вразуми меня, помоги мне, я ведь тоже немножко писатель...» Молитва моя дошла. В день памяти святителя Димитрия я вдруг проснулся ранехонько и решительно поехал на службу в наш храм...

Здесь ожидали новые испытания. Люди косились. Многие перестали здороваться. Один даже сказанул: «Ты не нашего поля ягода». Однако вечером я слушал соловьев, читал «Жития святых» русского соловья святителя Димитрия и утром, собравшись с духом, снова отправлялся в наш храм — проходить сквозь строй осуждающих глаз... Некоторые братья-писатели православные перестали подавать мне руку...

Мариша приехала и вытащила меня в луга: хватит киснуть... Когда подходили к «нашему месту» за дубками, я пошел было не той тропой, но она остановила: «Нет, мы вон там сидим». Здорово сказала, «сидим». В настоящем времени. То есть сидели, сидим и будем всегда сидеть... Я обрадованно согласился с ней: «Сидим мы там втроем с Малышом. Вечно!»

Но уточка с послушным выводком уже не встретила нас. Перестреляли нынче всех уток. Специально ездили на байдарках. И все же уточка для нас «была, есть и будет», а вот для будущих людей останется пустота, небытие...

И всего одного парящего ястреба видели! А раньше по нескольку кружили они в далекой синеве над головой. Мариша даже не узнала его, мол, это не ястреб, а ворона. Я возразил: «Ворона не имеет способности парить и так высоко не залетает. Парить — это высшая способность».

На обратном пути остановились возле «нашего дуба», сожженного то ли молнией, то ли злой рукой. Хотелось бы верить, что молнией. Этот самый старый во всей округе дуб, лежавший теперь поверженным, бывало высился одиноко над полевой дорогой. Я называл его отцом всей дубравы. Наклонился к нему, погладил седой ствол: «Сколько ты нам радости подарил! Сидели мы под твоими могучими ветвями, наблюдали парящих в небе...» Мариша поправила: «Не сидели, а лежали. Лежим...» Сорвала цветок с маленькими блестящими желтыми лепестками. С улыбкой поднесла его к носу. Кончик носа покрылся желтой пылью. Повеяло чем-то далеким-далеким. Мариша убрала цветок, и нос стал чистым.

Опять поднесла, и снова он будто покрылся желтой пылью. «Конечно, и мы в детстве делали то же самое!» Но название никак не всплывало из глубин памяти. Мариша пристыдила: «Эх ты, люттик не узнал...»

Над головой — белоснежная чайка. Проводил ее взглядом: «Чайки не летят, а плывут по синему небу». Вечером у Бунина прочитал: «Чайки плывут по небу». Все-то он увидел! Ему «дано жить отрадою земною». Редко кому из смертных это дается...

Бунин такой писатель, который будто бы первый всему на свете дал определение. «Старая знакомая скамья». Морская даль — «задумчивая». «Печаль ресниц». Ресницы скрывают печаль в глазах. Это он открыл, что море пахнет арбузом. У него Евушенко «позаимствовал» знаменитые «снеги»... «Вдалеке толстогорлые волки». Издалека заметней всего, что они «толстогорлые». Да столько у него богатств, что не перечислить...

В рассказе «Мистраль» Бунин повторяет слова ветхозаветные: «Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить». И писатель изумляется: «Итак, было будто бы время, когда я всходил на корабль, юный, беспечный, ни о какой гавани ни думающий...» Так и просится эта фраза для непрекращающегося повторения: «Итак, было будто бы время...» Какая мудрость! Да ведь не было и не бывает этого «всхождения на корабль». Разве у людей святых с детства. И только в старости мы узнаем, что, оказывается, когда-то взошли на корабль и пора сходить — вот она гавань.

Гавань-то все чувствуют. Бунин прав, не бывает и быть не может для юности «всхождения на корабль». Бывает удивление в старости: Господи, оказывается, я когда-то взошел на корабль. Я понимаю, что пора сходить, чувствую это, но я ведь никогда не всходил. Как же пора сходить?!

Зашел в хозяйственный магазин в Борисоглебе: «Дайте три куска земляничного мыла». Продавец переспросила: «Все три земляничного?» Я развеял ее сомнение: «Да. Оно детством пахнет». Она улыбнулась: «Точно, в детстве мы все земляничным мылись». Женщина намного младше нас неожиданно присоединилась: «Жизнь быстро пролетела. У меня уже дети большие». Я принял ее в равные: «Жена стрижет сегодня. Гляжу на белые волосы на полу и не верю, что это мои. Когда стригут, чувствуешь себя ребенком!... Вроде бы давно ли большая куча темных волос на полу была?! Так что давайте мне земляничного — оно детством пахнет».

Мама моя в восемьдесят лет не уставала повторять: тело-

то старое, а душа у меня молодая. Никто не соглашается старым быть — всем земляничного мыла хочется!..

Едем в Ростов, и Мариша неожиданно восклицает: «Почему эти свадьбы на автобусной остановке?» Нина шутит: «Мама, наверное, они выросли на остановке». Не думая, точно сказала. Деревенские дети двух последних десятилетий все время толклись на остановках. Мы-то, советские, хоть в клубах выросли. А надо бы всем в храмах вырастать. Тогда не на остановках свадьбы будут праздноваться, а в храмах молодоженов сам Господь будет венчать!

Возвращались вечером с братом Валеркой и поэтом Григорием Калужным из нашего Старова-Смолина. Глядя на мириады московских огней, Григорий тяжело вздохнул: «Сколько деревень здесь упаковано?!» Здорово сказал — именно, словно в ящики упакованы. Я наконец-то освободился от своего недоверия к нему. Нет-нет да и приходила в голову мысль, по праву ли он взялся издавать ни много ни мало, но саму «Энциклопедию русских деревень». В ящики, словно в гробы, русские деревни упакованы! А они питали Россию хлебом, словом и духом. Николай Рубцов в порыве чувств воскликнул: «Мать России целой — деревушка...» А мать взяли и в ящик упаковали! Похоронили заживо! И теперь ломают голову, почему у нас все никак жизнь не наладится...

Ездили с Саней в Ростов к Елене Александровне, жене его умершего брата Николая Васильича. Я тоже с ним дружил. В прошлом году летом он скоропостижно скончался. С раннего утра стоял в очереди за каменным углем. Потом весь день перетаскивал его по невыносимой жаре ведрами в сарай. Целый самосвал перетаскал! А ему восьмой десяток. Поднялось давление, и врачи уже ничего не могли сделать.

Труженик был великий. Пальцы на руках у него не разжались. Походили на зубья граблей. Трещины на них он синей изоляцией обматывал, словно электрические провода...

Подошли к воротам — собака залаяла. Я поглядел через забор. Бакс. Вышел незнакомый мальчишка. Ничего не знает. Поняли: Елена Александровна дом продала. Вместе с собакой. Сердце сразу заныло. Поведал мальчишке, что собака очень хорошая, чтоб он ее жалел. Она, когда умер ее хозяин, несколько суток ничего не ела!.. Он кивнул, мол, понимает меня. Может быть, слова мои западут ему в сердце и отразятся не только на его отношении к Баксу, но и во всей его судьбе?.. Дай-то Бог.

На похоронах Николая Васильича я беспокоился о судьбе Бакса, старался внушить дочерям и внукам, что хозяин очень любил его. Потому они должны беречь Бакса как память об отце, деде. Недаром я беспокоился — продали вместе с домом! А он несколько суток не ел после смерти Николая Васильича. Так горевал Бакс!

Как же мне было за него не беспокоиться, когда Васильич и взял-то его потому, что у меня был Малыш. На улице его щенком подобрал. Тоже черно-белый. И как он любил о нем рассказывать. Я им говорил про это, а они продали вместе с домом!.. И пришлось мне хлопотать за Бакса. Может быть, у мальчишки душа отзовется?..

Опять мне стало плохо. Никак я не мог прийти в себя после нашей «птичьей» истории. «Скорая помощь» приехала, поставили уколы — стало полегче, и продолжил я чтение повести «О покаянии Феофила» в «Житиях Святых» Димитрия Ростовского. Именно на этот день она пришлась. Был Феофил благочестивым, милостивым, а его оклеветали и он потерял место секретаря у архиерея. Обиделся на такую несправедливость, страдать начал и попал в лапы к дьяволу, продал ему свою душу. Но Всемилостивый Господь, зная его прежние добрые дела, не дал ему погибнуть окончательно. Покаялся Феофил. Сорок дней сугубо молился Богородице и Бог простил его по ходатайству пречистой Матери.

Даже зябко стало после прочтения. Вон какая опасность страшная подстерегала! А у меня-то, в отличие от Феофила, добрых дел маловато. Если бы не соловушки мои дорогие, то несдобровать бы мне.

Поднялся я с постели и позвонил в монастырь. На службе-то я стал ходить, но после них сразу садился в машину и уезжал. И ни разу не звонил. Слава Богу, трубку снял Петр. С самого начала знакомства, когда он еще был простым мирянином, меня тянуло к нему. Я почему-то выделял его из всех знакомых, даже друзей. Сам тогда удивлялся, не мог понять, почему у меня к нему такая симпатия...

Петр сразу узнал меня и ласково спросил: «Сергей Антонович, что-то давно вы у нас не были?» Словно соловушка песню мне спел. Никто со мной не здоровается, все косятся, а он с такой любовью... Я сразу обрел решимость: «Петр, передай отцу Василию, что я прошу у него прощения, что плохо себя чувствую и прошу прислать отца Сергия для исповеди. Сможешь это отцу Василию передать?» Петр с нескрываемой радостью ответил: «Конечно».

Если бы к телефону подошел кто-то другой, то, скорее все-

го, я бы не смог сказать слова прощения... Вот почему с самого начала я так полюбил Петра...

Приехал отец Сергей. Обласкал: «Завтра приезжай причащаться». — «Я не готовился». — «Так подготовься. Время еще есть».

Потом позвонил отец Василий. Нормально поговорили впервые с тех самых пор. Ожил я окончательно.

В день обретения мощей преподобного Сергия, приехав со службы, пошел на колонку за водой. А возле Варюшкиного дома рядом с рябинкой корова пасется. Обрадовался я несказанно. Уже несколько лет на нашем краю деревенском не было ни одной коровы! Варюшка с Ванюшкой приобрели. Наперекор всему.

Бросил ведра и к ним. Выпил стакан вкуснейшего молока и просто опьянел от радости — попросил корову: «Доча, помочи». Она подняла голову и замычала. Варюшка от гордости даже вспыхнула румянцем: вон у меня какая корова смышленая. Я охотно согласился: «Умница наша».

Варюшка приносит теперь нам молоко, а с фермы колхозной, где она ухаживает за телками, тащит на спине мешок с кормом. Деревенские наши, увидав ее с мешком, шутят: «Дед Мороз идет». Осудать ни у кого язык не поворачивается — платят-то в колхозе гроши. Да она и похожа на Деда Мороза. Серый халат от старости побелел совсем, на голове косынка белая. Ну и, главное, конечно, мешок за спиной с подарками для Дочки...

Сегодня Варюшка рассказала мне, что Дочку загрызли. Я понял кто загрыз, но от хорошего настроения притворно ахнул. Варюшка простодушно успокоила: «Пауты». Я смеюсь: «Больше так меня не пугай — загрызли». Она виновато: «Я ее теперь на пасево буду только рано утром и поздно вечером выгонять, а то заедят эти...» Тут уже смеемся вместе...

Накануне крестного хода Иринарховского, на Всенощной, подошла Маша Т. Поздоровалась, улыбнулась, спросила: где Марина? Избежала она сраму. После «птичьей» истории перестала здороваться с нами. Даже совсем не замечала. И я уже серьезно подумывал бухнуться прямо в храм ей в ноги: «Святая Мария, помолись Богу о мне грешном». И других, кто стал нами брезговать, хотел вразумить. Слава Богу, не пришлось...

На другое утро крестный ход пошел! Мы на этот раз по слабости здоровья сопровождали на машине...

В Ивановском отец Василий широким жестом, как преж-

де, пригласил на трапезу со священством. Сердце мое загорелось от счастья, но я отказался, считая себя недостойным.

В Давыдове ждали с Маришей крестный ход в поле за дорогой. Сердце стучало как пулемет. Не разорвалось бы?! В храме-то я сквозь строй десятков осуждающих глаз проходил, а тут около двух тысяч человек на тебя глянут! Посмотрел на Маришу, а у нее на лице ни кровинки. «Господи, помоги нам». И вот крестный ход приблизился. Я не выдержал, опустил глаза. Вдруг чувствую, кто-то меня обнимает, целует. Володя Мартышин. Он всегда в голове идет. Отец Борис из Вошажникова тоже подбежал обнял нас. И много потом людей выходило к нам из крестного хода с поцелуями. Конечно, мы с Маришей не могли сдержать слез. И не стыдились их. А люди подходили к нам, подходили...

Все дни грозили крестному ходу тучи страшные, но так и не пролились дождем. Зато на третий день сразу во многих концах неба сияли радуги! В первый раз в жизни я видел на небе сразу несколько радуг! Ангелина в Давыдове показала мне рукой на небо: «Словно ангелы!» Действительно, облака над нами плыли легкие, причудливые. Подказала она: запомни — сгодится, ты же наш писатель... Опять словно соловушки затетехали...

В Кондакове, на родине преподобного Иринарха, на остановке лежал огромный добродушный пес. Мариша, вновь обретя способность «жить отрадою землею», шепнула мне: «Его мужики Малышом называют». Дескать, и в самом Кондакове у нас есть родня...

Крестный ход завершился, но праздник продолжался. Привезли к себе дорогую нашу Нелли Сократовну и Валентина Петровича, который хоть и считает меня «невсамделишным» писателем — я же ничего не фантазирую, но расстаться со мной не может. И надо признать, он очень глазастый — расцеловав Нелли Сократовну, отметил, что она, как всегда, в белых носочках. Да, белые носочки явная ее слабость...

Поставили прямо во дворе под яблоней белый дачный столик с такими же белыми стульями. Пока набирали на стол, деятельный Валентин Петрович выкосил во дворе и в саду тропы. Чуть-чуть не успел к Малышу на могилку прокосить. И еще порадовал нас — не стал пить «Изабеллу». Так душевно на солнышке возле яблони посидели. Бойцы вспоминали минувшие дни... Жалели, что отца Василия нет с нами... Но вскоре Нелли Сократовна, у которой под опекой не один наш монастырь, засобиралась. Уговаривали ее, мол, когда еще так посидим. Может, и никогда! За пятнадцать лет один раз удалось!

На дороге в Кринках она заметила: «В Кондакове небо больше открыто». Ее тонкую подсказку я оценил: «У нас в России небо везде больше открыто...»

После крестного хода повстречал на колодце тетю Нину с тетей Лидой. Захотелось приласкать старушек: «Иду и думаю, что за молодка с тетей Ниной беседует. Вроде бы тетя Лида, но спина прямая». Она довольно улыбнулась: «У меня всегда спина прямая. Это у Капы уже горб вырос». Тетя Нина подхватила: «От злости ее сгорбило».

Тетя Лида пожаловалась, что совсем травой заросла — коса в негодность пришла. Я подумал: надо ей косу купить. Она, может быть, и намекнула на это: дескать, корову-то я не прошу подарить, да мне с ней теперь и не справиться, а траву возле дома я еще скосить могу; и я ведь тоже тебе не чужая! Так я ее понял. Представил, как она потом больше обрадуется моему пониманию, чем самой косе...

Так и было!

Стала Доча многим мешать. Одна соседка возмущается, что Доча часто мычит, другая соседка, что лепехи везде — не пройдешь. Капа перестала к нам заходить. Видимо, думает: «Мы столько лет дружим — нам всякую мелочь дарят, а этим — корову!» В общем, как у Христа в притче, кого хозяин виноградника первыми нанял, те возроптали, что он последним, трудившимся всего час, заплатил столько же, сколько им, перенесшим всю тяготу зноя дневного. А хозяин ответил: «Я ли не волен в своем. А вам, как договаривались, так и заплатил». И о завистливом глазе он сказал...

Семнадцатого августа в день смерти нашего друга Кости Васильева побывали с Васей у тети Лены, матери Кости. Душевно так посидели. Она перестала обижаться за мою повесть «У одной реки», где я без прикрас, честно рассказал о нашей дружбе с Костей... Я посожалел, что Анфиски, любимой кошки Костиной, нет с нами. Тетя Лена: «Шляется».

Вышли из подъезда — Анфиска сидит под окном. Я обрадовался: «Вот она, умница, нас дожидается». Подошел, погладил. И она не убежала, как обычно, на улице. И Вася следом за мной погладил. Зимой Анфиска умерла. Так что это она попрощалась с нами, старыми своими друзьями...

Вася поехал ко мне ночевать. Входя в калитку, промолвил: «Твой дружок не бросается на меня». Я не ожидал от сдержанного Васи таких чувств: «Ты это про Малыша?» Он даже

брови поднял: «А про кого же еще?» Его и Костю Малыш встречал как самых близких — ставил лапы на грудь.

Как всегда под осень ели с Васей арбуз. Перед сном глядели на звезды. С глядения на звезды началась наша дружба с Костей. А Вася снова удивил: читал перед сном мою книгу «Ближние», а утром — попросил газету со «Скворцами». Вася такой книгоцей, но раньше он был прохладен к нашему с Костей творчеству. Теперь же мой рассказ «Совы в доме» Вася даже сравнил с «Антоном Горемыкой» Григоровича... Такая дружеская поддержка сильно тронула мое сердце...

Ну что же, осень! Тоже прекрасное время года! Солнце печет, но ветерок, и в нем дымком пахнет. Серебристые тополя струятся, лепечут. Вот-вот поднимутся и улетят. Так им хочется улечься!

Привез из Николо-Боя своих грибников. Внучатки Алешка с Дашуткой сразу повалились, как снопы, кого где сон подкосил, а Мариша на столе возле крыльца занялась грибами. Я не грибник, потому поехал на Устье еще погулять. Хотя и сомневался: Мариша во дворе — может, побыть рядышком? Но понюхал еще раз черные грузди в тазу и за руль. Грузди пахнут моей Родиной — Забайкальем, детством моим...

На реке уже темнеть начинает. Постоял на берегу возле Коровьего брода и заторопился домой, чтоб застать еще Маришу во дворе с грибами. Она обрадовалась, что я быстро вернулся.

Уже в сумерках загромыхали по дороге какие-то огромные машины. Я встревожился: «Что это?» Мариша: «Комбайны». В детстве вечером мы всегда ждали их с поля. Они грохотали, как танки, вся улица в пыли, словно от разрывов снарядов. И нам казалось, что мы попали на войну, и были счастливы. Поблагодарил Маришу: «Если бы не ты, я бы никогда уже не вспомнил, как они колонной шли по деревне и комбайнеры махали нам шлемами, оставшимися после армии. Трактористы обычно служили танкистами. Так нам хотелось, чтобы они кинули со своей высоты хоть один шлем. Мы бы его всей улицей по очереди носили...»

Пришла моя подружка Муська. Кошка моего друга Сани. После смерти Малыша вдруг стала каждый день приходить. Мариша: «Дай ей еще одну рыбку...» Быстро расправившись с подарком, она запрыгнула ко мне на колени. Мариша поглядела на нее ласково: «Как же она хочет, чтобы ты стал ее хозяином. Понимает, какое это счастье». Муська вдруг, впервые в жизни, стала лизать мою руку. Я воскликнул: «Кто говорит, что животные не понимают слов человека!» Погладил ее: «Не

могу я тебя взять. Ты — кошка деревенская и в Москве жить не сможешь. Да и хозяин твой и так на меня обижается, что я тебя рыбой привадил...»

До самого поздна сидели во дворе. Комары уж закусали, но было счастье. Вставая со ступенек, я сказал: «Вот готовятся люди, деньги тратят большие, а праздника нет. А тут просто вернулся пораньше с прогулки и какой вечер у нас получился. Счастливый грибной вечер». Подошел к столу, понюхал еще раз грузди: «Все-таки мое детство груздями пахнет...»

Опять уговорила Мариша по грибы. Я, конечно, расхаживал по опушке и все ворчал, все сроки ей назначал: «Еще десять минут пособирай...» Потом и сам стал под ноги поглядывать и нашел пять подберезовиков. Увидал, что озерцо, в котором Малыш любил прохлаждаться, высохло. Грустно... Из туч стало накрапывать, и я этим воспользовался: «Давай к машине — дождь начинается». Вышли на луг, а дождь в сторону реки унесло. Глянул на заскучавшую Маришу и пожалел: «Ладно, походи еще по краешку, чтоб я тебя видел». Когда она наклонялась, я кричал: «Что нашла?» Мариша поднимала вверх руку: «Подберезовик... подосиновик...»

Возле машины я совсем раздобрился: «Давай пройдем вместе нашей березовой рощей». Мариша неожиданно отказалась — надоели ей крохи счастья из моих рук. Я расстроился: «Хотел, чтоб мы как вместе с Малышом...» Она сразу готовно: «Пошли». Ступил я один шаг по березняку, взглянул под ноги, а там черный груздь. Ступил другой, а рядом — еще два. Мариша: «Это нам привет от Малыша». Я подхватил: «Он сегодня все время с нами. Какой для него был всегда праздник, когда мы вместе грибы собирали. А здесь, в роще нашей, он объявил нам груздями, что мы снова все вместе».

Не выдержала душа Малыша, показалась в виде груздей. Я ведь даже большой белый мог не заметить, а тут самолично грузди нашел, самые схоронистые грибы...

Два дня шел ливень. Двери на крыльцо были распахнуты, и благоухало флоксами, растущими под окном светелки. Хотя я всегда убеждаю Маришу, что лучше нет цветов, чем одуванчики, растущие у нашего порога, но благоухание Маришиных флоксов тоже радует мое сердце. Из-за ливня я томился: не мог писать и ворчал, что не могу даже погулять по нашему чудесному двору-саду. Марише же любая погода

кстати. Достала она из комода лен, купленный в Гаврилов-Яме, и пошла в светелку шить наволочки. Весело застрекотала швейная машинка и я, спасаясь от тоски, сел рядышком на диван. Мариша, желая вытащить меня из хандры, дала пощупать материю. Я сначала не хотел, а потом, все-таки сделав ей одолжение, благодарно согласился, что щупать лен очень приятно, даже настроение поднялось.

Сшила Мариша три наволочки, надела на подушки, энергично взбила их кулаками. Я положил на диван сначала большую, потом поменьше, а сверху самую маленькую: «В Мухоршибири у нас подушки — главное украшение дома. Это не просто подушки, но пирамиды египетские, дворцы китайских богдыханов, укрытые белыми тончайшими кружевами. Плянешь на них, и в сон тысячелетий клонит. Тысячелетнее сонное царство, а не подушки...»

Конечно, Мариша, всегда принимающая любое слово за пожелание, которое надо тотчас исполнить, достала откуда-то кружевную накидку и набросила на подушки. Уже не хотелось уходить из светелки, словно из детства. Я вспомнил, что точно вот так же случались у нас чудные вечера с мамой. Она пришивала заплатки к моим штанам, беляши пекла, а я сидел рядышком. Жаль, очень редко сидел. Чаще бегал по улице с друзьями. Столько счастья пропустил!

Признался Марише, что все лето собирался в светелке с ней посидеть — так теперь здесь уютно. Мариша все оклеила, покрасила, прибрала. «Вот и посидел». И мы счастливы. А чего бы, кажется? Просто сидим вечером в холодной светелке в начале сентября под шум дождя. Мариша шьет, а я рассказываю, как в детстве мы покупали осенью арбуз и ждали этого счастливого дня весь год. Какой же он был сладкий, этот один-единственный в году арбуз! Больше таких сладких я в жизни не ел!

Просто посидели в светелке. А счастье несказанное! Люди упираются, упираются, чтобы стать счастливыми, и ничего не выходит. А тут просто шел ливень. Жена взялась строчить на машинке, а ты сел рядышком. И счастливейший вечер нашей жизни! Он был, есть и уже будет всегда. Но почему счастье далось? Потому что жена, как мама моя, взялась строчить на машинке... Потому что я пришел и сел рядышком. А не пришел бы, и не было бы счастья. Надо было прийти и сесть! И шел чудесный ливень! И в распахнутые двери благоухало Маришиными флоксами. Прекрасно, что они тоже растут возле нашего крыльца, как мои любимые одуванчики...

Есенин написал: «Клен ты мой опавший...» Пожалел, что он опал. Клен осенью золотеет краше других деревьев! Потому его жальче всех...

Сначала роскошно полыхает пожаром клен. Следом горит желтыми кострами тополь. Потом многоцветно, тонко, дымит-вспыхивает дуб. Последней скромно, мило золотеет береза. Осень! Русская осень!

Приснилось, мы с Маришей — в нашем храме. С нами много детей. Отец Василий на амвоне служит. Вдруг вижу на наметке у него цветы вышиты. То есть это не наметка, а как бы женский черный платок с цветами на голову на клобук накинута. Клобук с наметкой символизируют лодку спасения с веслами. Я поражен — весла с цветами! А Мариша возмутилась, мол, это еще что такое? Поскорее отвожу ее в сторону, пытаюсь оправдать, защитить отца Василия, а она сердито: «Что же мне своим глазам не верить?» И тут я закричал: «Да, не верить. Бес что угодно может показать». Рассказал, как один монах увидел другого грешащим с женщиной. Подошел, толкнул их ногой, а это снопы оказались. Вот как бес может показать. Так что даже своим глазам не верь. Сначала перекрестись и перекрести, что видишь... И окажутся снопы вместо людей... А если и люди, то ты тогда не впадешь во грех осуждения...

Так я уверенно втолковал это Марише, что она примолкла.

Стали собирать детей по храму, а они никак не собираются. Отец Василий ходит за нами успокаивает, мол, все будет хорошо. Наконец вышли на улицу, а там сильный дождь. И дети далеко не все. Отец Василий с крыльца смотрит на нас ласково. Я крикнул ему: «Я знаю, почему мы детей собрать не можем». Мол, мы соблазнились цветами на вашей наметке. Он обрадованно закивал головой.

Ясным утром пришла мысль: а может, цветы на наметке — райские? Уж очень они нездешне красивы...

Ранняя осень — это золотые пряди берез. Как седые виски у людей. А потом осеннее несметное и оно же мимолетное богатство. Летящие листья в синем небе — мимолетное богатство; а несметное — листья под ногами.

Идем с другом Андрюшей по берегу Устья. Небо синее-синее. Я восторгаюсь: «Только Есенин мог сказать «синь сосет глаза». Даже Пушкин не мог. Тут одной няни мало, тут надо в крестьянской избе на высоком берегу Оки родиться... Кто-то еще чувствует, что синь сосет глаза? Или только мы?»

Андрюша, как всегда, по-богатырски спокойно: «Все, кто вверх смотрит». Лучше не скажешь!

Осенью всегда вспоминаю Галю Сыркову, именно в эту пору она умерла. Всплыл Толин рассказ, как Галя в тот день много шутила, смеялась и ничто, казалось, не предвещало такой близкой смерти. И я грустно подытожил: «Смеяться тоже нужно в меру...», а Андрюша так же по-богатырски мягко: «Да нет, просто она, как свечечка, вспыхнула перед концом...» Свечка всегда перед концом вспыхивает. Хорошо сказал и по-доброму...

Показал Андрюше рукой: «Эти сосенки-сестренки, когда мы приехали в Старово, были в два раза ниже...» Он ласково улыбнулся: «Ты мне уже это говорил». Я часто повторяю, что «дуб возле нашего дома был ростом с меня, а теперь вымахал выше крыши», что «наши ольхи» в лугах были мне по пояс... Это очень важно, что они при нас так здорово выросли! Вон как мы много здесь прожили — кустики в деревья превратились! Я не про деревья, я про нашу большую жизнь здесь прожитую. А Андрюша любовно предостерег, мол, не кричи, что у тебя есть миллион, а не то украдут... Но я ведь в притче кричу, а ее только близкие по духу разумеют...

Оставшись один, как всегда, сомневаюсь: топить печку или нет? И, как всегда, говорю: «Пусть огонь весело горит!» И затапливаю, и уже не так одиноко...

В Москве, глядя на птиц, часто думал и даже говорил: «Чего они здесь живут? Зачем сюда лезут? Вон сколько хороших мест в средней полосе России, а они — в эту грязь, в этот смрад?» И вдруг однажды до меня дошло, что никуда они не лезут, просто они здесь родились, выросли. Здесь их птичьи предки жили. Здесь родина их! Они просто хотят жить на родине! Они не виноваты, что люди превратили их прекрасную родину в грязную яму... Если даже и совсем жить здесь нельзя будет — они все-равно будут с юга сюда прилетать. Здесь их родина!

Теперь смотрю на московских птиц с уважением. Снизу вверх...

Гляжу на осень. Днем и вечером. Только и делаю, что гляжу на осень. Сердце щемит. Один я остался в осени! Иных уж нет, а те — далече! Мариша, лягушка-путешественница моя, в Абхазии в Черном море купается. А кто еще со мной на осень глядел, почти все умерли. Мальш, Костя, Палыч, Иваныч, Лобанов... Даша Растеряша двоих детей в Ногинске родила. Едва

ли вообще теперь встретимся, а уж на осень вместе глядеть и подавно не будем...

Сегодня в лугах всего одну маленькую уточку спугнул. Перекрестил безо всякой надежды — столько на нее ствол целится. На реке ни души. Тишина такая глухая, что совсем тоска. Уж и с Малышом я всю дорогу разговаривал: «...Вот здесь я тебя из полыньи вытащил, а ты сколько раз меня вытаскивал. И сейчас вытаскиваешь. И будешь вытаскивать...» Там, где женщина с того берега крикнула: «Эй, борода, иди к нам обедать», липа уже голая. Летом это было, а теперь осень, и никто там уже не сидит, и навряд ли уже будет сидеть. Покосники здесь больше не обедают. И беседка над столом покосилась без людей. Но вслух я твердо сказал: «Сидели, сидят и будут сидеть. И день тот прекрасный всегда теперь будет...»

До «птичьей» истории дал отцу Василию свою книгу для торговли на свещном ящике. Он не успел ее положить, а потом и нельзя было — я ведь «живу по стихиям мира». После примирения я все ждал, когда же моя книга появится в храме. Она не появлялась, и меня подмывало спросить: «Если вам мои книги не нужны, то я заберу их». Но все почему-то откладывал, откладывал... А после сна с цветами на наметке отца Василия решил: пусть книги сгниют — спрашивать не буду. Хотя лукаша еще долго зудел. Особенно когда на службу придешь: «Нету твоей книги в твоём родном храме. Во всех храмах московских есть, а здесь нету. Спроси, спроси отца Василия. Это ведь несправедливо». Я читал тогда молитву: «Предложение твое вражьё на главу твою. Пресвятая Богородица помоги мне. Господи, я Твой, Господи». И в один прекрасный день лукаша перестал зудеть... Вскоре я узнал, что отец Василий дарит мою книгу гостям с самыми добрыми словами! Благодарно подошел к нему, мол, не нужно ли еще? Он сразу: «Да, пора их положить на свещной ящик». Я возразил: «Да я не потому спросил. Это раньше у меня было желание, чтобы они там лежали, а теперь мне все равно». Отец Василий ласково: «Вот потому, наверное, я и решил вдруг положить их на свещной ящик...» На другой день я все же глянул краем глаза на свещной. Нету моей книги. И так она и не появилась. Забыл отец Василий слова свои? Или же с умыслом — смирение мое проверяет? Взял привез ему еще несколько пачек: пусть распоряжается по своему усмотрению. Хотя все же было интересно, чем эта книжная история кончится.

Однажды при встрече отец Василий виновато обронил, мол, все забывает о моих книгах. И вдруг я, неожиданно для себя

самого, сказал: «Не надо ее на свещной ящик. Не дай Бог опять у вас из-за меня неприятности будут». С тех пор я уже не переживаю, что нет моих книг на свещном ящике. Конечно, это отец Василий преподал мне урок смирения!... В конце концов я его вроде бы усвоил... Жизнь покажет...

Как тяжело, погано пахнет сгоревшая бумага, на которой были записаны грехи... Просто сожженная бумага, без грехов, так не воняет...

Осенью на лугу... Уже больше не встречается тот паренек из Кандидова. Да и узнаю ли его? Он армию отслужить должен. Их было трое: два парня и девушка. Потом другого, старшего, забрали в армию. Девушка, сестра младшего, перестала ездить на велосипеде с братом на реку. Но еще года два я встречал его на реке. Спрашивал: как друг служит? Куда сестра подевалась? Хотя о сестре можно было не спрашивать — она ведь ездила из-за того старшего. Он на гитаре играл...

Теперь без Малыша паренек кандидовский меня не узнает — я уже совсем белым дедом выгляжу. Да и я навряд ли его узнаю — он, наверное, совсем мужчиной стал. Может быть, мы уже встречались с ним на реке?! Как жаль...

Уже не раскидывает летом свою палатку у старой ракиты семья. На том берегу они были, а не то я бы и их нашел о чем спросить. Ведь несколько лет друг на друга с разных берегов смотрели. Года два их не видно. Наверное, дети выросли...

Уже сгорел наш одинокий дуб у дороги, который мы называли отцом всей рощи дубовой.

Уже Кутька, любимый друг Малыша по детским играшкам, не рыскает по дорогам... Весной, после смерти Малыша, пропал бесследно. Не namного друга своего пережил. Как Малыш любил его! В последние месяцы лежал в машине на заднем сиденье почти без сил, но стоило сказать: «Кутька», Малыш сразу садился и крутил во все стороны головой, мол, где же друг мой Кутька? Я извинялся: «Прости, Малыша, но я знаю, как ты его любишь. Вот и напомнил тебе твою любовь». Да и не мог я смотреть на его медленное умирание...

Уже не бродит по дорогам Юра Паршин в поисках того, что потерял. Мы с Малышом встречали его то у Сабурова, то у дубков, то аж за Протасьевым... Он всегда ходил только пешком, словно только пешком и можно было найти то, что он когда-то потерял. А может быть, он так себя наказывал? Может, места себе найти не мог? В прошлом году умер прямо на дороге к Чернецам. Верю, Милосердный Господь зачтет ему это нелегкое безрадостное хождение...

Звонок по мобильнику. Мариша из Абхазии: «Мы перешли границу. Приезжай в Москву встречать меня». Так я обрадовался, что решил перед завтрашней дорогой прилечь к иконам монастырским, как когда-то до «птичьей» истории это делал. В храме, конечно, первым встретил Петра. Он ласково: «Ну как, пишете?» Я махнул рукой: «Какое там. Дом надо к зиме подготовить, машину. Сегодня из печек золу выгребал...» И поделился печалью, что один я в лугах остался. Иных уж нет, а те — далече... Осень! Тленом пахнет! Петр бодро возразил: «Ну, весна придет». Я опять не согласился: «Еще зиму надо пережить. В любом случае Борисоглебское лето закончилось, наступила Борисоглебская осень...» Мол, другая эпоха жизни началась...

Но после разговора с Петром стало еще светлее. Вышел из храма — никакого дождя и в помине нет. Ясно-ясно! Как в старые добрые времена, как в Борисоглебском лете, пошел взять на дорожку благословение у кого-нибудь из батюшек. Открыл двери в настоятельские покои сам отец Василий. И широким жестом, от всей души пригласил: «Проходите». И впервые с тех несчастных дней мы с ним долго-долго беседовали. Я даже пересказал ему наш разговор с Петром о временах года Борисоглебских, как после этого дождь прекратился. Попрощались с отцом Василием, сошел с высокого крыльца, а над монастырем — радуга. Святые говорят, что радуга после дождя — это благословение Божье!..

Самая моя любимая сказка — «Аленький цветочек». Видимо с малых лет я чувствовал в ней прообраз моей судьбы. Как доброго молодца заколдовали злые силы и он превратился в страшное чудовище. А потом всего одна слезинка девушки, упавшая на него от жалости, расколдовала его и вновь стал добрым молодцем!

Не знаю, каким я стал добрым молодцем, но слез моя жена пролила за меня немало! Не оставила погибать одного. И я бросил пить, курить, гулять, пришел к Богу... Не изгоняй постылого — не увидишь милого. Потому и теперь «Аленький цветочек» — моя любимая сказка...

Иоанн Лествичник: «...а мне испросить у Бога воздаяние за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие».

Господи, засчитай мне одну книгу, мною написанную, как «многое усердие». Ведь всего-то-навсего одна книга, может, после меня останется!

На границе нашей Ярославской губернии с Владимирской есть место, где мы по дороге в деревню останавливаемся уже много лет. На горке густой смешанный лес. Березы высоченные, дородные, словно сорокалетние русские женщины. Вниз от шоссе, в долину, вьется по просеке среди цветов полевая дорога. Возле нее в самом центре пейзажа стоят рядышком дуб и плакучая береза. Частенько я говорю: «Убери их, и картина потускнеет». Каждый раз глядим и не можем наглядеться.

Здесь два раза встречал меня хромым мужик. И рука у него одна еле двигается — под поезд попал. Такому в сельском хозяйстве несладко приходится. В первый раз, когда он уже прошел мимо, я пожалел его: «Деньги нужны?» Он задумался, потом едва заметно кивнул. Дал ему десятку. Потом, догнав, еще двадцать.

В другой раз были вместе с Маришей. Я рассказал про него и вдруг глазам своим не поверил, он из-за горки ковыляет, будто нас дожидался. Дал ему сразу пятьдесят рублей, а потом еще столько же: вдруг больше никогда не встретимся. Уходя, он крикнул: «Спасибо, я помню, вы уже мне давали...»

Однажды подъезжаем на наше место, а там знаки запрещающие, что нельзя даже останавливаться, не то что стоять. Мы же сказали: «Останавливались и будем останавливаться. А если гибэдэдэшники привяжутся, расскажем им про хромого мужика, который нас здесь дожидается». Интересно, поймут ли они нас, признают ли наше исключительное право здесь стоять? Или пальцем у виска покрутят? Про дуб с березой им, конечно, говорить бесполезно...

Приснилось в Старове. Владыка Евстафий подводит меня в храме к архиерею, облаченному в сияющие ризы, и представляет: «Владыка Сергей, вот Сергей Антонович». Тот благословляет и подает руку. Я склонился, поцеловал ее и вдруг он крепко прижал руку к моему лбу, склоняет еще ниже и говорит: «Смиряться. Повторяй: я телеграф». Проснулся, и сердце подсказало: владыка Сергей внушал мне про писательство мое. Мол, повторяй про себя: я телеграф, и никогда не возгордишься...

Владыка Сергей очень похож на преподобного Сергия с образа, пред которым я всегда стою в храме. Но почему владыка? Ведь на земле он был игуменом? То-то и оно-то, что на земле. А на небесах преподобный Сергей владыка из владык...

Встал я, попил воды, постарался запомнить этот сон и снова лег. И увидел продолжение. Владыки Сергия уже нет, и я хочу подойти под благословение к владыке Евстафию, а служба не пускает. Рассердился я, мол, кто ты такой по сравнению со мной, православным писателем Сергеем Щербаковым, и тут владыка Евстафий красноречиво глянул на меня. И я прочитал в его взгляде: «Только что сам Сергей внушал тебе, а ты...» Поспешно принялся повторять: «Ну да, я телеграф... я телеграф...» Владыка Евстафий подошел ко мне, обнял и расцеловал от всей русской души...

На Всенощной отец Василий показал Петру головой, мол, убери ковер, а тот не понял, быстро подошел и подставил лоб для помазания. Отец Василий смутился, но все же объяснил, что не для этого позвал его. Петр покорно убрал ковер.

Неужели даже Петр соблазнился, решил, что ему такую честь оказывают — как монаху, на ковре помазаться, да еще первым? А он всего лишь послушник пока. Значит, очень высоко о себе мнит? Или же наоборот, настолько он послушен, что исполняет приказания священника без раздумий? Думаю, настолько Петр послушен. Непослушные люди о других мало заботятся, много хлопот доставляют, а Петр всем помогает, всех утешает. В любом случае, чтобы не осудить, лучше думать так... Да и люблю я Петра...

Несколько лет назад во время молитвы за умерших стало мне являться в отдалении лицо моего друга детства Юрки Батомункуева. Долго он так являлся. Рассказал я отцу Василию, дескать, хоть Юрка и бурят, но просит молиться за него. Душа-то у всех людей — христианка! Отец Василий разрешил молиться о нем дома мученику Уару. Конечно, я включил в этот список Маришиного учителя Михал Петровича, нашу тетю Верочку. После свадьбы она на целую неделю отдала нам с Маришей ключи от своей питерской квартиры, и наша семейная жизнь началась в Эрмитаже, в Мариинке, на великолепных спектаклях Товстоногова!.. Когда становилось невмоготу, мы махали рукой на все дела и летели ночной «Стрелой» в Питер к нашей любимой тете Верочке, будто только нас и ожидающей... Близких у нее не осталось, кроме нас. Некому за нее молиться. А за Юрку тем более. В родне у него все буряты. Я его единственная надежда! Если я сейчас за него не помолюсь Христу Богу нашему, то уже никто никогда во веки вечные не помолится! И Предобрейший Господь разрешил Юрке являться мне. У Юрки было очень доброе, верное сердце, и он с малых лет стремился к высокому. Однажды

стояли с ним в очереди в магазине. Подошла пожилая бурятка и молчком пристроилась впереди него. Надо сказать, буряты очень «дружны». Если один стоит в очереди, то всех вошедших бурят пропустит. И у бурят развито уважение к старшим. Юрка же опустил глаза и сказал ей: «Все люди стоят в очереди». Бурятка как будто не слышала. Тогда Юрка вышел из магазина. Я за ним. Ни разу я не видал Юрку плачущим, а тут он рыдал. Я понял, он плачет от стыда за свою соплеменницу, что ему за нацию обидно, что бурятка не просто встала без очереди, она нацию опозорила...

Несколько месяцев молился мученику Уару о некрещеных и однажды после произнесения последнего имени вдалеке показалось несчастное лицо моего друга Сани Мальхина, повесившегося в пьяном угаре. И с тех пор я стал видеть его после молитвы мученику Уару. Значит, и он просит моих молитв. Душа у него была широкая — есть за что Господу разрешить ему явиться мне. А почему мне, я-то сам грешник великий? Наверное, и за Саню просто некому больше молиться...

Отец Василий, после некоторого размышления, разрешил молиться и за самоубийц. Давно душа моя плакала за любимого учителя Михал Кондратьича и за троюродного брата Илью. Михал Кондратьич не выносил бессовестного отношения к делу. Однажды на школьной практике я, вместо того чтобы аккуратно отодрать от пола еще хорошие доски, стал ломать их ломом. Михал Кондратьич подскочил, так броснул меня, что я отлетел метров на пять. И крикнул: «Иди отсюда. Чтобы я тебя больше не видел». Однако на другой день он, словно ничего не произошло, отправил меня разгружать машину с песком. И в конце практики, при получении денег, неожиданно сообщил всему классу: «Больше всех, оказывается, заработал Щербаков. Молодец». Очень я уважал Михал Кондратьича. Хотел походить на него...

А троюродного брата Илью все почему-то звали именем его отца. С восхищением говорили про него: «Рома не боится грома». Он действительно был бесстрашным. Когда семеро нападали на одного, Рома всегда вставал на его защиту. Не мог он видеть, когда кого-то обижали. И вообще Рома был такой душевный, так он радовался людям, что, наверное, каждому при встрече хотелось его расцеловать... А я всегда с любовью напоминал ему о нашем родстве. Он в ответ ласково-ласково улыбался. Когда я узнал от приехавших в Москву земляков, что Рома повесился от смертельной тоски, то долго горевал, что больше нет на земле такого человека... Что уже больше никогда я не напому ему о нашем родстве... Так это радовало мою душу. Думаю, и его тоже...

Решил совершить наш с Малышом прогулочный круг. Поднялся на горку к селу Сабурово и глазам своим не поверил. Дорога распахана вместе с полем. Видимо, тракторист был «шары наливши». Двенадцать лет мы с Малышом по ней ходили! Так больно стало, словно нашу с ним жизнь запахали. Нет, без зеленого змия здесь не обошлось...

Пошел через поле к реке мимо фермы. И опять глазам своим не поверил. Один заброшенный корпус обновился. Крышу перекрыли. Окна вставили, двери новые навесили. Так я обрадовался. Наверное, лет двадцать видал по России только разваливающиеся заброшенные сельхозфермы. Пустые, с выбитыми стеклами. Народ потихоньку начинал разбирать на дрова крышу, а потом и кирпич долбить. Глядь, один остов остался, словно скелет динозавра... А у нас снова жизнь затеплилась! «Может быть, и дорогу к Сабурову тракторист не по пьяни распахал? Надоело ему глядеть на брошенную везде землю? Скорее всего так. Пьяница и порученное кое-как делает, а тут лишний гектар вспахали! Нет, не от лукаваго это, а от Бога! Слава Тебе, Господи! Подымается помаленьку Россия...»

На Устье возле Коровьего брода встретил моего юного друга Петьку. Он очень похож на «мужичка с ноготок» из поэмы Некрасова. Лет с восьми степенный, со взрослыми держит себя на равных. Поздоровался с ним крепким мужским рукопожатием. Вдруг Петька воскликнул, будто дикого зверя увидел: «Ой, что там?» И повернул голову назад. Вокруг не было ничего необычного: луга, леса... Я недоуменно поглядел на него. Он указал рукой вдаль: «Да вон же». Там белел храм в Савинском: «Церковь». Петька неторопливо сел на велосипед и нажал на педали. Давно обещаю окрестить его и все никак не соберусь. Из наших деревенских мы чаще всех в храме бываем. У нас машина — потому обычно мы возим ребяташек на крестины. Ну, и, куда тут деваться, становимся крестными. А Петьку все некогда... И тут до меня дошло, что он сейчас разыграл меня. Петька и сам прекрасно знает, что это церковь. Он здесь родился, он каждый день на реке... И он сначала спросил «Ой, что там?» и только после этого повернул голову назад. А глаз у него на затылке нет. Знал Петька, что, поглядев на церковь, я вспомню свое невыполненное обещание... Вот тебе и мужичок с ноготок! Как же он окреститься хочет!

Купили новую большую кровать, а то много лет спали на топчане, сколоченном из необструганных досок. Хотя мне так жалко было с ним расставаться... Решил поменяться с

Маришей местами. Лег с краю. А она: «Кто с краю спит, тот раньше просыпается». Думаю, нет, голубушка моя, тебя хоть куда положи, все равно раньше меня вскочишь. Но народная мудрость победила — я стал просыпаться раньше Мариши. Через несколько дней не выдержал такой ответственности — снова перебрался к убаюкивающей стенке...

Наша Нина вдруг решила получить второе высшее образование. Честно сказать, я не понял, зачем это ей нужно, зато сообразил, что это последний шанс для Оли, моей дочери от первого брака, что надо съездить к ней — попробовать убедить поступить в Университет. Пока Мариша там работает. Будут вместе с Ниной учиться, а Нина, если за что возьмется, обязательно доведет до конца...

В Воронеже поселился у бывшего тестя, дедушки моей Оли. Тесть попал в секту «Свидетели Иеговы». Конечно, сразу принес книги и давай, как это у сектантов водится, экзаменовывать меня. То есть совращать в свою секту. Но не тут-то было. У отца Василия я хорошую школу прошел и каждодневное чтение Евангелия, Житий Святых, Псалтири не пропало даром. Тесть отступился. Когда умерла первая жена, он очень горевал. Зашел как-то в православный храм. Священник все время занят, что поют — ничего не понятно. Деньги люди в ящик суют. Стоять часами на одном месте дуриком тяжело, и он попал к «братьям и сестрам». У них никаких священников, каждый... сам себе священник. На службах стоять не надо. У них — беседы. Все легко и приятно.

Я ему возразил, мол, без труда не вынешь рыбку из пруда; где легко, там никогда высокого не достигнешь. Даже в спорте — кто больше тренируется, тот и побеждает. А в Царство небесное тесными воротами входят. Для спасения души надо не беседовать на вольные темы, а трудиться еще больше, чем для прокормления тела. Православная церковь тысячу лет нам, русским, — мать родная. Согласен, что не все сейчас ладно в ней, но если родители дали слабину, прихворнули, все равно к чужому дяде через дорогу уходить не надо. Не надо мать и отца бросать! Чти родителей своих. Бог не сказал: «Чти хороших родителей». А любых.

Уже потом в Москве пожалел, что так и не сказал тестю, что хороший-то дядя, к которому убегают от родителей, непременно скажет, что родителей бросать грешно. Зато плохой похвалит: «Правильно сделал». Выходит, ты к плохому дяде попал...

Но он больше не спорил со мной на религиозные темы, а взялся читать стихи своих земляков Кольцова, Никитина:

«Потянул ветерок, воду морщит, рябит...» Я охотно подхватил: «Пронеслись утки с шумом и скрылись. Далеко, далеко колокольчик звенит...» Стало ясно, теще не то что совратить меня хотел в свою ересь, но искал общего между нами. Хотел чем-то скрепить вновь возникшие отношения. Поглядел я на него — серый он серый и такой невеселый-невеселый. Нет, не помогли ему «братья и сестры». Подумал: скорее всего вижу его в последний раз. Едва ли когда еще в Воронеж выберусь. Поскорее опустил глаза — побоялся, что он все в них легко прочтает. Такой взгляд не понять невозможно.

Зато Оля порадовала — сразу согласилась учиться. Нина потом тяжело заболела, и пришлось Оле одной науки осваивать. А я заключил, что Нина захотела учиться промыслительно — только для того, чтобы по-сестрински дать Оле последний шанс начать другую жизнь.

Перед отъездом спросил тестя, как они с братом живут? Он коротко ответил: «Заходим друг к другу, но за стол вместе не садимся». Хорошо сказал. Не осудил брата, а попечалился, что живут они не по-братски. Обнял его на прощанье: «Держись». В машине сердце екнуло — в последний раз видимся. Вылез и еще раз обнял. Ему тоже жалко было расставаться со мной: «Приезжай, всегда буду тебе рад». И я не смог сказать правду, что едва ли. Молча кивнул...

Гляжу из окна. По тротуару бежит овчарка. Хозяин сзади отстал. Она все останавливается, оглядывается на него. Сразу вспомнилась одна наша прекрасная поездка в Углич. Обед прямо на высоком берегу Волги на «нашем месте». Белые корабли у причала. Белые чайки над водой. И по берегу бежала овчарка и вот так же оглядывалась на хозяина. И Мариша с теплотой отметила: «Как овчарка всегда на хозяина оглядывается». Я разъяснил: «Овчарка без команд не может. Другие собаки хозяев не меньше любят, но они самостоятельнее». Разъяснил и пожалел — Мариша сразу как-то загрустила, а денек был такой чудесный. Зачем я вылез со своим знанием. Ведь сам не люблю потому на самолете летать, что сразу прекрасные таинственные облака материализуются в туман, в воду... Да и вообще, когда среди них летишь, всякая поэзия утрачивается. Столько поэтов облака воспели! Ведь недаром! Думаю, кто часто на самолетах передвигается, тот не может написать про облака «кремли далеких синих облаков...»

Вспомнилась Маришина фраза об овчарках, и я поразился: ведь совсем забыл, как она это сказала, забыл наше сидение на берегу Волги. Погода тогда стояла удивительная. Я все восхищался, что даже воздух сегодня имеет цвет... Если

бы сейчас не увидел, как овчарка оглядывается на хозяина, то и навсегда забыл бы тот день... Может, потому Мариша и восхитилась овчаркой, чтобы я когда-нибудь вспомнил его?! А я не понял тогда. Вылез со своим знанием. И она грустила, не умея объяснить. Поэзия памяти необъяснима. Если бы она не сказала неверно, поэтически, то я бы забыл один хороший день нашей жизни!

Закусываем на нашей Ярославской горке. Говорю Марише: «Чудо, что хроменький три раза выходил к нам. Мы ведь бываем здесь раз в месяц, а то и реже». Только закрыл рот, а он из-за горки хромает. Помахал ему — машина-то у нас другая, вдруг не узнает. Сразу спросил его: «Помнишь меня?» Он даже заволновался: «А как же! Мы уже три раза встречались. Раньше у вас машина была красная». Дал ему в этот раз побольше. Ведь это просто чудо, что мы встречаемся. Узнал как его зовут. «Александр. Я каждый день по этой дороге хожу». Меня просто потрясло: это ж какое надо терпение иметь — ведь он нас ждет, а мы встретились четыре раза за год. Так жалко его стало, и я сказал ему примерно когда и в какое время назад в Москву поеду..

Чтобы не стоять над душой, Саша заторопился домой. Мариша, конечно, надавала ему каких-то консервов, пирожков, хлеба.

Как же его Господь к нам выводит! И я сказал: «Пусть хоть сто запретительных знаков здесь ставят. Стояли и будем стоять!» Мариша согласно кивнула...

Нина вдруг заболела. Речь нарушилась, головные боли ужасные. Сделали снимки, а у нее два больших пятна в мозгу. Врачи: «Куда же вы раньше смотрели — теперь никаких гарантий дать не можем». Положили ее в самую главную больницу по мозговым болезням. Целую неделю она пролежала, а лечение так и не начинают. Отвечают: надо сначала точный диагноз поставить. А Нине все хуже, и Мариша моя совсем извелась. В субботу пошла, договорилась, чтобы Нину отпустили на воскресенье домой. Решила причастить ее. После причастия благодарная память подсказала мне, что в храме Петра и Павла есть чудотворный обруч Иоанна Предтечи. Когда-то я сам им голову лечил. Правда, у меня пятен не было, просто помутнение на снимках, но... Господь Всемогущий. Поехали в Петра и Павла. Возложил я на голову Нины обруч. Прочитал акафист Иоанну Предтече. Вскоре после приезда домой звонок по телефону. Мариша сняла трубку и заплакала. Молча передала мне. В трубке Нина радостно закры-

чала: «Папа, я говорю. Слышишь, я говорю. И голова меньше болит». Я сам чуть не лишился дара речи. До этого она едва языком ворочала и только с трудом можно было разобрать, что она говорит!..

В понедельник, видя ее хорошее состояние, врачи сделали повторные снимки, анализы. И были ошеломлены — анализы хорошие, но, главное, пятна в мозгу исчезли! Так они и остались в полной растерянности. Зато мы благодарили Милосердного Бога. Вот оно причастие и чудотворный обруч Иоанна Предтечи! Исцеляющей «подольцы риз Христовых» мы коснулись!..

В тот день, когда Нина заболела, прилетел к нам на балкон белый голубь. Ночевал прямо на карнизе окна. Я даже дверь на балкон не открывал, чтобы его не спугнуть. А дня через три вдруг сказал, что голубь улетит, когда Нина выздоровеет... И позвонил Нине: «Нинок, мы тебя вытащим с Божьей помощью. Если только будешь нас слушаться...» Мариша даже недоуменно глянула на меня: дескать, нам не до шуток, а ты тут с каким-то голубем...

В воскресенье, после восторженного Нининого звонка о выздоровлении, белый голубь сел на карниз, посидел и прощально взмахнул крылами. Мы с Маришей провожали его пока он не растворился в воздухе. Больше белый голубь не прилетал...

Алешка наш опять один гуляет по улице. А я уже столько времени говорю Нине, что их песик Буся, тоже гулявший один, потерялся в Новогоднюю ночь не потому что сплошные салюты да фейерверки вокруг громыхали, а он ясно показал нам, если Алешка будет самостоятельно бродить по улицам Москвы, то он тоже потеряется... Мол, пора вам, ребята, менять отношение к жизни — не то все вы потеряетесь...

У деревни Селифонтово на старом Ярославском тракте в жаркий июльский день с великолепными кудрявыми облаками на синем небе мы с Маришей блаженствовали на нашем месте у опушки березовой рощи. А вдали полевой дорогой шла к деревне девушка. Вдруг посреди поля она сняла через голову платье. Туфли — в руку. Сердцем почувствовал — она идет в родную деревню, где очень долго уже не была, нажилась в тесноте у чужих людей. Глядели мы на нее, пока она не зашла в огород. Значит, не ошибся я — в родной дом девушка вернулась. С огорода днем только свои заходят. Почти наяву увидал, как она с удовольствием ступает босыми ногами между ухоженных грядок с густой зеленью мор-

кови, с правильными рядами лука и чеснока. Как мать на крыльце от счастья всплескивает руками: «Доченька моя приехала...»

На всю жизнь я запомнил эту девушку из деревни Селифонтово, посреди поля снявшую от счастья платье — домой она возвращалась. Когда проезжаю Селифонтово — сразу на душе то жаркое лето...

Гена Астапов, прочитав мою «Рабочую собаку», возразил: «Ну, уж слишком ты их любишь. Мы тоже с собакой друзья, но придет пора, я возьму ружье: хватит, дружище, пожил». Конечно, я не согласился с ним, но он остался при своем мнении. И пришла пора, Гена и жене сказал: «Хватит, подруга, пожили мы с тобой. Детей вырастили. Теперь я уйду к другой женщине». Ушел и вскоре разбился на только что купленной иномарке...

Во сне Костя подошел ко мне и радостно произнес: «Я воскрес». Он умер некрещеным, но я поверил ему — лицо у него такое ясное-ясное и сам он такой счастливый-счастливый. Даже живым я никогда его таким не видал. Решили мы отпраздновать Костино воскресение. Не пьянствовать, а именно отпраздновать. Тут же Малыш радуется — ставит нам лапы на грудь. Дал я Косте свой красненький велосипед, чтобы он съездил вина купил. Я на этом велосипеде к вере приехал. Пешком бы не смог на службы монастырские каждую субботу и воскресенье ходить... Вдвоем-то с Маришей мы и ходили пешком, а один я бы поленился...

Проснулся я такой счастливый. Сердцем почувствовал, в Костиной посмертной судьбе действительно произошла большая перемена. Раньше-то одна мать за него молилась, а год назад и мне разрешено. И незадолго до смерти Костя, сидя пьяный на ступенях храма, все-таки превозмог бесов — промолвил: «Я приду-приду». Вот и пришел?..

Через год после армии мы с Колькой Федоровым, повязав головы косынками, пошли в лес. Забрались на гриву за «Второй Лыской». Лежали под березой. Смотрели сквозь ее ветви на синее-синее небо апреля, на струящийся от земли теплый воздух, на голубую тайгу на горизонте. Я убеждал Кольку, что нечего грустить — все равно мечты наши сбудутся. Что у нас еще все впереди, что он непременно станет летчиком, а я писателем... Он верил мне, и мы были счастливы...

Потом, возвращаясь из леса, шли мимо автостанции полные сил и надежд. А там моя любимая одноклассница Надя

Стулева дожидалась автобуса в Малый Куналей, где она работала учителем. До сих пор не понимаю, почему я не подошел к ней. Кивнул издали и все... Но ее синий, как апрельское небо, взгляд я запомнил на всю жизнь.

И было счастье! Где теперь Колька Федоров и жив ли он вообще, я не знаю. Я стал писателем и пишу однокласснице Наде Стулевой письма. Но тогда мы были, наверное, счастливее — все было впереди! И был чудный голубой апрельский день. Но Надя в письмах убеждает меня, что мое самое-самое я еще не написал. Что все еще впереди у меня, как в том далеком апреле. И я снова счастлив, как тогда... И мечтаю разыскать Кольку Федорова и сходить с ним на гриву за «Вторую Лыску»...

Слушали с Маришей «Песенку вагантов» из нашей молодости: «Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете...» И я увидал, как шел к Дому Аспирантов и Студентов МГУ. Шел вселяться после успешной сдачи экзаменов. Изо всех распахнутых окон двух высотных зданий, казалось, звучала только «песенка вагантов» про студента... И именно в этот момент я до конца осознал, что я студент! Какие-то студенты-иностранцы беззаботно играли в мяч на лужайке. Почувствовал к ним родственную нежность. Все окна распахнуты и в каждом — студенты. И я студент! Здравствуй, долгожданное студенчество! Я откуда-то знал, что если в этот год не поступлю, то уже никогда не поступлю...

И через много-много лет, слушая в деревенском доме «Песенку вагантов», я наконец-то всем сердцем постиг — умом-то я это понимал с самого начала — что сделала для меня моя старшая сестра... Сразу все обиды забылись, и я почувствовал, что теперь прощу любое ее заблуждение. Не буду сердиться, а буду только жалеть ее...

Когда я, желая идти по стопам Шукшина, сначала поступал на режиссерский в институт кинематографии, и завалился на первом же творческом экзамене, то от такой неожиданности совершенно растерялся. Вернуться в Мухоршибирь было невозможно — стыд и срам. И я чувствовал, что там сопьюсь от горя и тоски. Тут сестра, поняв меня, пришла на помощь, посоветовала попробовать поступить в МГУ на журфак. Все узнала, занималась со мной по русскому, английскому. Провожала на экзамены и ждала. Потом она отбила маме счастливую телеграмму: «Сережка — студент МГУ». Когда на втором курсе я совсем загулялся и меня уже собрались отчислять, сестра сходила к декану Ясену Николаевичу Засурскому, добрейшей души

человеку, и забрала меня из общежития к себе. Благодаря ей, я первый раз в жизни бросил пить и узнал, как прекрасна трезвая здоровая жизнь. Вдруг увидал на остановке старый зеленый тополь и поразился: оказывается, почти два года я стоял рядом с ним, а его не видел... У сестры же я написал свои первые настоящие рассказы. И дальше, дальше...

Потом поехали на Всенощную, но «Песенка вагантов» не перестала звучать в душе. Когда отец Василий вышел из алтаря, я всем сердцем постиг — умом-то я всегда понимал — что без него давно бы уже заблудился. И почувствовал: маленькая заноза, остававшаяся в сердце после нашего разлада, вышла. Чуть я не заплакал от нежности к нему. Так бы подошел и расцеловал. Слава Тебе Господи!

Вдруг решил до конца на службе побыть, а не уезжать как обычно после елеопомазания. Дома передумал отправляться в Москву с утра, а сначала отстоять Литургию — чтобы благодати монастырской не лишиться.

А после Литургии всегда сил прибавляется, и прошли мы в крестном ходе вокруг монастыря. И доехали до Москвы гораздо легче обычного. Я почти и не устал, а раньше — до изнеможения. И очень часто в этот день во мне вдруг начинала звучать «Песенка вагантов» и вспомнилось многое позабытое. Сердце просто таяло, как в молодости...

Сиротливо на душе. Листаю телефонную книжку и постигаю пословицу «старый друг лучше новых двух». Старые друзья почти все умерли или отошли от нас, а новым в печали как-то не очень тянет звонить. С новыми хорошо радость делить, а горе — со старыми. Набираю номер университетского друга Лешки Попова. Очень редко теперь с ним разговариваем. Раз в год. Снял он трубку, положил на стол — с кем-то разговаривает. Слышу, с матерью. Она что-то неразборчиво, с сожалением, а он: «Мама, мне же было двадцать три года. Это было на даче». Я догадываюсь, что она посожалела, какой сын раньше был хороший, и вспомнила какой-то случай. Лешка подтвердил, что он помнит: «на даче это было». И так он ласково с матерью разговаривает, но возражает, дескать, мама, я остался такой же хороший — я же не забыл это.

Неспеша они так по-родному, словно много-много лет назад на даче, беседуют. Тихонько напоминаю о себе: «Лешка, Лешка...» Но они увлечены своими дачными воспоминаниями, и я решаю не мешать им. Уж очень они душевно общаются...

Минут через двадцать снова набираю их номер и слышу: «Мама, мне же было двадцать три года. Это было на даче...» Я

ничего не могу понять. Может быть, Алешка еще раз пытается убедить мать, что он остался такой же хороший? Это стоит много-много раз повторять. С удовольствием слушаю того двадцатитрехлетнего Лешку. Мы были с ним тогда студентами третьего курса...

Звоню через несколько часов и слышу тот же самый разговор... Теперь понимаю, это фоном запись на автоответчике. И все же не верю, так все реально и так мне хочется, чтобы Лешка оставался таким же двадцатитрехлетним хорошим парнем... На душе светло, светло. Словно я повидался со своей молодостью...

Варюшкин Рэкс прибегает вечером. Я его подкармливаю, внушаю, что надо поближе к дому держаться, чтобы не пропасть. Я всем своим близким кошкам и собакам это втолковываю. И людям тоже...

Вылизав миску, Рэкс непременно подходит к калитке. Я высовываю наружу руку. Он лизнет ее и убегает. Благодарное собачье сердце!

Но, когда Рэкс привязан возле своего дома, то ведет себя как-то странно, словно не узнает меня. Хвостом дружески не машет и смотрит озадаченно. И однажды я сообразил, что этими подходами к нему возле его дома, ставлю его в трудное положение. Он же должен лаять на меня, а то и укусить, а кусать невозможно — я ведь его кормлю... Теперь, когда Рэкс на цепи, я просто здороваюсь с ним, но не подхожу. Похоже, он одобрил меня...

Ох, как бесы не хотят, чтоб ожила наша деревушка, которая «мать России целой». Ванюшка и его соседка, прибывшая из города, морщатся, мол, у Дочки молоко горькое.

Захожу к нему, а он как дельный: «Надо корову менять». У меня аж сердце захолонуло и в голове все смешалось, но за меня дух ответил: «Ты-то тоже муж никудышный, так, может, и тебя Варюшке поменять?» Ванюшка растерялся. Тут вышла из комнаты Варюшка, и я рассказал им про свою двоюродную бабушку Василису. У нее всегда коровы были самые молочные, свиньи самые упитанные, куры самые яйценоские... Ее все животные любили. Самые злые собаки при звуках ее голоса миролюбиво виляли хвостами. Если на ферме бык отвязывался и начинал буянить, мужики прибегали к Василисе. Она безбоязненно подходила к быку, ласково называла его по имени: «...Ну, что, дружок, обидели тебя. Не умеют разговаривать. Пошли, милый». И бык послушно шел за ней в стойло. Некоторые даже считали ее колдуньей, но

она просто очень любила всю Божью тварь и была во все времена православной. Иконы светились у нее в красном углу все годы советской власти!.. Непутный мужичонка Васька Муха приходил к ней жаловаться на корову. Тоже, мол, менять ее надо — молока мало дает. Сам, конечно, надеялся, что Василиса как-нибудь поправит корову. А Василиса выговаривала ему: «Я утром выйду на крылечко, а ты на свою кормилицу матом на всю деревню орешь. Ты ее погладь, хлебом с солью угости». Но Васька ничего не хотел понимать и все менял. И всю жизнь у него были «коровы не те», «свиньи не те», «куры не те»... Значит, сам он был не тот..

Чтобы Ванюшка не очень обижался, дружески хлопнул его по плечу: «Вот бросишь пить, орать на Дочку матом перестанешь — и горечь в молоке пройдет». Вижу, что он, как Васька Муха, не верит, но уже помалкивает, боится, что Варюшка его поменяет. А я не шучу: если он Дочку поменяет, то Варюшка и его когда-нибудь поменяет..

Напоследок устраиваю маленький молебен о здравии Дочки, чтоб молоко горчить перестало. В хлеву Варюшка рядом со мной встала. Уже начав читать молитву священномученику Власию, покровителю животных, я оглянулся, где Ванюшка. А он в воротах с сигаретой во рту. Ногу гордо отставил. Я рассердился: «Брось сейчас же», а он нагло: «Я только прикурил». Махнул на него рукой: «Тогда лучше уйди совсем». Ванюшка ушел.

Дочка тихо стояла, молитвы слушала, и даже дала мне себя погладить. Она очень пугливая от Ванюшкиного мата. Потом я все же спросил его: «Ты, когда к председателю колхоза в кабинет заходишь, тоже с сигаретой во рту, ногу отставив?.. А тут мы на прием к самому Господу Богу пришли...» Ванюшка криво улыбнулся, но промолчал.

Горечь в молоке исчезла и Ванюшка заключил: «Наверное, чем-то не тем кормили ее...» Я не стал спорить с ним — бабушка Василиса с Васькой Мухой тоже не спорила...

Мариша перед сном кряхтела, сердилась, что не может заснуть. Чтобы успокоить ее, вспомнил, что в детстве-молодости любил перед сном помечтать. Это были когда-то самые сладкие, долгожданные минуты моей жизни. Все еще витало в тумане, висело на волоске. А помечтаешь, и дальше жить можно. «Теперь же я, как ты, тоже сержусь, если не могу сразу уснуть. Только Иисусовой молитвой утешаюсь». Мариша словно гвоздь с одного удара вбила в стену: «Теперь мечты твои сбылись, теперь ты счастлив — потому и сердилась,

что заснуть не можешь». Я в долгу не остался: «Выходит, и ты счастлива — тоже сердисься». Долго смеялись и вскоре заснули. О чем нам еще мечтать!..

С девяти лет, после похорон отца, я стал часто думать о смерти. Что я когда-нибудь тоже умру. Так мне становилось невыносимо, что я начинал безутешно плакать. Мама обнимала меня: «Ну что опять случилось с тобой? Что ты опять придумал?» Услыхав о смерти, начинала смеяться: «Глупый, у тебя еще вся жизнь впереди». Я ненадолго утешался, но вскоре опять начинал думать о смерти и плакать.

Мама словно не понимала, что я плакал не оттого, что скоро умру, а что все равно когда-нибудь умру. Рано или поздно, но умру.

Теперь знаю, я ждал, мама скажет, что душа моя бессмертна, что — Бог на Небесах. Тогда бы я утешился раз и навсегда. И больше бы не впадал в смертельную тоску, от которой много всякого натворил.

Как же страшно жить без Бога! Об этом плакала моя детская взыскующая душа. Да и недетская тоже потом плакала. Что от меня Бога прятали! Бессмертие мое! Сколько же я слез по Богу пролил! Наверное, поэтому Он меня, грешника треокаянного, так долго терпит?!

Одна знакомая литераторша, прочитав мои рассказы о «Борисоглебском лете», захотела поглядеть его на фотографиях. Показал ей. Увидав наш родной домик с трех окон на восток, она замолчала, чем-то пораженная. Вдруг у нее вырвалось: «Это же простая изба деревенская!» Не сразу поняв ее восклицания, я подтвердил. Лишь после вспомнил: она часто вздыхала, что «мечтает жить на природе, но без удобств не может». Так и просидела несчастная всю жизнь в четырех стенах в затхлой Москве!

Христос сказал: «Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Был у меня незавидный крестьянский домик, и мне Всещедрый Господь дал верного друга Малыша, мою чудную зырянскую лайку; подарил вдохновение на многие лета; а главное — монастырь, у храмов которого цветут такие чудесные васильки, каких не бывает даже на берегу самых тихих рек...

А у знакомой отнялось единственное, что она имела — способность по-доброму складывать слова...

Иду по деревне. У тети Нины на огороде калитка распахнута — осенью она умерла. Всегда у нее такой порядок на

огороде был. Как же грустно глядеть на распаханную в огород калитку!..

Навстречу по дороге — Лобановы. Вместо «здравствуйте» порадовался: «Редко вас вот так вместе увидишь». Они в ответ счастливо разулыбались: «А и правда...»

Мой однокурсник по Университету Андрюшка Стыкалин всего один раз вышел со мной на прогулку из общежития. Он больше водил компанию с преуспевающими Филипчуком и Деболиным, а тут как-то даже решительно сразу собрался. И на улице вдруг сказал, мол, ты не думай, что я такой же, как Филипчук с Деболиным, которые все спорят с тобой и подсмеиваются, я на твоей стороне, я тебя понимаю...

Это было так неожиданно. Конечно, он потому и откликнулся на мой дружеский призыв погулять «в такую чудную погоду», что хотел сказать мне эти слова. Очень это ему было важно. Пошел, даже не побоялся насмешек Деболина с Филипчуком.

Через много лет в деревне я слушал «Песенку вагантов» из далекой нашей молодости и многое вспомнил. В том числе и напрочь забытую прогулку с Андрюшкой и его слова... И опечалился: скорее всего он умер некрещеным. Где он теперь? Во тьме кромешной? Решил включить его в свой молитвенный список о некрещеных святому мученику Уару.

Разве это не чудо! Вышел Андрюшка один раз со мной на прогулку, сказал несколько мужественных слов и теперь — будет кому за него молиться! У Бога ни одно слово не забывается!

Вечером Варюшка принесла молока. Она всегда спешит, но тут я усадил ее пить чай. За чаем вспомнила, как в детстве ходила с мамой из поселка в лесную деревню Вески. Увидав там козу, попросила дать ей подоить. Один раз дернула за сосок, другой — ничего не получается. Все засмеялись, а она упрямо сказала: «Все равно потом научусь». И долго уговаривала маму купить корову. А мать ей объясняла: «У нас квартира в двухэтажном доме, сарайка так себе — едва дрова вмещаются. Куда мы ее поставим?» Варюшка отступилась, но стала мечтать: «Когда вырасту — заведу корову. Назову ее Ночкой, а теленочка — Дочкой».

Улыбается: «Теперь мечта моя сбылась. Только наоборот. Корову я назвала Дочкой, а теленочка — Ночкой...»

Пожаловалась, что бабы наши деревенские сбивают ее с толку, мол, все у нас от коров отказались, а ты чего выделя-

ешься?.. Варюшка сначала отмалчивалась, а потом нашлась: «Тогда парного молока в деревне не будет». Подумали они и отстали. Парное-то молоко, конечно, слаще магазинского. Кто тут будет спорить!

После смерти Малыша чувствовал, что уже никогда не смогу «жить отрадою земною». А тут стал навеваться на балкон лохмоногий голубь. Своим естественным превосходством, которым совсем не чванится перед своими собратями, он походит на Малыша. В компании любых собак Малыш, не прилагая никаких усилий и даже вовсе не желая этого, оказывался всегда самым умным, самым смелым, самым красивым...

Конечно, назвал я голубя Лохмушом и поставил на довольствие. Он прекрасно это понял и уже рано утром всегда сидел на нашем балконе. Потом надолго исчез. Когда снова пожаловал, то я вдруг так обрадовался, что кинулся к окну с криком: «Лохмуш, Лохмуш прилетел». Мариша взглянула на меня с осуждением: «Ты что, с ума сошел?!» Дескать, к какому-то дикому голубю с такой радостью. Я печально остановился: «Нет, не сошел я. А вот если перестану так радоваться, тогда сойду...» Она виновато примолкла. Потом сама открыла дверь на балкон и насыпала на столик перловки...

Я сочиняю для Мариши легенды. Мол, в отличие от других голубей, Лохмуш прилетает к нам издалека. Может быть, даже из Замоскворечья! «Посмотри, какой он стройный». Потому его можно и два раза в день покормить... Весной же Лохмуш у меня нуждается в усиленном питании — потому что помогает своей голубке высиживать голубят. «Видишь, как он редко прилетает, и всего на минутку». Мариша смеется: «На яйцах он, что ли, сидит?» Но, в любом случае, вместо ворчания, что я надоел со своими голубями, что они весь балкон загадили, она улыбается: «Иди, опять Лохмуш издалека прилетел...»

Вот уже пять лет он радует нас. Если видим его на улице, то обязательно рассказываем друг другу об этой приятной встрече. С улыбкой показываем, как Лохмуш ходит из-за лохм вразалочку, словно моряк в широких клешах. Нам кажется, что он нас тоже узнает. На погибших голубей смотрим с замершим сердцем: нет ли лохм...

Во сне я оказался у моего умершего друга Юрки Доброскокина. Вокруг темно, холодно, пусто. А Юрка в одних трусах. Замерзает. Мне его так жалко. Растер ему спину, надел

на каждую ногу по три носка. Больше ничего теплого у меня не было, и я виновато сказал: «Ты приходи. У меня своя комната есть. Правда, я пока не знаю где...»

В Воронеже Юрка просто вытащил меня из пропасти. После ухода первой жены я так страдал, что однажды прямо на улице потерял сознание и не приходил в себя целые сутки. Юрка, учившийся со мной на подготовительных курсах, до этого только кивавший при встрече, вдруг пригласил на выходные к себе в Калач. Его мать обласкала меня как родного сына. Потом он всюду брал меня с собой, старался неотлучно быть рядом, и я вернулся к жизни.

Решил я сугубо помолиться о Юрке с земными поклонами до Пасхи. Чтобы ему там потеплее стало... Он ведь за этим мне явился. Слава Богу, он крещеный — ему легче помочь...

Одно только смущает до сих пор: откуда я взял, что у меня есть Там комната? У меня, грешника треокаянного, — своя комната в раю?! Господи, помилуй, неужели даже во сне я умудрился нагрешить? Неправду сказал?!

Только приехал домой после крестного хода в Бору на Троицу, звонок в калитку. Мои юные дружбаны Мишка с Петькой: «Дядя Сережа, помочь ничего не надо?» Как же не надо — нога моя изнылась, а воды в бидоне на доньшке. Принесли они четыре ведра. Жарко. По-крестьянски неторопливо вытерли пот со лба. Попросили напиток. Почерпнул им, как настоящим мужчинам, полный ковшик. Мишка сразу его ко рту, а Петька глянул на него: «Ты что-то забыл?!» Мишка покраснел, перехватил ковшик в левую руку и перекрестился. Снова в душе соловьи затетехали. От радости захотелось остатки воды вылить им на макушки. Они охотно наклонили головы. И я полил их, как цветы.

Прекрасно когда у твоего крыльца растут солнцеликие одуванчики...

ЧАС НЕРОВЕН

ЖЕСТОКИЕ ДЕТИ

Летние каникулы я проводил в деревнях, то на родине матери, то на родине отца. Может, поэтому и выжил, что хлебнул крестьянского быта. Умом многое уже забылось, но что-то помнят умеющие держать инструменты руки, помнят ноги, исходившие бесконечные степные и почти непролазные лесные тропы, а душа помнит всё. Как сказал поэт, «душа хранит».

Многое забылось, но до сих пор отчетливо вижу, как дети, мои ровесники, с радостным смехом бросают камни в маленького, еще не очень старого, но какого-то сморщенного человечка. Он редко появлялся на нашей улице, но когда все же появлялся, то игравшие там дети подбирали с земли все, что ни попадется, и бросали в странноватого прохожего. Он, закрыв голову руками, смешно ковыляя, убегал.

Я не понимал, зачем такое творят мои товарищи. Когда я их об этом спросил, они несколько смутились и замолчали, но я видел, что никому из них не было ни стыдно, ни жалко человечка. Лишь один произнес: «А чего он здесь ходит». Как ни странно, но



ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

мне тоже не было жалко его. Просто я остро ощущал несправедливость: толпа — на одного.

Как-то с дядей Ваней мы сидели на завалинке, он рассказывал про войну — спокойно, размеренно, без надрыва и трагизма, без штрафбатов и заградотрядов, рассказывал так, как о работе на лесозаготовках. Но вдруг я прервал его: «Дядя Вань, а почему мальчишки бьют этого старика с Подгорной?» — «Не знаю». — «А он что, дурачок?» Дядя Ваня хмыкнул: «Умнее умного. Как колхоз образовался, он вечно в каких-то полуначальниках ходил, хотя почти неграмотный. И ни один председатель его не тронул, хотя и толковые были. Да и в войну как-то здесь отсиделся...»

Возвращаясь на следующее лето в деревню, я интересовался всем, что произошло без меня. Какой мальчишка с какой девочкой задружил, какие улицы между собой воюют, кто ушел в армию... И вот мне сообщают, что умер тот человек. Как? Шел околицей, опасаясь, что на улице его побьют камнями, и нарвался то ли на бешеную лису, то ли на бешеную собаку. Хотя приехавшие из райцентра врачи что-то ему и вкололи, но в больницу брать не стали. И он почти сутки лежал, спрятавшись под кроватью, и выл. Рассказывали об этом без какого-либо сожаления и дети, и взрослые.

Образ сморщенного старичка время от времени возникал в моей памяти, но судьба его не теребила душу, лишь свербил вопрос: почему с ним так поступали?

И только через много лет я узнал его историю. Он был одним из активнейших участников коллективизации — не из идейных, не по обязательке, как партработники и сотрудники НКВД, а добровольным. И старался науськать коллективизаторов на тех, кто когда-либо его обидел. Затем, когда в соседнем селе рушили храм, он то ли сорвал крест с купола, то ли сбросил колокола — опять был самым активным.

В течение следующих семи лет почти все, рушившие храм, умерли не своей смертью. Одного только Господь помиловал, самого молодого и несмышленного, он погиб на фронте. А активист наш фронта избежал и прожил всю жизнь один, потому что никто не хотел выдавать за него своих дочерей, хотя и жил он справно, и в начальничках ходил. Даже после войны, когда больше половины баб остались вдовами и с детьми на руках, — никто за него не пошел.

Я поинтересовался у не сгинувших от водки ровесников, что детьми побивали человека камнями, знали ли они эту историю? Оказывается, никто не знал. Взрослые не рассказывали.

Случилось это тогда, когда по нашей великой стране как поветрие прокатилось чье-то авторитетное мнение: что волки — санитары леса и забивают только больных и с плохой наследственностью животных.

Деревня, из которой родом мой отец, вытянулась вдоль реки под самым лесом, что на взгорке. От леса к реке спускаются многочисленные овраги, поросшие кустарником. Да и с противоположной стороны, от дальнего леса тянутся балки, заросшие черемухой. Места самые волчьи: есть где спрятаться, как незаметно уйти в лес, да и деревня с лугами, где пасутся стада и отары, — рядом. Вот и стали волки пошаливать. Как рассказывали старожилы, с войны такого не было, а тогда волки рванули за Волгу с самой прифронтовой полосы.

Тетя Нина работала дояркой и каждое утро и вечер ходила километра за полтора от деревни на ферму. Вот и в то утро, когда собиралась она на раннюю дойку, муж лежал на печи и стонал, выпрашивая хоть полстаканчика браги, — накануне с соседом они крепко перебрали. Но Нина твердо решила, что нальет ему только тогда, когда вернется с работы.

До рассвета еще очень далеко, но от месяца, обильных звезд и чистейшего снега было светло. Нина шла по накатанному санями проселку к ферме и слышала за собой скрипуче-хрустящие и звонкие на морозе удары о снег, а когда послышалось глухое, полустонущее дыхание, то поняла, что это опять соседский пес Спартак, которого она иногда подкармливала тем, что оставалось после еды. Тот обычно забегал вперед, садился, задира морду и вилял хвостом. Но на этот раз он неожиданно прыгнул, оперевшись передними лапами в спину, да так, что чуть не свалил. Но Нина, женщина дородная, устояла и решила с разворота хлестнуть его по наглой морде. Так и сделала. Но угодила рукой прямо в пасть, машинально сжав там пальцы в кулак так, что перехватила язык нападавшего. А у того инстинктивно сжались челюсти прямо на крепком запястье доярки. И только тут Нина увидела, что перед ней волк. Испуг пришел одновременно с желанием вырваться. Она дернулась, но не смогла разжать пальцы, поскольку волк перехватил руку. Дернулся и волк, но тоже безуспешно. Сколько длилась эта борьба — неизвестно. Но, по рассказам моей тети, долго. Первым стал обессиливать волк. Наверное, был очень голодным, потому что сытыми они на людей не нападают. Да и был он, скорее всего, какой-то изгой-одиночка. Редко кто встречал волков вне стаи.

Нина невдалеке заприметила какой-то сук с небольшим комелем на конце, дотянулась до него и стала бить зверя по башке. Оглушила.

Муж ее Петр чуть с печи не упал, когда увидел, как жена через порог затаскивает волка. Из самого нутра Петра вырвалось дикое сквернословие, суть которого заключалась в том, что жена сбрендилла, а еще — почти мистическое удивление, как это она волка одолела. И тут только сильная духом и телом женщина заревела и стала все объяснять и показывать, что рука ее в волчьей пасти: «Сделай что-нибудь!» Петр слез с печи и пустым огромным чугуном так ударил волка по голове, что забрызгал кровью себя и жену. Та еще пуще завывла. «Не реви. Где «домашняя»? — Там», — указала Нина на сундук. Петр достал бутылку самогона, налил полный стакан, выпил, хрустнув соленым огурцом. Приподнял волка и потащил его вместе с женой во двор.

Там положил зверя на огромный пень, посадил несчастную рядом и, сказав «не шевелись!», рубанул волка по шее. С одного раза не получилось.

Но вот обезглавленное тело сползло с пня. Петр опять попытался разжать челюсти. Бесполезно. В крови было всё: очумевшая супружеская пара, пень, снег во дворе...

На крики и шум стали собираться соседи. Мужики удивленно переговаривались, женщины крестились, баба Марфа упала без чувств. Только дети, шедшие в школу, радовались. Живший через дом ветеринар попытался всех успокоить, и сказал, что надо вызывать врачей.

Пока он дошел до правления колхоза, пока дозвонился, пока объяснил, что всё это не злая и глупая шутка, пока врачи на санях доехали до деревни (райцентр всего в девяти километрах), во дворе моих дальних родственников творилось что-то неопишное. Возле вынесенной из дома широкой лавки стояли табуреты, а на лавке — бутылки «домашней», сало, солёности, хлеб. Громко разговаривали и пили все, даже непьющая Нина с мертвой волчьей головой на руке. Кто-то предложил взять двуручную пилу и распилить волчью голову, чтобы освободить хозяйку. «Нет! — закричала та. — До врачей не дамся». Самыми довольными были Петр с соседом, которые вчера перекушали горькой.

Врачи первым делом сделали уколы от бешенства Нине и ее мужу. А потом указали на лежавшую рядом двуручку. Мужики, меняясь, с удовольствием и большим трудом отпилили волчьи челюсти. Нине обработали руку, перевязали и сказали, чтобы она завтра приехала в райбольницу на осмотр и новую перевязку.

«А что с волком-то будем делать?» — спросил Петин сосед. — «Пал Васильичу надо отдать», — посоветовал ветеринар. — «Да-а, он мне из него такую шапку сделал...» — Петр довольно улыбался. А Нина все охала и пыталась рассказать соседским бабам, как все случилось.

...Этим же вечером мужики собрали по селу все ружья, взяли рогатины да вилы и пошли очищать лес от его санитаров.

ВОЛЧЬЯ ЯМА

Эту историю мне поведал то ли отец, то ли кто-то из родственников, не помню, ведь в нашей родне по мужской линии почти все шли в тюрьму, как в армию, только в отличие от армии, срока были не определенные. Но в армию-то знали, во имя чего идут, а т у д а иногда даже не догадывались — за что.

...Где-то за Уралом, на «строгаче», трое эзков совершили побег. Пробирались тайгой на юго-восток. Всех подробностей не знаю, но по пути двое от бессилья и, может, от безволя пали. А один все брел, стараясь это делать в утренние или вечерние сумерки. Еще оставались сухари, попадались ягоды и даже орехи. И вот однажды, когда уже совсем смеркалось, он заприметил сквозь заросли полянку и решил переночевать там. Вышел на опушку и... провалился. Яма. А в ней — волки. Человек прижался спиной к земляной стенке и нащупал в кармане заточку.

Это только в песнях Высоцкого да стихах Солоухина волки выступают благородными и гонимыми существами. На самом деле человек этот знал, насколько они безжалостны и действуют только стаей — против кого-то одного, будь то лось или человек.

Опытный эзк ждал нападения и самого худшего конца, но, не привыкший просто так сдаваться, решил побороться. Истощенные волки только смотрели на него, иногда подергивая ноздрями. Стемнело. Человек присел. Волки сгрудились в другом конце ямы. Лишь красновато поблескивали их глаза, да доносился от них кислотоватый, почти потусторонний запах.

Утром волки стали подвывать. Человек огляделся: яма не такая уж и глубокая, а земля плотная и глинистая. И он стал заточкой выкапывать ступени — углубления. Получилось. Выбрался. Огляделся. Полежал на траве, закинув голову к небу. Пошел к засохшей березе-подростку, повалил ее, обломал ненужные ветки, укоротил крепкие сучья и комелем вниз опустил в яму. И сам — туда же. «Не бойтесь, не бойтесь — сейчас вытащу», — почти ласково шептал он волкам. Подо-

шел к одному, потрепал по загривку и, обняв, подхватил под мышку. Волк оказался не таким и тяжелым. При помощи ступенек и торчащих вверх сучьев березы вытащил волка. Затем второго. Третьего.

Почти обессилевший снова лег на траву и долго смотрел в небо. Волки лежали рядом. Он соображал, что если есть волчья яма, значит, где-то недалеко есть и жильё. Сел, осмотрелся. И понял, куда надо идти. Встал и пошел в сторону от восходившего солнца. Длинная тень тянулась перед ним по полюне. Остановился, оглянулся. Волки сидели и смотрели вслед. Потом развернулись и вереницей один за другим заковыляли на восток, за старым вожаком.

ВОИН ЕВГЕНИЙ

23 мая 1996 года под пытками, истерзанный чеченским пленом солдат Евгений Родионов отказался снять с себя натальный крест и променять Веру и Родину на жизнь. Обычный русский юноша из подмосковного поселка, только физически очень крепкий и глубоко воцерковленный. На службе ездил в город за несколько километров.

В плену Евгений с товарищами провел сто дней. И день их казни совпал с днем рождения Евгения — 19-летием. А еще это был день Вознесения Господня. Солдату-пограничнику перерезали горло, а затем отрубили голову.

Любовь Родионовна, мать погибшего, вынуждена была общаться с истязателями и убийцами сына. Она заложила квартиру, чтобы выкупить тело рожденного ею. И через несколько месяцев мать везла из Чечни голову сына в дорожной сумке. Куда там Стендалю с его «красным и черным»! У нас все проще и суровее.

В течение последующих трех лет никто из убийц русского мученика не избежал смерти. Брат главаря был убит ингушами на том самом месте, где с товарищами был пленен пограничник Родионов. Сам главарь — застрелен во внутренней разборке. Остальных положили наши ребята. Лишь один был пленен и получил пожизненное заключение. Но на примере Радуева мы знаем, чем кончаются такие пожизненные...

ГОЛУБИ

Я всегда очень хорошо относился к голубям. Мы с родителями часто подкармливали их на площади возле барака. В школе нас учили, что это птица Мира. А сколько их было возле Петропавловской церкви и Покровского собора!

Много позже я узнал, что голубь — символ Духа Святого и во время крещения на Иордане Дух снизошел на Христа в виде голубя. Я стал внимательнее наблюдать за голубями. И действительно, в кого же Духу воплощаться — не в ворон же и сорок.

...У моего друга умерла мать. И только приехав на кладбище, я узнал, что он собирается ее не хоронить, а кремировать. Православную женщину верующий сын. Но поделаться я уже ничего не мог. Вместе с его мамой сожгли еще шесть покойников. Родственники стали покидать крематорий. Дым из трубы еще тянулся вверх, а вокруг него кружились семь голубей.

Через несколько лет в праздник Крещения Господня, когда в селе Высоком в лютый мороз в колодце освящали воду, вдруг с бездонного звездного неба как бы пала стая голубей, хотя до этого их никто в округе не замечал. И они кружили над нашими головами во время совершения таинства.

* * *

На кладбище Александро-Невской Лавры я пробирался по тропинке среди сугробов к могиле Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Передо мной летел голубь, как бы указывая дорогу. Вот и крест. И я стал разговаривать с Владыкой вслух, как с живым, а в сердце моем слышал его голос. Голубь сидел на кресте, потом взлетел, покружился, присел на меня и — снова на крест. А голос Владыки все звучал в моем сердце ответами на вопросы.

СВЕРЧКИ

Когда-то я очень не хотел утрачивать молодость, становиться зрелым и все понимать в этом мире, боялся старости. Боялся смерти. Сейчас все по-другому: смерти не боюсь, зная, что это этап переходный, боюсь Страшного Суда. Зрелость пришла и дала столько новых ощущений, о каких и не подозревал раньше. На рыбалке я научился смотреть не только на поплавок, но и видеть пролетающих вдали журавлей, долго наблюдать за стоящей в воде на одной ноге цаплей, которая резко опускает клюв и выхватывает переливающуюся на солнце рыбку, как бы нехотя и тяжело взмахивает крыльями и улетает за дальние заросли чакана. Во время даже удачной грибной охоты я могу присесть на пенек и рассматривать замершую в невысокой траве ящерицу, потом легонько спугнуть ее и запомнить, где же она на этот раз спрячется.

У нас почти всегда был сад, и я любил сидеть и читать под цветущими вишнями и яблонями. Дурманящий запах весны смешивался с запахом леса, в котором скрывался разбойник Дубровский. Сад цвел. Но лишь совсем недавно я узнал, как он расцветает. Сажу на крыльчке и вдруг вижу, как набухший розоватый бутон ранетки, как бы лопаясь, раскрывается. К нему тут же подлетает откуда-то взявшаяся пчела и садится на новорожденный цветок. И так — второй бутон, третий, пятнадцатый, а к ним подлетают мушки, бабочки, осы... А я жил сорок с лишним лет и этого не замечал.

Я всю жизнь слышал треск и говор сверчков: и в деревенских домах, и в бараке, где мы жили в моем раннем детстве, и в сегодняшнем полудеревянном-полукирпичном доме с дощатыми лестницами. Слышать-то сверчков я слышал, а вот видеть — никогда. И вот года три назад сажу я на кухне и слышу, как где-то у раковины под тумбой запел сверчок. Я отодвинул чайную чашку и прислушался. Потом накрошил возле тумбы хлеб, в чайное блюдечко налил воды и стал ждать... Минут через пять появилось темно-коричневое существо, похожее одновременно на кузнечика и таракана. Издало свой характерный звук, на который выполз совершенно черный сверчок гораздо крупнее. Я долго наблюдал, как они ели, пили, и радовался тому, что дожил до того времени, когда стал видеть, как распускаются яблоневые бутоны, выползают из своих потаенных жилищ сверчки. Радовался тому, что начинаю все больше постигать жизнь не через книги, науки и искусство, а непосредственно через саму жизнь.

А старость... Наверняка есть и в старости неповторимые радости. Давным-давно я спросил своего дядю Гришу: когда он был самым счастливым? И он ответил: «Сейчас». Ему было глубоко за семьдесят. Мы сидели на скамеечке, и он смотрел куда-то за огород, за соседние дома, то ли на виднеющуюся Волгу и Сокольи горы за ней, то ли еще куда-то дальше и выше.

СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА УКРАИНСТВА

Пришло время ответить на очень важный вопрос: с кем мы имеем дело в лице «украинцев»? И в зависимости от его решения сформулировать ответы на следующие: какие отношения строить с их сообществом? какую политику проводить в отношении провозглашенного ими «государства»?.. А для начала попытаемся определить: к какой группе исторических явлений следует отнести общность «украинцев», ибо определение *сепаратисты* (верное по существу) далеко не исчерпывает (и не объясняет) всех ее особенностей и проявлений...

Многочисленные «загадки» и странности так называемой «украинской истории», усиленно штампующейся сегодня самостийниками, становятся легко разрешимыми и объяснимыми, как только мы отбросим навязываемую нам точку зрения, будто мы имеем дело с историей *этноса* («украинского»), а станем, напротив, интерпретировать всю сумму фактов, связанных с «Украиной» и «украинцами» как историю **этнической химеры**. Именно последнее понятие является центральным и основным для правильного понимания и объяснения реальной истории «украинцев» в России. Коротко говоря, **история сообще-**



ства «украинцев» как раз и представляет историю возникновения, становления и развития этнической химеры...

В учении Л.Н. Гумилева о закономерностях развития этносов *этническая химера* — это результат противостояния несовместимых этносов разных цивилизационных систем. Рождение *украинской химеры* как раз и произошло в зоне активного противоборства европейской (католической) и православной (русской) цивилизаций. Первая была представлена Польшей, вторая — Россией. Длительная польская оккупация Малороссии имела своим следствием вынужденное совмещение культурно-психологических доминант поляков и Русских, давших не просто отрицательную комплиментарность (безотчетную антипатию на популяционном уровне), но и породивших многовековой конфликт, сопровождавшийся не только военным, но и культурным противостоянием. *Украинская химера* и являет собой уродливое детище этого непримиримого русско-польского антагонизма. Ведь в переносном смысле химера — это еще и сочетание элементов, органически несоединимых. Так мифологическая Химера представляла собой уродливое чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона... В биологии химера — организм, состоящий из наследственно различных клеток или тканей. Биологическая химера возникает в результате мутаций или нарушений клеточного деления. Может быть получена и искусственно. Но во всех случаях химера — явление патологическое... Из разряда *патологии* и этническая химера, представляющая собой общность денационализированных, выпавших из родных этносов индивидуумов.

В этом смысле показателен процесс украинского «этногенеза» в Галиции, регионе, которому сами «украинцы» присвоили почетное звание «украинского Пьемонта», т.е. главного духовного и идеологического центра украинства. Какие же факторы содействовали становлению «украинской нации» в этой польской провинции империи Габсбургов?..

В нашем распоряжении имеются многочисленные свидетельства непосредственных очевидцев данного процесса. Вот одно из них, принадлежащее галицкому общественному деятелю И.И. Тереху (1880—1942): «*До конца XIX столетия термины “украинец, украинский” были употребляемы только кучкой украинствующих галицко-русских интеллигентов. Народ не имел о них никакого понятия, зная лишь тысячелетние названия — Русь, русский, русин, землю свою называл русской и язык свой — русским. Официально слово “русский” писалось с одним “с”, для того чтобы отличить его от правильного на-*

чертания с двумя “с”, употребляемого в России. Нового правописания (без букв — Ъ, Ы, Ъ) в галицко-русском наречии до этого времени не было. Все журналы, газеты и книги, даже украинствующих, печатались “по-русски” (галицким наречием), старым правописанием. На ряде кафедр Львовского университета преподавание велось на “русском языке”, гимназии назывались “русскими”, в них преподавали “русскую историю” и “русский язык”, читали “русскую литературу”... Обратим внимание: и в Галичине «украинцы» численно даже в конце XIX века составляли все ту же пресловутую немногочисленную «кучку». И только в 1890 г. для них произошло прямо-таки эпохальное событие: «Два галицко-русских депутата галицкого сейма — Ю. Романчук и А. Вахнянин — объявили с сеймовой трибуны “от имени” представляемого ими населения Галичины, что народ, населяющий ее, — не русский, а особый, украинский». Это, разумеется, не было их частной инициативой, но и «народ» здесь ни при чем: «Поляки и немцы не раз уже и раньше пытались найти русских депутатов людей, которые провозгласили бы галичан особым, отдельным от русского, народом, но не находили никого, кто решился бы на такую очевидную бессмыслицу»... И вот, наконец, нашли. И Романчук и Вахнянин являлись преподавателями «русской гимназии» во Львове, т.е. госслужащими, так что австрийской власти не составило особого труда «договориться» с ними...

Учителя австрийских гимназий и стали первым из ударных отрядов начавшейся украинизации Галичины. Второй составили униатские священники: «С назначением Шептицкого (по национальности поляка. — С.Р.) главой униатской церкви прием в духовные семинарии юнойшей русских убежденный прекращается. Из этих семинарий выходят священниками заядлые политики-фанатики, которых народ назвал “попиками”». Приходя в семинарию Русскими, «попики» выходили из нее убежденными «украинцами». Помимо интенсивной идеологической накачки в самой семинарии, ее выпускников принуждали подписывать следующее письменное обязательство: «Заявляю, что отрекаюсь от русской народности, что отныне не буду называть себя русским, лишь украинцем и только украинцем...» Священникам, не подписавшим такого документа, не давали прихода. Впрочем, и те, кто приход получал, могли его лишиться за недостаточно активное исполнение взятой на себя роли «украинца». Поэтому «попики» старались вовсе: «С церковного амвона они, делая свое каиново дело, внушают народу новую украинскую идею, всячески стараются снискать для нее сторонников и сеют вражду в деревне. Народ проти-

вится, просит епископов сместить их, бойкотирует богослужения, но епископы молчат, депутаты не принимают, а на протяжении не отвечают (бдительный контроль поляка Шептицкого выбора не оставлял. — С.Р.). Учитель и “попик” малопомалу делают свое дело: часть молодежи переходит на их сторону, и в деревне вспыхивает открытая вражда и доходит до схваток, иногда кровопролитных. В одних и тех же семьях одни дети остаются русскими, другие считают себя “украинцами”. Смута и вражда проникают не только в деревню, но и в отдельные хаты. Малосознательных жителей деревни “попики” постепенно прибирают к рукам. Начинается вражда и борьба между соседними деревнями (одни из них, как и прежде, русские, другие — уже “украинские”. — С.Р.): одни другим разбивают народные собрания и торжества, уничтожают народное имущество (народные дома, памятники — среди них памятник Пушкину в деревне Заболотовцы). Массовые кровопролитные схватки и убийства учащаются. Церковные и светские власти на стороне воинствующих “попиков”. Русские деревни не находят нигде помощи. Чтобы избавиться от “попиков”, многие из униатства возвращаются в православие и призывают православных священников. Но православные богослужения разгоняются жандармами, православные священники арестовываются, и им предъявляется обвинение в государственной измене... Россия и дальше молчит. Дескать, не ее дело вмешиваться во внутренние дела другого государства...» Молчание России еще больше развязывает руки австрийским властям, политика которых по отношению к Русским начинает обретать черты настоящего геноцида, и в 1912 г. П.Е. Казанский отмечает конкретные факты этого геноцида: «Для русских людей создано в Австро-Венгрии положение вне закона. Более четырех миллионов русских задыхается в тяжкой еврейско-польско-немецкой неволе... По отношению к ним австрийское управление Галиции ведет политику, которую можно назвать только истребительной... При этом все средства считаются хорошими: насилие и обман, духовное растление народа и экономическое разорение, фальшивые документы и свидетели, подлоги, подкупы и доносы, официальная ложь и подделка общественного мнения... Гонения на русских особенно усилились с 80-х годов (XIX века — С.Р.), с начала же 90-х ряды гонителей русского дела стала также группа русских изменников, так называемых мазепинцев. Благодаря именно последним гонения на русских приняли за последние 5-7 лет совершенно невозможный вид...»

Своего апогея эти гонения достигли в 1914—1916 гг., когда десятки тысяч русских галичан по доносам «украинцев» были

убиты без суда и следствия или зверски замучены в австрийских концлагерях. Терезин и Талергоф стали кульминацией украинского «нациостроительства» в Галиции, но и этот чудовищный по своему размаху и зверству террор так и не смог принудить Русских к массовому отступничеству и переходу в ряды «украинцев». В 1931 году в Польше, в состав которой входила тогда Галиция, была произведена перепись населения. Ее данные приводит в своей книге А.Дикий. На вопрос о национальности 1млн. 196 тыс. 855 галичан ответили, что они — русские, а 1 млн. 675 тыс. 870 назвали себя «украинцами». При этом, как подчеркивает А.Дикий, следует иметь в виду, что польская власть всячески поддерживала «украинцев» в их борьбе против Русских, благодаря чему «украинские сепаратисты имели в своих руках все ключевые позиции в общественной и культурной жизни непольского населения Галиции». И, тем не менее, почти половина галичан открыто исповедовала свою русскую национальность. Еще более красноречивы данные по Закарпатью, которое в то время входило в состав Чехословакии. Когда в 1937 году встал вопрос о языке преподавания в школах края, проведенный плебисцит дал следующие результаты: за преподавание на русском языке — 86%, на украинском — 14%. В последующем лишь беспрецедентный по своему размаху и зверству бандеровский террор да политика тотальной украинизации, проводимая в этих регионах Советской властью, предопределили окончательное превращение их Русского населения в «украинское» ...

Вот какие факторы обусловили появление на Русской земле *украинской химеры*. Террор и насилие, обман и ложь, духовное рабство и циничный подкуп, — именно такими способами производили в Галиции поляки и немцы искусственный отбор будущих «украинцев». Понятно, что при этом отбирались худшие, готовые за чечевичную похлебку в виде учительской должности или места в семинарской бурсе продать и свою веру, и свой народ. И совсем не случайно украинство в Галиции с самого начала явилось как идеология лакеев, идеология польских и немецких холоуев, выразившая их сокровенные представления о мире и своей роли в нем. А роль эта была одна — прислуживать. Русские войска, вступившие в Галицию в 1914 г., были поражены униженностью и забитостью ее населения. «С удивлением и недоумением, — пишет А.Дикий, — смотрели офицеры и солдаты российской армии, как галицкие крестьяне целовали руки не только немногим не бежавшим помещикам или их управля-

ющим, но даже и лавочникам-евреям, так убого было их хозяйство по сравнению с хозяйством крестьян российской Украины»... Из этой социальной и моральной приниженности и рождалось украинство, идеология нравственного дна, подполья, в котором важнейшие человеческие ценности и моральные постулаты просто не действовали...

А предопределила эту этническую и нравственную деградацию прежде всего духовная мутация, наиболее очевидным проявлением которой явилась церковная уния. Как бы православие, как бы католицизм, а в результате — нежизнеспособный духовный гибрид, представляющий сочетание элементов, органически несоединимых. «Нэдовирки» — так в Малороссии всегда называли униатов, и это народное определение верно и точно по существу. Униатство исказило и деформировало духовную сущность русских галичан, ослабив их сопротивление культурному и духовному давлению иноземных оккупантов. Сыграло свою роль и кровосмешение. «Из всех частей старого киевского государства, — отмечал Н.И. Ульянов, — Галицкое княжество раньше и прочнее других подпало под иноземную власть. И добрых 500 лет пребывало под Польшей. За эти 500 лет ее русская природа подверглась величайшим насилиям и испытаниям. Ее колонизовали немецкими, мадьярскими, польскими и иными нерусскими выходцами... с тех пор в жилах галичан течет немало чужой крови».

Так вот и получилось, что в Галиции 90-х годов XIX века в **одних и тех же семьях одни дети оставались русскими, другие стали считать себя «украинцами»...** Ни одна нация в мире не знала подобного «этногенеза». Совершенно необъяснимо, каким образом от русских по национальности родителей могли рождаться дети **разных национальностей?**.. Такое просто невозможно!.. Впрочем, невозможно в нормальных условиях. Но у нас-то речь идет о патологии! И здесь уже невозможное становится возможным, не переставая при этом оставаться все той же **патологией** не только этнической, но и духовной...

Вот этот-то совершенно патологический и уродливый характер «украинского этногенеза» и призвана замаскировать сочиняемая самостийниками «история».

Весьма показательны в этом плане попытки скрыть правду о преступлениях «украинцев», повлекших за собой массовое убийство русских галичан в 1914—1916 гг. и заключение десятков тысяч из них в концлагеря Терезин и Талергоф. При чем эти попытки приобрели особенно активный характер после того, как оставшиеся в живых жертвы этого геноцида

взялись за увековечение памяти безвинных мучеников. Чтобы не допустить этого, «украинцы» не брезговали прибегать к открытому насилию и физическому террору. По всей Галиции ими была развернута ожесточенная травля тех, кто пытался раскрыть правду об этом чудовищном преступлении, и открыто назвать его подлинных организаторов. В предисловии к четвертому выпуску «Талергофского альманаха» (ноябрь 1931 г.) отмечалось множество фактов этой травли. Так, Перемышльский епископ-униат Иосафат Коцьоловский, рьяный украинофил, «в своей епархии запретил духовенству участвовать в поминальных богослужениях по талергофцам и в талергофских торжествах». В двух других епархиях (Львовской и Станиславовской) священники-украинофилы также не разрешали служить в церквях панихиды, а «подстрекаемая ими толпа мазепинцев не допускала русских к устройству торжественных шествий с пропаянным крестом на кладбище, насильственно, диким нападением расстраивала и разбивала такое шествие, не давала возможности посвятить этот крест, а в некоторых селах уже было вкопанный талергофский крест ночью ли, днем ли откапывала, ломала и выбрасывала». Таким образом, подчеркивали авторы предисловия, «наши мазепинцы преследуют своей лютой и слепой ненавистью русских талергофцев и в могиле. Злодейски и страшно изменив и родине, и родному народу, сами они... не могут ни простить, ни забыть этим невинным жертвам своего мазепинского доноительства, их верности родине-Руси и родному народу, их величия, героизма и непобедимости в мучениях и смерти. Чуют в них себе осудительный приговор и мстят им за это даже за гробом, тревожат их вечный покой, кощунственно посягают на их священную память».

Впрочем, убедившись, что Русских запугать не удастся, «украинцы» прибегли к иному средству — омерзительной и циничной лжи, начав утверждать, что это именно они — жертвы австрийско-венгерского террора. Узник Талергофа В.Р. Ваврик (1889—1970) в этой связи писал: «Украинские хитрецы и фальсификаторы истории пускают теперь в народ всякие блахманы, будто в Талергофе мучились “украинцы”». Подчеркнув, что случаи попадания последних в австрийские концлагеря носили единичный и случайный характер, он далее отмечал, что даже те из «украинцев», кто «в военном замешательстве, по ошибке или доносам своих личных противников попали в Талергоф, очень скоро, благодаря украинской комиссии в Граце во главе с д-ром Иваном Ганкевичем, получили свободу». И хотя об этом знали все и еще были живы тысячи очевидцев произошедшего, «украинцы» неус-

танно и повсюду насаждали наспех сфабрикованную ими ложь о талергофской трагедии. Уже составитель первого выпуска «Талергофского альманаха» Ю.А. Яворский разоблачал это воистину сатанинское стремление преступников перепллотиться в «мучеников» и «жертв» собственных преступлений, когда «украинский дегенерат» с «цинической наглостью хама пытается вдруг утверждать, что это он сам пострадал так жестоко от лютой австрийской грозы, что это ему именно принадлежит этот скорбный, мученический венец». Выражая уверенность в неизбежности сурового возмездия за совершенные «украинцами» преступления, Ю.А. Яворский подчеркивал: «Этот трюк не спасет их перед суровым судом нашего народа и судом беспристрастной истории. Слишком много горя, кровавого горя испытало русское Прикарпатье по их вине и настоянию».

Однако в деле сокрытия истины о подлинных организаторах геноцида Русского народа в Галиции и Закарпатье, «украинцы» нашли немало союзников, в их числе коммунистов. Ложь о «страданиях» «украинцев» в Терезине и Талергофе была подхвачена советской историографией. Причем украинская версия утвердилась в ней сразу и навсегда. Так, в журнале «Советская наука» (1940 №6) некий профессор Гагарин А. П. в своем очерке «Из истории идеологической борьбы в Западной Украине» об этих событиях писал следующее: «Наиболее сильные преследования русского и украинского (?) населения начались с момента империалистической войны... Расправе и разгрому подверглись украинские (?) и русские организации во Львове, Перемышле и других городах. Особенно неистовствовал террор в западной части Украины: здесь насчитывались тысячи арестованных».

В последующие годы Русские вообще исчезли из талергофской мартирологии, их место заняли исключительно... «украинцы»! Например, в брошюре С. Стефанюка «Воззеднання всіх українських земель в єдиній українській державі» (Київ: «Держполітвидав», 1954) писалось: «Австро-венгерские жандармы и войска применяли жестокие репрессии против населения западноукраинских земель за его симпатии к солдатам русской армии. Тысячи интеллигентов, крестьян и рабочих были арестованы в первые же дни войны и вывезены в глубь Австрии, где их интернировали в лагеря Терезин, Талергоф, Тешельдорф и другие... Тысячи украинцев (?) погибли в лагерях от голода, холода и болезней»... А «Украинская советская энциклопедия» в 1984 г. сообщала: «Число репрессированных в Талергофе достигало 7 тыс. человек. Большинство из них составляли украинцы (?) из Га-

лиции и Буковины, были также представители других национальностей, русские военнопленные». Так прикрывалась заведомо лжи и фальсификации подлинных фактов реальная история появления «украинцев» в Галичине и Закарпатье, и полное исчезновение там Русских. Вероотступничеству, предательству и преступлениям против своего народа посредством этой тотальной лжи был дан вид «украинского возрождения», преступники обрели статус «мучеников» и «жертв», «борцов за национальное освобождение», а жертвы их преступлений обрекались на полное забвение. И хотя сегодня правда о геноциде русских галичан предана общественной огласке (прежде всего, благодаря усилиям М.Б. Смолина и К.Н. Фролова), но до сих пор правда эта так и не усвоена русским национальным сознанием как преступление именно *украинское*, за которое «украинцы» не только до сих пор не покаялись, но правду о котором стараются навсегда сокрыть под спудом.

И это, конечно, не только несправедливо, но и, учитывая нынешнюю ситуацию в Малороссии, опасно, ибо Терезин и Талергоф демонстрируют нам подлинную суть украинства, открыто обнажая не только исповедуемую им ненависть к Русскому народу, но и практическое воплощение этой ненависти в массовом убийстве Русских людей. Поэтому геноцид 1914—1916 гг. в Галичине — не только преступление, но еще и предостережение. Талантливый карпато-русский писатель и поэт Андрей Васильевич Карабелеш в одном из своих писем В.Р. Ваврику писал: *«Я очень рад, что Вы, дорогой Василий Романович, написали о Талергофе. Так мало написано до сих пор об этом пресловутом концлагере, через горнила которого прошло не менее 30 000 русинов в эпоху Первой мировой войны. Надо погромче говорить и писать о том, за что и почему страдали эти люди. Ведь это же было массовое движение русинов, массовое проявление народной воли, его тяготения к Руси, к единокровным братьям, к русскому слову, к русской культуре. Православие и религиозный вопрос вообще были только формальным поводом, а главная суть дела исходила из национального убеждения. Разве можно об этом забывать?!»* Нет, не только нельзя, но и преступно, ибо это массовое убийство Русских, организованное «украинцами», — предупреждение нынешним поколениям Русского народа...

Появлению «украинцев» в Малороссии, в принципе, содействовали те же факторы, что и в Галиции, разве что обошлось (пока!) без массового физического истребления Русских... Если в Галиции вероотступничество выразилось в уни-

атстве, то в Малороссии украинское движение организовывали атеисты. Примечательно, однако, что ненависть к Православию сочеталась у них с вполне лояльным отношением к униатству. Показательна в этом плане позиция В.К. Винниченко. По воспоминаниям члена правительства ЗУНР Лонгина Цегельского, ведшего в декабре 1918 — январе 1919 года переговоры с Директорией об объединении, Винниченко, постоянно жалуясь на «пророссийскую ориентацию» Православной Церкви, однажды заявил: *«Православие упраздним! Это оно нас завело под восточного царя, это оно осуществляло московизацию Украины. Православие будет всегда тяготеть к Москве. Ваша (галицкая) уния хороша для того, чтобы отличаться и от Польши, и от Москвы. Униат по своей природе становится украинцем. Созовем со всей Украины синод епископов, архимандритов и представителей мирян и посоветуем им принять унию, а Шептицкого поставим во главе. Еще и найдем взаимопонимание с Римом, чтобы тот сделал его (Шептицкого) патриархом Украины»*. Как видим, социалист и атеист В.К. Винниченко прекрасно сознавал значение Православия для сохранения Русского национального самосознания и превозносил унию именно за ее денационализирующую роль, которая и содействовала в Галиции превращению Русских в «украинцев». Нынешний киевский режим это тоже понимает и всеми доступными средствами поощряет распространение униатства далеко за пределы Галиции, в пределе — на всю территорию «Украины», параллельно «упраздняя» Православие...

Расовый фактор также сыграл свою роль в Малороссии. А. Царинный даже считал его решающим в деле возникновения сообщества «украинцев». Задавшись вопросом: чем можно объяснить «такой парадокс, что русские ненавидят свою «русскость» как что-то им чуждое и отвратительное?», он отвечал на него следующим образом: *«Мы полагаем, что это странное явление может быть объяснено только из учения о расах. Население Южной России в расовом отношении представляется смешанным. Русское в своей основе, оно впитало в себя кровь целого ряда племен, преимущественно тюркского происхождения. Хазары, печенеги, такие мелкие народцы, как торки, берендеи, ковыцы, известные под общим именем черных клбучков (каратулей), половцы, татары, черкесы — все эти племена преимственно скрещивались с русскими и оставили свой след в физических и психических особенностях южнорусского населения. Наблюдения над смешением рас показывают, что в последующих поколениях, когда скрещивание происходит уже только в пределах одного народа, тем не менее, могут рож-*

даться особи, воспроизводящие в чистом виде предка чужой крови. Знакомясь с деятелями украинского движения, начиная с 1875 года не по книгам, а в живых образах, мы вынесли впечатление, что «украинцы» — это именно особи, уклонившиеся от общерусского типа в сторону воспроизведения предков чужой тюркской крови, стоявших в культурном отношении значительно ниже русской расы. Возьмем, например, таких известных «украинцев», как покойный Орест Иванович Левицкий (Левко Маячанец) или Владимир Николаевич Леонтович (В. Левенко). Наблюдая цвет их смуглой кожи и густо-черных волос, выражение их лица, походку, жесты, речь, вы невольно думали: вот такими, наверное, были тюрки, что поселились под Переяславом-Русским и «ратились» на Русь, или берендеи, основавшие Берендичев, нынешний Бердичев. Среди наблюдавшихся нами «украинцев» такие типы составляли **подавляющее большинство**. А так как известно, что «в низших расах воплощаются духи тоже низших душевных качеств, то понятно, почему «украинцы» отличаются обыкновенно тупостью ума, узостью кругозора, глупым упрямством, крайней нетерпимостью, гайдамацким зверством и нравственной распущенностью».

Подобный набор негативных черт, усугубляемый низким нравственным и интеллектуальным уровнем, и породил в «украинцах» патологическую и совершенно необъяснимую ненависть к своим единоплеменникам, родному языку, своей вере, культуре, традициям. Украинство изначально явило себя как идеология национального самоотрицания: «*Украинцы*» — это особый вид людей. **Родившись русским**, «украинец» не чувствует себя русским, отрицает в самом себе свою «русскость» и злобно ненавидит все русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готтентотом — кем угодно, но только не русским. Слова: **Русь, русский, Россия, российский** — действуют на него, как красный платок на быка. Без пены у рта он не может их слышать. Но особенно раздражают «украинца» старинные, предковские названия: **Малая Русь, Малороссия, малорусский, малороссийский**. Слыша их, он бешено кричит: «Ганьба!» («Позор!» От польск. *hanba*)».

Следствием всех этих факторов и стало то, что в Малороссии в XIX веке (точно так же, как и в Галиции) в одних и тех же русских семьях одни дети оставались Русскими, другие объявляли себя «украинцами». Их, конечно, было намного меньше, чем в Галичине, ибо звание «украинец» в тогдашней России никаких материальных выгод не сулило, но, тем не менее, они были. Показательна в этом плане история известной в Малороссии семьи Шульгиных. В.Я. Шульгин (1822—1877) — видный

Русский историк, профессор Киевского университета, основатель и издатель газеты «Киевлянин», ведшей непримиримую борьбу против нарождающегося украинского сепаратизма. Его сын В.В. Шульгин (1878—1976), монархист и Русский националист, продолжил дело отца. В качестве депутата Государственной Думы и редактора «Киевлянина» он последовательно и неустанно разоблачал подрывную роль украинства, исходящую от него угрозу русскому национальному и государственному единству. Его перу принадлежит замечательная работа на эту тему «Украинствующие и мы». Совсем иначе проявила себя другая ветвь Шульгиных, среди которых наибольшую известность приобрел А.Я. Шульгин, племянник В.В. Шульгина, историк, ассистент Петербургского университета. Его отец, педагог и общественный деятель, братья и сам А.Я. Шульгин полностью отдались украинству, вначале в качестве «украинофилов», а затем уж и вовсе преобразившись в «украинцев». В 1917 году А.Я. Шульгин даже состоял генеральным секретарем Центральной Рады по национальным делам. После краха Центральной Рады украинствовал уже в эмиграции... Так вот и становились родные братья, дядья и племянники представителями разных национальностей.

И, конечно же, в Малороссии, как и в Галиции, в основу украинской идеологии была положена тотальная, злонамеренная ложь, формировавшая у тех, кто в нее верил, совершенно искаженное и уродливое представление как о прошлом, так и настоящем своего народа и страны.

После 1917 года эту ложь, активно насаждаемую в Малороссии «украинцами», всемерно поддержали коммунисты. Содержащийся в украинстве разрушительный заряд национального самоотрицания весьма пригодился им в деле уничтожения исторической России, а в устроенной на ее обломках Советской империи коммунисты на практике реализовали самые смелые украинские мечты. Так что честь окончательного формирования «украинской нации» и здесь всецело принадлежит коммунистам. Именно Коммунистическая партия и выполнила роль той самой «повивальной бабки», участие которой в рождении нового «народа» в Малороссии имело решающее значение.

Вот так путем подлости и обмана, насилия и террора, продажности и нравственного падения сформировалось в России сообщество «украинцев». Этот-то подлинный, реальный процесс возникновения «украинской нации» и составляет самую большую **тайну** самостийничества. **Тайну**, которую «украинцы» пытаются сокрыть непроходимыми завалами

совершенно чудовишной и неправдоподобной лжи, к сегодняшнему дню приобретшей уже совершенно шизоидный характер. Стоит лишь поверхностным взглядом окинуть «концепции» так называемых «украинских историков», чтобы убедиться в верности подобного вывода. Все создаваемые ими «теории» базируются не на реальных исторических событиях, а на совершенно произвольных и абсурдных допущениях, которые, кочуя из одной украинской книги в другую, этим многократным, частым повторением-мельтешением и обретают, наконец, в глазах «украинцев» статус «реальных фактов». Показательно в этом плане творчество историка-эмигранта Ивана Лысяка-Рудницкого (1919—1985). По определению самих «украинцев», этот историк относится к числу «наиболее влиятельных теоретиков в украинской историографии второй половины XX века». Именно ему удалось сформулировать «концепции и проблемы, которые имели особое влияние на украинскую историческую мысль».

Что ж, оценим и мы интеллектуальный уровень «концепций», задающих тон в современной «украинской историографии». Начать хотя бы с пресловутого «украинского Пьемонта» — Галиции. Когда здесь появились «украинцы»? Объясняющая этот феномен «концепция» Лысяка-Рудницкого умещается буквально в нескольких строках: «*В 1890-х годах галицкие украинцы восприняли термин “Украина”, “украинец” как свое национальное имя*... Все. Каких-либо разъяснений того, почему это произошло именно в «1890-х годах» и какое «национальное имя» галичане носили *до того*, как провозгласили себя «украинцами», Лысяк-Рудницкий не дает, ограничившись туманным замечанием: «Такая перемена в названии принесла очевидные неудобства, но она была продиктована... решимостью избежать какого-либо дальнейшего смешивания «Руси» с «Россией»... А «Русь» и «Россия» не одно и то же? Несколько странное утверждение, тем более что автор не утруждает себя разъяснением, в чем заключена разница между этими двумя понятиями. Не объясняет и того, почему «галицкие украинцы» лишь на исходе XIX столетия озаботились тем, чтобы называться «украинцами»?.. Такая вот «концепция»: что ни строка, то и загадка. Впрочем, зная исторические факты, понимаешь, что вся эта словесная казуистика призвана эти подлинные факты подменить произвольными домыслами, уйдя от ответа на простые и логичные вопросы, такой, например: а зачем галичанам, тысячу лет бывшим Русскими («русинами»), вдруг в срочном порядке понадобилось менять «национальное имя», тем более что данная замена принесла «очевидные неудобства»?.. «Украинс-

кий теоретик» по этому поводу ничего не рассказывает. Да и о чем он может рассказать: о Талергофе? или той подлой роли, которую сыграли «украинцы» в организации антирусского террора в Галиции?... Правда о реальных исторических процессах, происходивших в крае в этот период, убийственна для украинства, ибо со всей очевидностью разоблачает уродливый, противоестественный и патологический характер превращения галичан в «украинцев», и, чтобы эту неприятную правду скрыть, на вооружение берется совершенно нелепый и лукавый трюизм.

«Я, — провозглашает Лысяк-Рудницкий, — считаю возможным ретроспективно применять современное национальное название “Украина” к прежним эпохам в жизни страны и народа, когда этот термин еще не существовал или имел иные значения». Теперь, благодаря подобному «переименованию», для украинского «историка» никакие факты не страшны. Он устремляет свой прозорливый взгляд на карту современной «Украины» (в границах коммунистической УССР) и любые события на этой территории, сколь бы отдалены они ни были от нынешних «украинцев», автоматически обретают статус «украинских»! Древние греки и римляне, сарматы и скифы, русские и поляки, евреи и немцы, — кто бы и в какое время ни оказывался на этой «украинской земле», автоматически зачисляется в сонм строителей самостийной и нэзалэжной «нэньки». Особенно активно в этом, конечно, поучаствовали Русские, не зря же на современных украинских деньгах мы видим изображения и св. князя Владимира, и Ярослава Мудрого («Русская правда» которого ныне объявлена «древним сводом украинского права»), и портреты Богдана Хмельницкого, и Григория Сковороды. В «украинские писатели» зачислен Гоголь, в число «украинских художников» — Илько Репин, уже обнаружены «украинские корни» Достоевского... и это только начало! «Украина» и «украинцы» заполняют прошлое Малороссии вплоть до античных времен, и даже дальше, в более древние эпохи, и это жовто-блакитное преобразование прошлого делает несущественным вопрос о том, кем были галичане до того, как в «1890-х годах» решили провозгласить себя «украинцами». Да, «украинцами» и были, кем же еще!..

Столь же «научно» выстраивается история не только Галиции, но и так называемой «Большой Украины». Вначале ставится «проблема». Как «объяснить, — вопрошает в одной из своих работ Лысяк-Рудницкий, — что движение, которое на рубеже (XIX—XX) столетий насчитывало едва ли несколько тысяч осознавших свои цели сторонников, уже около 1905

года стало приобретать массовый характер, а еще через двенадцать лет, в 1917 году, привело к взрыву, породившему более чем тридцатимиллионную нацию?». И в самом деле, как такое можно объяснить? Разве что, действительно, «взрывом», только не в исторической реальности, а в мозгах украинского «теоретика». Ведь и сам Лысяк-Рудницкий признает, что в этот период «украинское движение — или, как его тогда называли, “украинофильство”», хотя и «стремилось нести свои лозунги в массы, но практически его влияние не распространялось за рамки мелких разбросанных кружков». И как же, по мысли «влиятельнейшего украинского теоретика», из этих маловлиятельных «мелких кружков», едва ли охватывавших «несколько тысяч сторонников», явилась на свет «30-миллионная украинская нация»?.. Увы, никакого объяснения этого, поистине, чудесного явления в книге Лысяка-Рудницкого мы не находим. Да и какие могут быть «объяснения» или «доказательства» применительно к чуду! Наверное, поэтому вся авторская «концепция» на сей счет уместается опять в нескольких строках. Прежде всего, поясняет Лысяк-Рудницкий, «это было время, когда незримо для человеческих глаз проклевывались семена, которым суждено было дать всходы в 1917 году!». Здесь ключевое слово — «незримо», ибо как можно описать то, что не видно человеческому глазу? Поэтому и описание процесса появления в Малороссии «украинской нации» числом в 30 миллионов особей отсутствует, а сразу дается готовое утверждение, что «формирование нации (украинской) в основном завершилось в революционные 1917—1920 годы». Но для окружающего мира это, к сожалению, прошло незримо, и лишь украинский взгляд способен улавливать в непроницаемой мгле ушедших эпох невидимый ход «украинской истории»...

Рассмотрев, как за какие-нибудь полтора десятка лет «украинская нация» размножилась в Малороссии от первоначальных «нескольких тысяч» до «30 миллионов» единиц, этот специфический взгляд различает и закономерный итог украинской плодovitости — создание УНР: «Украинская Народная Республика... органично вырастает из традиции национального движения в Приднепровье в XIX и в начале XX веков. Прямая линия ведет от Кирилло-Мефодиевского братства к Центральной Раде». Правда, долго наблюдать за УНР не приходится — слишком быстро она исчезает с исторической арены, поэтому украинский взгляд помимо воли упирается в то, что, по мнению Лысяка-Рудницкого, предопределило это молниеносное исчезновение. И снова этот взгляд различает то, что остается незримым для внешнего мира: «Изо-

лированная и лишенная всякой иностранной помощи Украина должна была вести войны на трех фронтах: против Советской России, против Добровольческой армии Деникина и против Польши». Извечный украинский вопрос: «кто виноват?» — успешно разрешен. При этом, разумеется, любые конкретные данные о том, какие украинские армии составляли эти самые «фронты» против Польши, России и Деникина, куда они наступали и откуда отступали, что завоевывали и что уступали, их численность, потери, фамилии командующих и пр. отсутствуют, ибо и сами эти «армии», и ведущиеся ими многочисленные «войны» с не менее многочисленными «врагами» — не более чем виртуальная реальность, доступная, опять же, исключительно «украинскому взгляду» и совершенно незримая для взгляда обычного.

Влиятельнейший теоретик «украинской мысли» делится новыми видениями. «Фронты» исчезают, а вместе с ними исчезает и УНР, место которой занимает коммунистическая УССР. Только что сформировавшаяся «украинская нация», так и не успев проникнуться «украинской национальной идеологией», активно выступает на стороне интернационалистов-большевиков. Впрочем, в арсенале кумира современных самостийных «историков» для ее решения имеется соответствующая «концепция»: *«Как была установлена советская власть в Украине? Она была навязана Украине силой извне, из Московии. Наднациональная идея мировой революции служила идейным прикрытием для российской интервенции. Советский режим имел в Украине все признаки иноземной оккупации, которую сопровождали грабительские реквизиции, разгром украинской культурно-образовательной жизни и заполнение государственного аппарата чужими элементами, которые либо пришли из Московии, либо сложились из местных русских, русифицированных евреев и украинцев»*. А почему «украинцы» поставлены на последнее место, а не на первое, тем более что речь идет об «Украине»? И совсем не упомянуты 50 тысяч заезжих «галицких украинцев», которые и составили ударный отряд госаппарата УССР? А те «украинцы», которые находились в Москве на высших государственных и партийных должностях, их тоже следует включить в число «иноземных оккупантов»? И как сопоставить проводимую советским режимом в Малороссии политику тотальной украинизации с утверждением о «разгроме украинской культурно-образовательной жизни»?.. Подобных вопросов возникает множество при ознакомлении даже с наиболее разработанными историческими «концепциями» Лысяка-Рудницкого. Но напрасный труд пытаться выудить из них хоть какое-

либо вразумительное объяснение абсолютно произвольных и ничем не подтверждаемых утверждений. В подобные «концепции» можно только «верить», любая попытка их научной проверки сразу же обнажает их полную несостоятельность и лживость.

Вот на такого рода теоретическом базисе и строится «современная украинская историография». Бессмысленно рассуждать о степени ее «научности», ибо целью «украинской истории» является вовсе не реконструкция исторического прошлого, а его тотальная фальсификация. Верить ее убогой и примитивной лжи способны разве что полные невежды или совсем уж откровенные дебилы. На подобный контингент она, собственно, и рассчитана...

Но не только сочиненная самостийниками «история» служит средством для сокрытия подлинного характера «украинского этногенеза» (точнее, мутагенеза). Не последнюю роль в этом деле играет и изобретенный ими суржик — «украинский язык»...

Язык — не просто средство общения, он еще и носитель информации. В нем заложена память о прошлом народа, его духовных корнях, его врагах и святынях. Изменение языка лишает народ исторической памяти, ориентирует во внешнем мире, кардинально меняет его духовную сущность. Вновь изобретенный украинский волапюк и стал главным орудием уничтожения национального самосознания малороссов, превращения их из Русских в «украинцев». Персонаж романа Милана Кундеры «Книга смеха и забвения» суть подобного процесса этнической «перестройки» формулировал следующим образом: *«Первый шаг в ликвидации народа — это стирание памяти. Уничтожьте его книги, его культуру, его историю. Потом попросите кого-нибудь написать новые книги, сфабриковать новую культуру, изобрести новую историю. Вскоре народ начнет забывать, кто он и кем был»*. Внедрение украинского новояза в Малороссии как раз и содействовало решению всех этих задач. Именно легализация «украинского языка» позволила сепаратистам начать говорить об особой «украинской культуре», своей «украинской литературе» и даже отдельной «украинской истории», хотя и составлена она была из фальсифицированных фрагментов русской истории. А наспех штампуемая литература на украинском новоязе должна была не только отрезать малороссов от их исторического прошлого, но и кардинально изменить их мышление, точнее (в пределе), вообще лишить способности мыслить. «Задача новояза сузить горизонты мысли» — так в

оруэлловской Океании выражал цель создания нового языка филолог Сайм. А повсеместное внедрение новояза, по убеждению того же филолога, должно было знаменовать собой настоящий интеллектуальный переворот: *«Атмосфера мышления станет иной. Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правверный не мыслит — не нуждается в мышлении. Правверность — состояние бессознательное».*

Украинство тоже состояние бессознательное. «Украинец» не мыслит — он верит. Верит в любую ложь, сколь бы очевидной и даже чудовищной она ни была. И эта его абсолютная внушаемость возможна лишь потому, что сама способность мыслить у «украинца» сведена к минимуму. Его мышление предельно ограничено. И совсем не случайно за более чем столетнее существование украинского новояза на нем не было создано ни одного выдающегося произведения — художественного, научного или какого-либо другого. Ни одного. Отсюда же так часто отмечаемые в «украинцах» качества, как «тупость ума, узость кругозора, глупое упрямство и крайняя нетерпимость». Мыслить на украинском, конечно, можно, но уровень этого мышления слишком убог и примитивен, чтобы подняться до осмысления достаточно сложных интеллектуальных проблем. Не зря же большинство тех, кто ратует за тотальное внедрение украинского новояза в Малороссии, сами отнюдь не спешат украинизироваться. Современный нам пример — украинский президент Л.Кучма, который за десять лет своего президентства так и не удосужился овладеть «мовою». Фанатики украинства постоянно пеняли ему за то, что дома и везде, где не надо было корчить из себя кондового «украинца», он сразу же переходил на родной русский язык. Точно такое же «двуязычие» демонстрируют Ю.Тимошенко, В.Ющенко и девяносто девять процентов прочих «украинских лидеров». Продолжая думать по-русски, они на публике, с разной степенью натуги, козыряют своим украинским суржигом. На фоне того, что подавляющее большинство граждан «самостийной Украйны» продолжают общаться исключительно на русском языке, подобные лингвистические упражнения ее «государственных деятелей» производят тягостное впечатление, словно попадаешь в дурдом или переносишься из живой реальности в кошмарную иллюзию оруэлловского романа. Население Океании тоже ведь общалось на обычном английском, но в качестве официального языка выступал исключительно новояз. Только на нем дозволялось вести официальную документацию, издавать прессу, публиковать книги. Причем не только современных авторов, но и писателей прошлых эпох. Над решением этой зада-

чи — полной замены старой литературы ее новоязовским вариантом — неустанно трудились тысячи специалистов. Цель, которую они при этом планировали достигнуть, откровенно выразил уже знакомый нам персонаж — филолог Сайм: *«К две тысячи пятидесятому году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность»*.

Совершенно идентичную цель имеет политика тотальной украинизации Малороссии. Окончательное вытеснение русского языка из ее общественной жизни украинским новоязом решает жизненно важную для «украинцев» задачу — полную подмену литературы предшествовавших веков новоязовской. Еще Юзефович в 1876 году обращал внимание на украинский перевод гоголевского «Тараса Бульбы», в котором слова «русская земля, русский» устранены и заменены словами «Украйна, украинская земля, украинец», и в конце концов пророчески провозглашен даже свой будущий «украинский Царь». Точно такой же «перевод» осуществлен в современной «Украине», в которой гоголевская «южная Россия» превращена в «Украину», соответственно «русская природа» и «русская сила» — в «украинскую силу» и «украинскую природу», «русские дворяне» — в «украинских шляхтичей», а «православная Русская земля» — в «православну Землю Козацьку» и т.д.

Но фальсификация художественной литературы прошлого — только часть замысла. Максимально быстрыми темпами осуществляется перевод на украинский новояз и прочих видов литературы. В этом плане показательна деятельность современного украинского «письмэнника», а по совместительству и «историка» Валерия Шевчука. Его обильные труды оценены по достоинству — лауреат Государственной премии им. Т.Шевченко, премии фонда Антоновичей, премии им. Е.Маланюка и т.д. Уже сам перечень «премиальных» фамилий указывает на род деятельности данного «историка». Это в некотором роде «Грушевский нашего времени». Практично рассудив, что в деле становления Украинской Легенды подлинные исторические документы являют собой основное препятствие, он нашел замечательный способ адаптировать их к нуждам украинства, для чего и стал переводить на украинский новояз. При этом постоянно «забывал» упомянуть язык оригинала. Жертвами подобной новации стали произведения выдающегося борца против унии Иоанна Вышенского, философа Сковороды, «Летопись Самуила Велич-

ко», ряд местных монастырских и семейных хроник, а также путевых заметок XVIII века. Часть этого исторического наследия была издана в Киеве еще до революции 1917 года, затем снова переиздана в конце 80-х — начале 90-х годов XX века. При этом язык авторов был сохранен, а он — исключительно русский. Конечно, это не современный русский язык, он сильно испорчен полонизмами, но то, что это именно русский, а не какой-либо другой язык, сомнению не подлежит. Понятно, что в своем подлинном виде малороссийская литература прошедших веков для «украинцев» как бельмо на глазу, ибо рушит сказку про «виковичнэ иснування мовы», а следом и все остальные постулаты сочиненной ими Легенды. Отсюда и титанические усилия по ее переводу на новояз. Теперь, благодаря деятельности В.Шевчука и ему подобных «пысьмэнныкив», людям, далеким от науки, можно смело подсовывать исторические документы в их новоязовском варианте и объявлять: именно так и писали в Малороссии XVI—XVIII вв. Историческая реальность подменена виртуальной, русские — «украинцами», правда — ложью. Цель достигнута. **«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».** Неизменяемое прошлое становится изменяемым. Оно становится пластичным и гибким, приобретая любую необходимую в данный момент форму. Оно становится таким, как «нужно». Прошлое становится «правильным». Оно становится «украинским». Слава Украине! Героям слава!.. **Тайна** происхождения «украинцев» **соблюдена...**

Химера ненавидит свое прошлое, ибо это прошлое напоминает ей о ее истинном происхождении, позорном и постыдном. Здесь все та же смердяковщина. Выросши лакеем, Смердяков стыдился лакейства, стыдился своего «подлого происхождения», и этот стыд, сам по себе постыдный, перерос, наконец, в слепую ненависть ко всем окружающим. Эта ненависть выжгла в его душе все человеческие чувства и превратила в нравственного урода и **отцеубийцу...** Украинская химера тоже **ненавидит** свое прошлое, ненавидит свое «подлое происхождение». И ненавидит все, что об этом прошлом **напоминает**. Именно здесь следует искать подлинные истоки той совершенно патологической **ненависти**, которую испытывают «украинцы» к России и Русским. **Только** к России и Русским, хотя именно в теле Русского этноса и за счет его украинская химера существует, паразитируя на его истории, культуре, материальных достижениях. И при этом несет угрозу самому его существованию. «Соотношение между эт-

носом и химерой, — отмечал Л. Н. Гумилев, — такое же, как между организмом и раковой опухолью. Последняя может разрастаться до вмещающего организма, но не далее, и живет она только за счет вмещающего организма. Подобно опухоли, химерная антисистема... высасывает из этноса или суперэтноса средства для поддержания существования, используя принцип **лжи**». Определив антисистемы этнических химер как «системную целостность людей с **негативным мироощущением**», и рассмотрев различные их проявления в историческом прошлом, Л. Н. Гумилев подчеркивал, что «есть одна черта, роднящая эти системы, — **жизнеотрицание**, выражающееся в том, что **истина** и **ложь** не противопоставляются, а **приравняются друг к другу**». Ложь, таким образом, не только становится равноценной истине, но, в конце концов, водружается на ее место, кардинально подрывая всю систему моральных и нравственных ценностей этноса, в теле которого химера существует.

Для воплощения своих целей этническая химера рождает и соответствующую идеологию. Л. Н. Гумилев характеризовал ее так: «Есть **концепции-вампиры**, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине **дьявольской**. Ни могучий интеллект, ни железная воля, ни чистая совесть людей не могут противостоять этим **фантомам**».

С такой поистине дьявольской целеустремленностью и подтачивает вот уже полтора столетия русский национальный организм химера украинства. В период государственной стабильности России она являлась относительно безвредным явлением, но в кризисные для России периоды, когда государственный организм страны сотрясали военные и политические катаклизмы (первая четверть XX века, Вторая мировая война, разрушение СССР), украинская химера сразу активизировалась, становясь рассадником агрессивной и жестокой антисистемы так называемого «украинского национализма», погубившего не только десятки тысяч русских людей, но и ставшего одним из действенных факторов государственного распада России как в 1917, так и в 1991 годах, а также ее нынешнего тяжелого полузависимого положения... Такова закономерность жизнедеятельности всякой химерной антисистемы, украинской в том числе, — отрицание жизни и бессознательное стремление к смерти и самоуничтожению, ведь конечным пределом ее развития является этническая аннигиляция: «Антисистема подобна популяции бактерий или инфузорий в организме: распространяясь по внутренним органам человека или животного, бактерии приводят его к смерти... и умирают в его остывающем теле». Вот почему в

патетическом лозунге самостийников «Слава Украине!» четко и ясно слышится самоубийственный клич — «Смерть России!». Ибо на самом деле идеей фикс украинства является не создание «самостийной Украины», а **полное и окончательное уничтожение России**. Но что значит «смерть России» в реальном историческом измерении? Она означает исчезновение того глобального культурно-исторического феномена, внутри и за счет которого только и может существовать такое явление, как «Украина», сколь бы виртуальным само по себе оно ни было. И тем не менее стремление к этническому ха-рактери является доминирующим устремлением украинской химеры.

К 85-летию со дня рождения

ШУМИТ ЛУГОВАЯ ОВСЯНИЦА

РАССКАЗ

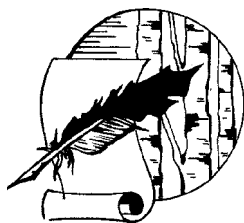
1

В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему взразброд, не застя солнца, белые округлые облака. Раза два или три над материковым обрывистым убе-режьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с хлеб-ных высот, от полужских тесовых деревень неспешно наплы-вала на луга туча в серебряных окоемах. Вставала она высо-кая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и бла-годатно рокотала и похохатывала громами и вдруг оглуши-тельно, весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным перезвоном отзывалась Десна под теплыми стру-ями ливня.

Полоскались в веселом споре дожде притихшие лозня-ки, набухали сахарные пески в излучинах, пили травы, пила земля, набирала влагу про запас в кротовые норы, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь.

А в заречье, куда сваливалась туча, уже висела над синими лесами оран-жевая радуга. Оттуда тянуло грибной прелью, мхами и умытой хвоей.

Лесные запахи мешались с медовы-ми и чайными запахами лугов в креп-



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

кий настой, от которого становилось хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе.

После таких дождей вдруг выметывала в пояс луговая овсяница, укрывала собой клевера, белые кашки, желтые подмаренники, выколашивалась над пестротравьем, и луга одевались нежной фиолетовой дымкой. И как только накатывал этот чуткий дымок на луга — днями быть сенокосу.

Первыми съезжались в пойму председатели и бригадирры — местные, из полужских колхозов, и дальние, с суходолов. Суходольские тоже имели здесь свой пай. Ходили по пояс в травах, осматривали деляны, ставили тычки.

Дня через два-три начинали двигаться в луга тракторы, сенокосилки, колесные грабли. Суходольские косари спускались со знойных бугров и междуречий будто на великое переселение: в пароконках — бочки с горючим, артельные казаны, связанные по ногам бараны, кули с мукой и картошкой, пуки деревянных граблей, старых и новых, белых, только что наструганных. Ехали целыми семьями — с женами и ребятишками, ветхие старички и те увязывались, тряслись в новых рубахах, ухватясь черными сухими пальцами за грядки, будто ехали к причастию. Иные еще бодро сидели в передках, крутили концами вожжей над лошадьми, покрикивали с незлобной хрипотцой: «Но-о, окаянные! Шевелись!» — а сами все поглядывали из-под картузов на буйную травяную вольницу, и в просветленных лицах была заметна хозяйственная озабоченность и много-много раз пережитая радость предстоящей сенокосной страды, крестьянской работы — праздника.

Молодежь ехала особняком. Парни в пестрых майках, крутые угловатые плечи в каштановом загаре, девчата, как одна, в косынках шалашиком. Сидели в больших сенных телегах, свесив босые ноги в бортовые решетки. Рыкала перебиваемая колесным перестуком гармошка, кто-то голосисто выкрикивал частушки, полоскались над головами, мельтешили листвою натканые торчком березовые ветки.

Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотали головами, стирали с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и

растревоженная Десна была маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.

А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины. Старики забредали недалеко, по коленки, и, не стыдясь сраму, в простой житейской потребности, ахая и придыхая, плескали на себя бегучую хрустальную теплынь. Потом долго намыливались, пуская шапки пены по струе, ласково разговаривая с пескарями, что доверчиво тыкались в ноги. Мылись обстоятельно, на весь год, до следующего сенокоса, если еще придется...

Ребятишки, уже накупавшись до звона в ушах, жарились в песочных лунках, засыпали себя каленым крупитчатым сахаром, а потом, серые, шершавые от песка, который, просыхая, осыпался с приятным зудом во всем теле, бежали в лозняки, трещали кустами, визжали, обстрекаясь о крапиву, и объедались еще не успевшей покраснеть дармовой ничейной ежевикой.

На лужку, на обрыве, вытянув по траве ноги, сложив в подол между коленок ненужные руки, сидели рядышком замужние бабы, отвыкшие за многие годы семейных забот от вольной речной воды, стыдясь при таком народе, при таком солнце оголиться, снять с себя одежду. Сидели, поглядывали с виноватыми улыбками на молодых беспечных девок, на Десну в слепящем блеске. Для них в кои-то разы посидеть вот так на бережку — и то радостно. Кто-нибудь из озорников подкрадывался по воде, выхватывал из-под берега и шмякал прямо в подол линючего, облезлого рака. Бабы взвизгивали, раскатывались по траве, подбирая ноги, начинали журить шалопута и вдруг, устыдясь своей праздности, вставали и шли к телегам искать какого-нибудь дела, без коего не могла баба чувствовать себя нормальным человеком ни в праздники, ни в похороны.

Под вечер, наполоскавшись в реке, тут же на берегу выкашивали поляну под бригадное становище, плели из лозняка низкие балаганы, каждый на свою семью, закидывали их тяжелой травой, оставляя узкий пчелиный лаз, поодаль врывали казан под общий кулеш, и так по всему берегу на много верст возникали временные сенные селища с теми же, по своим деревням, названиями: Меловое, Сухой Колодец, Полыновка...

Полужане, в отличие от суходольских, выезжали в луга налегке, без баранов и кулей муки — за всем этим ездили на колхозное подворье по ходу дела, однако, чтобы не тратить время, тоже жили балаганами, вкапывали артельные котлы, и у них становища назывались не так сурово: Лужки, Доброводье, Поречное или какие-нибудь Лебязьи Капустичи.

Две недели кипела в лугах жаркая неумная работа. Начиналась она с рассветом. Все вокруг еще в прозрачной дреме. Диковинными башнями громоздились на той стороне неясные лозняки и ветлы. Десна — под куревом тумана, только слышно, как хрустально вызванивали капли росы, роняемые с нависших кустов в чуткую воду, да на весь плес бормотали струи вокруг затонувшей коряги. Все мокро и серо от росы: мокры задранные оглобли телег, горбатые спины бочек с соляркой, мокры и седые балаганы, и на дне остывшего казана за ночь набежало чистое озерко росы над остатками пшенной каши.

Но вот зашебуршало в одном из шалашей, рука прокопала сенную затычку в лазе. Наружу, как большой неуклюжий жук, выползал дед Тимофей. Выпрямлялся, с кряхтением отрывая от земли оплетенные веревками жил руки, да так и не выпрямившись до конца, оставался стоять на полусогнутых ногах, и синяя выпущенная рубаха пусто балахонилась спереди и натянута кургузилась сзади. Тимофей сипло откашливал вчерашнее курево, долго и зло скреб под рубахой за поясом: приходил в себя. И не ожив еще как следует, уже крутил утреннюю сигарку и приглядывался к косам, что свисали крючковатыми носами с ошкуренной слеги. И на каждом кончике косы — по росяной капле.

Тимофей осматривал косы, выбирал ту, что притупилась, присаживался с ней на козелки с наковаленкой и прицеливался перевернутым молотом.

«Ди-у, ди-у, ди-у», — чисто, ясно, певуче разносилось над лугами, над сонным становищем. И тотчас на той стороне в лозняках отзывалось еще тоньше и певуче: «Ти-у, ти-у, ти-у»...

Шуршали сеном разбуженные балаганы, один за другим выползали багровые, заспанные, измятые будто в тяжком похмелье косари, вытряхали из рубах и всклокоченных волос сенную труху, кричали от сырой прохлады, разминали намаянные, не отдохнувшие за воробьиною ночь поясницы, бежали, пошатываясь, споласкиваться к реке. А Тимофей все тюкал по наковаленке, правил косы, и вот уже и ниже по течению, в суходольской бригаде, отозвались, затюкали по косе, и выше, в Меловом стане, и еще дальше... И так по всей

реке, по всем ее извилам, близко и далеко, будто первые пету-хи, загомонили молотки и наковаленки — славили зарю.

Выбиралась из своего шалашика Анфиска, с хрустом потягивалась, заламывая за голову бронзовые руки с острыми локотками, и тоже сбегала босиком к Десне, на ходу расстегивая кофту и бросая ее на кусты. Забрела в реку и, зажав подол юбки между колен, шумно плескала дымящуюся парком воду на плечи в белых лямках ночной рубахи. Соломистая коса ее, свалившись со спины, писала концом по воде.

Косились мужики на Анфиску, цепляли озорными словами:

— Может, спину потерять?

Спугнутая Анфиска стыдливо опускала на воду юбку, выбиралась на сухое. Мужики провожали ее долгим прищуром, примечая в Анфискиной фигуре всякие соблазны, потом, и сами смущаясь, переглядывались, без слов понимая друг друга.

Росла Анфиска в Доброводье, никто как-то не примечал в ней ничего особенного: тощеногая, лупоглазая. Жила с матерью, ходила в плюшевом жакетике да парусиновых туфлишках. В ту пору саперная рота доставала со дна реки затопленные понтоны и всякий военный утиль. В Анфискиной избе остановился на постой саперный лейтенантик. Месяца через три рота снялась. Анфиска ходила как потерянная. А под Новый год у нее народился мальчонка. Бабы провожали ее долгим молчаливым взглядом, жалели промеж собой в разговоре.

— Еще найдет себе... Молодая.

— Не больно теперь найдешь.

— Ей теперь один выход: уезжать, вербоваться куда...

Но Анфиска не уезжала, не вербовалась, а вот уже пятый год ходила в колхоз.

— Кончай курить! — по-армейски командовал бригадир и колотил обгорелой палкой по пустому гулкому kazanу.

Всхрапывал запущенный трактор, громко стрелял синим дымом. Мужики запрягали в косилки лошадей, разбирали косы и уходили в луга по росе до завтрака. И уже при солнце шли ворошить сено бабы и девки. Над пестрыми косынками колыхались грабли, будто оленьи рога. Плелись неспешно, с ленцой. Но, придя на место и рассыпавшись каждая к своему валку, сноровисто и легко начинали подбивать и ворошить сено граблями. Дело вроде бы немудрящее, а поди ж ты: забивали здоровых девок пожилые бабы.

На стыке двух соседних лугов иногда останавливались побалагурить.

— Эй, бабоньки! — кричали суходольские мужики. — Приходите вечером под копенку, потолкуем...

— Гляди, беседчики отыскались! — хохотали полужские бабы.

Один из косарей передавал косу товарищу, обеими руками покрепче натискивал кепку и бежал к бабам, по-медвежьи раскорячась и расставив руки-лапищи. Бабы взвизгивали и ощетинивались граблями.

— Проваливай, проваливай, бобик не привязанный!

— А ну, девки, лови его, обормота. Ломай крапиву!

Бабы дружно кидались в контратаку. Косарь поворачивал и, перепрыгивая через два валка, улепетывал к своим.

Но все это так, между прочим. Сенокос же кипел своим чередом. День-деньской катал по лугу свои колеса-бублики белорус-тракторок, сновали, стрекоча, конные сенокосилки, полнились травой и взблескивали, освобождаясь, конные грабли, и лошади ошалело мотали мордами и секли оводов хвостами. А уж по всяким неровностям, по старым окопам, по кустам да сочажинкам махали косами мужики. Выпростаны из штанов рубахи, чтоб обдувало, мокры и темны сатиновые и ситцевые спины, багровы лица под выгоревшими картузами и кепками, виски влажно лоснились, а косари все ступали и ступали рядами, нога в ногу, замах в замах: так спорей и легче, чем вразной. Ярко сверкнет сразу дюжина кос над травами, переступят сразу дюжина сапог, на одно мгновение задержатся, повиснут в воздухе косы и тотчас снова с шелестящим певучим звоном все разом нырнут в зеленую глубину. Будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами. И ложатся травы в ровные валки, то с подкошенным ирисом, желтой дугой промелькнувшим на пятке косы, то с малиновой свечкой иван-чая. Свежие валки истекают соком, терпко млеют от зноя, и тянет по всему поречью сладким настоем увядания.

К полудню все живое собиралось к воде, поили и купали лошадей, пили и полоскались сами, смывая сенной зуд и соль. Потом, разлегшись вокруг артельных алюминиевых полумисков, хлебали огненный бараний кулеш. Ели по старинке, блюдя очередь по кругу от старшего, подпирая доньшки резных ложек ломтями хлеба, с хрустом заедавая горячее хлебово зеленым луком. А насытившись, распозались по балаганам, где под темными сводами еще хранилась ночная прохлада. Но и тут, завидев, между прочим, как Анфиска на четвереньках, белея заголившимися круглыми икрами, заползала в низкий лаз своего шалашика, кто-нибудь непременно шутил:

— Фис, пусти на полчасаика...

— Срамоидолы! — корили бабы. — Мальчонку бы постеснялся. Мальчонка ведь при ней. А вы брешете языками.

За первой на деревне девкой так не следят, так не приглядываются, как за молодой вдовой бабой. Пройдет она обыкновенно, как все, а уже кажется, что не идет, а играет бедрами. Девки купаются — ничего, а войдет она в воду — и опять таки вроде как с умыслом. Ни пойти ей, ни прилечь без хитрого прищуря со стороны, тем более что дело-то необычное: сенокос! Кругом воля-вольная, и в косарях бродила хмельная удаль, как ни при какой прочей работе. И хоть и в шутку задевали Анфиску, но и в пустых словах косарей — извечный тайный намек и мужицкая надежда на лотерейный греховный билетик...

Иногда в луга навевывался доброводенский председатель Павел Чепурин. Был он еще молодой, но уже успел навоеваться, схлопотать контузию и шрам от виска до подбородка, закончить политехнический институт, очутиться в деревне в числе тридцатитысячников, собранных по предприятням, еще раз переучиться в Тимирязевке и, кроме боевых орденов, нахватать кучу выговоров за своенравность и искажение спущенных сверху циркуляров. Но, несмотря на свою горячность, мужик он был толковый, по-солдатски простой, и все оживлялись, когда он появлялся в лугах на мотоцикле.

— Ну, как, хлопцы, дождя не будет? — кричал он еще издали, подъезжая.

Косари обступали его, чтобы поговорить или просто покурить председателеских папиросок.

— Да вроде не должно...

Чепурин соскакивал с мотоцикла и, нагнувшись и захватив пук подсохшего сена, нюхал, раздергивал на былки и сорил себе на пыльные сапоги.

— Барана съели? — неожиданно спрашивал он, скосившись.

— Еще вчерась, — сознавались косари.

— Даете...

— Дак сена какие... Невпроворот...

— Центнеров по двадцать возьмем?

— И по тридцать будет... Как ни в какой год. Чай, сена!

— Чай-то чай, — почесал под кепкой один из косарей. — А не худо бы и чаюхи. За такие сена магарыч полагается.

— Будет, будет! — пообещал Чепурин, белозубо захохотал, покраснев шрамом, и прошел к трактору, прихрамывая и шумургая сапогами по стерне.

— С хорощим сеном вас, бабоньки! — крикнул он весело,

проходя мимо ворошенных валков.

— И вас так же...

— Носы! Носы берегите! А то облупятся. Потом не забелишь.

Бабы, будто того и ждали, чтоб их задели, дружно посыпали в ответ:

— Мы и не беленые сойдем!

— Все одно в печку глядецца, с горшками целовацца...

— Ты б свою-то на солнушко вытягнул. А то грабли по ней соскучились...

— Почеревок раструсила б... Небось ночью и не охватишь.

Бабы дружно расхохотались.

Чепурин и сам засмеялся и, смеясь, жмурился, крутил головой.

— Ну и язвы, ну и язвы, — бабы! Обхватывать-то некого, — сознался Чепурин. — Неделю как уехала.

— Опять небось по курортам?

— В Сочах, бабы, в Сочах...

Бабы зашикали, иные с издевкой, иные продолжая вышучивать:

— Прынцесса, скажи на милость!

— В стенгазету ее, толстомясую!

— Что ж так: нами — дак командуешь, а на свою узды нету?

— Нету, бабоньки милые, ох нету! — развел руками Чепурин. — Закатила мне домашнее бюро, села и уехала. Я, говорит, тебя все равно не вижу. Ты готов сам сесть в свинарник, в клетушку. От тебя, говорит, свинарником пахнет... Вот как!

— Знамо, — встряла в разговор Тимофеева бабка, высокая корявая старуха, говорившая басом. — Знамо: у кого грабли на плечах, а у кого задница в Сочах.

Бабы завизжали, схватились за животы. Иные, что по-смирнее на язык, конфузливо ухмылялись: уж больно солонном сказанула бабка! Одними только глазами усмехнулась и Анфиска, застенчиво прикрыв рот уголком косынки.

Поймав на себе ее беглый смущенный взгляд, Чепурин и сам смутился и, переходя на дружески деловой тон, спросил:

— Ну, как, Анфиса Васильевна, работается?

— Да как... — Анфиска, почему-то густо покраснев, нагнула голову, затеребила граблями клочок сена, отпихивая и подгартывая его к себе. — Как всем...

Чепурин помолчал, уставившись на бегло перебирающие Анфискины грабельки с таким видом, будто наблюдал важную и неотложную работу. Молчал так, словно хотел еще что-то спросить у Анфиски. И она ждала, не поднимая головы.

Но, так ничего и не спросив, Чепурин построжел лицом, сказал:

— Такие, значит, дела...

И, может быть, быстрее, чем хотел, заспешил к трактору.

Меж тем сено начали копнить, а на второй неделе сенокоса в каких-нибудь два-три дня все поречье на много десятков верст вверх и вниз по Десне дружно взбугрилось копнами, и не было такого места в лугах, куда бы можно было пройти напрямик, не натолкнувшись на копнушку. И, закругляя дело, стали сволакивать их на места повыше, посуше и там выкладывать округлые приземистые стога. Под конец, свезя к стогам сено с балаганов, поплескавшись в Десне на прощанье, выпив за ранним ужином сельповской перцовки, поплясав или так просто поговорив на вольном досуге, начали сниматься и сами бригады. И вот уже и вовсе опустели берега. Остались только притоптанные поляны покинутых становищ, черные закопченные ямы из-под котлов да плетеные скелеты раскрытых балаганов. И еще остались стога... Неспешно тянулись мимо них отъезжающие обозы, и люди провожали взглядом памятники отшумевшей страды. Молча хранили стога в себе и безмятежные радости ребятишек, и чьи-то первые и не первые сердечные тайны, и хозяйственные надежды на сытый год, с молоком и хлебом, и общее удовлетворение завершенной работой. Глядели косари на стога, на долгие вечерние тени от них, часто перечеркнувшие дорожку, и сами удивлялись: сколько наворочали!

2

Разорив свои шалаши, доброводенские косари тем же вечером, пока еще не село солнце, переправились на другой берег Десны разбирать процентные деляны.

Левая сторона реки густо кучерявилась ивняками. Тут и там над мелколесьем высоко и дремотно поднимались старые уремные ракиты с растресканной корой и темными округлыми кронами. Под ними все лето стояла сумеречная и влажная духота, гудело комарье и бушевал хмель. Местами лес разбегался, открывая большие и малые луговины. Эти-то опушковые покосы, разбросанные и затерянные в лозняковой чашобе и неудобные для бригадной уборки, Чепурин раздавал для подворной косьбы в счет заработанных сенных процентов. Луговины побольше закреплялись за двумя-тремя дворами, на малых косили в одиночку. Обычно из года в год каждый косил на своем постоянном месте.

Анфиска тоже переправилась в попутной лодке, забитой

бабами и мужиками.

— Косить али только поглядеть? — поинтересовался дед Тимофей, с кормы направлявший лодку.

— Что глядеть? Смахнет за одним разом, чтоб не бегаться, — ответила за Анфиску баба.

— И то дело, — кивнул Тимофей. — Мы дак тоже, не загад, покосимся.

— Самое в пору, — отозвалась другая баба. — Ночь будет светлая.

— Витюньку бы на деревню отправила, — посоветовал Тимофей, глядя, как Анфиска, подхватив сына одной рукой поперек живота, а другой опираясь на косу, ступила за борт в мелкую воду.

— Нехай бегаёт: лето, — сказала баба.

— Замаялся небось мальчонка.

— А он, может, при ней охрану несёт.

— Какой с него охранщик? — сказал Тимофей. — Комар носом проткнет.

— Какой-никакой, а все-таки живая душа при ней. От вашего брата шатуна... Который ему пошел-то?

— Пятый с зимы, — не оборачиваясь, досадую на бабье сердоболье, ответила Анфиска и, осыпая комья глины, грузно выбралась с Витькой под мышкой на твердый травяной берег. Она поставила сына на ноги, вскинула на плечо косу, подхватила узелок с едой и шагнула в кусты на пробитую тропку.

— Лодка будет у поваленной ракиты! — крикнул с воды Тимофей.

— Найду!

— Стучи, стучи косою почаще, давай знать!..

— Ладно!

— Ежели раньше нас управишься — покричишь!

Анфиска прошла берегом вверх по реке и в полуверсте вышла на свою деляну, одним краем примыкавшую к Десне. Анфиска не была здесь с прошлого лета и едва узнала свой покос. Поверх нетронутых трав, пестревших багряными головками клевера, синими колокольцами, лупастыми звездами ромашек часто пророс морковник. Он цвел крупными белыми зонтами, распустившимися на уровне Анфискиной груди, и ей казалось, будто поляна была занавешена сверху полупрозрачным тюлем.

— Вот мы и дома, — сказала Анфиска Витьке, устало и умиротворенно оглядывая покос, будто осматривала горницу, в которой так давно не была. Опушка и на самом деле походила на светлую и чисто прибранную комнату, окружен-

ную стенами леса и с распахнутым окном на реку, в луговое раздолье. В окно это широко и спокойно лился свет низкого солнца, по-вечернему румянившего лес и поляну, тянуло теплой сыростью речных песков, запахом нагретых за день осок и свежесметанных стогов.

Витька тут же нырнул под зонты морковника и побежал под ними, раскинув руки и теребя ладонями дудки. И там, где он бежал, над его белесой, давно не стриженной головенкой вздрагивали и покачивались кружевные шапки соцветий.

— Мам, гляди какие! — кричал он.

Анфиска несколькими взмахами подкосила угол у самой реки, сгребла тяжелую, дурманно и знойно пахнущую траву, бросила поверх вороха телогрейку и позвала Витьку.

— Ну, посиди тут.

— Не хочу сидеть. Побегу удочку срежу. Буду рыбу удить.

— Ну, поуди, поуди.

Она присела на краю обрыва, свесила ноги над водой, уперлась руками в траву, откинулась на них и замерла так в минутном отдыхе. Прямо против нее над высоким уберечьем садилось багрово-дымное солнце. Матерый берег, до которого Десна доставала только в пору своего весеннего разгула, на самом верху, на увале, плоско и ослепительно желтел хлебами. Но скат его вместе с деревнями, садами и поперечными оврагами был уже окутан вечерней дымкой, казался пустынным, отвесным и неприступной синей стеной громоздился над плоской равниной лугов. Сами же луга еще купались в последних лучах солнца. Бесчисленные стога нежно розовели подсвеченными маковками и тянули навстречу Анфиске по багрово-зеленой отаве длинные синие тени. В лугах было безлюдно и по-вечернему настороженно и тихо. Только на самом увале высоко и густо вздымалась пыль над дорогой. Это суходольцы сразу несколькими обозами, поднявшись на урез, погнали лошадей рысью по ровному, спеша в дальние свои деревни, затерянные где-то за хлебами.

— Вот и покосы прошли, — вздохнула Анфиска, вглядываясь в клубы пыли над отъезжающими обозами. И ей стало почему-то грустно, что прошли покосы. Жаль было хорошей поры, которую она любила сызмальства. Чем больше выросла, тем нетерпеливее бежала в луга, полнясь смутным и радостным ожиданием чего-то... Но все обернулось обычной вдовьей работой, липучим и грубым вниманием мужичья, замкнутым одиночеством, о котором она никому не смела и не могла сказать. Теперь она была даже рада, что поблизости нет никаких делян и что она наконец-то одна. И все-таки было жаль, что прошли покосы, прошло еще одно лето...

Вздыхнув, она сняла платье, ночную рубаху, подстелила под себя белье и посидела так, остывая, неспешно, задумчиво оглядывая себя, смахивая с шеи и поперек перерезанных полоской загара груди сенную труху. Мягкое тепло вечернего солнца тронуло и пригрело ее живот и колени. Из лозняков выпорхнула и закачалась перед Анфиской на торчавшей из воды камышинке желтая плиска. Перечеркивая собою красное солнце, она раскачивалась, вздрагивала узким хвостом и с птичьей откровенностью разглядывала раздетую Анфиску.

— Сарафан сняла? Сарафан сняла? — требовательно спрашивала она.

— Кыш! — махнула Анфиска и плотно сдвинула колени.

В кустах зашебуршал Витька, радостно окликнул:

— Мам, смотри, какая удочка.

— Ага... хорошая.

— Мам, а что это у тебя на руке синее?

Витька притронулся пальцем к Анфискиному предплечью.

Анфиска закрыла покосный балагурный синяк ладонью и небрежно сказала:

— Поди, Витя, побегай...

Витька сострадательно устался на Анфискину ладонь, прикрывавшую синяк.

— Поуди, поуди, Витя... Вон какая хорошая удочка.

Витька повернулся и запрыгал по берегу, вспархивая выгорелыми волосенками при каждом поскоке.

Анфиска поглядела вслед сыну, глаза ее заплыли слезой:

— Глупый...

И оттолкнувшись пятками о край обрыва, она сильным броском бухнулась в розовато-засмирившую Десну.

Уже в сумерках запалили костерок, ели поджаренное на прутиках сало, крутые яйца, прикусывали перышками лука. За темными кустами долго и светло разгоралась луна. Они ели, тихо переговариваясь, слушая, как где-то в лесу, на других делянах гомонили бабы, звякали о косы оселки, а на той стороне в лугах все ржала и ржала беспокойно лошадь, глухо и тяжело стуча по земле копытами.

— Мам, чегой-то она?

— Так... спутанная.

Поиграв в засиневшем небе хворостинкой с угольком на конце, Витька угомонился, прилег на охапку травы. Анфиса прикрыла его телогрейкой.

— Спи, горюшко мое, спи, мужичок мой...

Витька пошевелился, сворачиваясь калачиком, угреваясь, и затих.

Анфиска взяла косу, подошла к краю поляны. Луна, наконец, выпуталась из зарослей — большая, чистая и ясная, кусты под ней заблестели влажными листьями. Деляна просияла, будто враз зажглась, засветились подвешенные над травами люстры морковника. На зонтах цветов тончайшим хрусталем заблестела роса. И сразу, как только взошла луна, где-то рядом отсырело закрипел, забегал под серебристой и невесомой сеткой соцветий дергач, дружно брызнули окрестные кусты стрекучим гономом камышевок.

— Светло-то как! — подивилась Анфиска.

Стоя на берегу, у края деляны, она заворуженно глядела на медлительную, переспело истекающую медовым светом луну. Потом, все еще прислушиваясь к ликующей ночи, к радостно-грустному чувству в самой себе, неслышно, как бы боясь что-то потревожить, провела косой по крайним травмам деляны.

3

Скоро уже, подчиняясь затягивающему азарту работы, Анфиска косила широко и жадно. Лишь изредка она распрямлялась, смахивала со лба волосы и поглядывала на скошенные валки. Неспешная луна собиралась бродить в небе до самого рассвета, и Анфиска прикидывала, что к тому времени должна управиться. Иногда, давая себе минутный роздых, она брала оселок и несколькими ударами поправляла жало косы. И тотчас на ближней деляне, за темными шапками ракиит подавала голос Тимофеева коса: мол, коси, коси, девка, мы тут тоже косим. За ней откликнулась другая, третья, и начинало тонко, загадочно звенеть по всему ночному лесу: ко-сим, ко-сим!

И вот уже и жаль Анфиске, что она одна, а не на артельной деляне, где теперь потрескивает костер под старой ракиитой, сложена в общую кучу разная еда, закипает черный покосный чайник, набитый смородиновым листом. И нет-нет да кто-нибудь, на время остановив косу, взболтнет что-то веселое... А есть, которые вдвоем, с мужем...

Анфиска пыталась представить, как косила бы она с мужем... Костер палить было бы некогда, да и балагурить незачем... Работали бы молча. А тоже хорошо...

Прислушиваясь к перезвону на ближних и дальних делянах, она уловила ворчливый гул мотоцикла на лесной дороге. Дорога эта, по которой свозили в деревню сено, петляла, восьмерила, давала ответвления по всей уреме и где-то недалеко обегала Анфискин покос. Свое сено она переправляла

сразу на тот берег, так было удобней, и на ее маленькую деляну не было пробито проезда. Мотоцикл протарахтел мимо, потом внезапно заглох, долго молчал, снова застрекотал, теперь уже возвращаясь обратно. В кустах, против ее покоса пробился раздробленный листвой свет фары.

«Рыболовы, что ли, — подумала Анфиска. — Мало им места на Десне».

Хлестая ветками кустов, мотоцикл продрался, вынырнул на поляну, полоснул светом, но тут же умолк и погасил фару.

Анфиска опустила косу, выжидая.

Из тени кустов вышел рослый человек.

По белой фуражке она узнала Чепурина. Прямо по некошеному он подошел к ней.

Анфиска замерла.

— А я слышу: кто-то косой звякает. Дай, думаю, загляну, — сказал он. — Едва проехал...

Чепурин стоял против света, и она, мельком взглядывая, не могла разглядеть его лица, но по голосу улавливала какую-то странную растерянность и возбужденность. Видно, ему и самому было неловко оттого, что он оказался на этой деляне, неловко было и объяснять, зачем он здесь.

— Испугалась?

— Думала, рыболовы... — проговорила она.

— А я в районе был... Только что оттуда, — сказал Чепурин и зачем-то снял фуражку. — Заехал поглядеть, как народ пулуношничает...

— Да вот косим... — сказала Анфиска. Растерянно перекрещенными на груди руками, оставшимися прижатыми так вместе с ручкой косы с самого момента появления Чепурина, она чувствовала, как часто колотилось ее сердце.

Чепурин обвел глазами деляну:

— Твой, значит, пай... Морковки много. Сорное сено будет...

— И на том спасибо, — выговорила Анфиска чужими, одеревеневшими губами.

Чепурин помолчал, повертел в руках фуражку.

— Помочь, что ли? — сказал он, помолчав.

— Я сама, — тихо воспротивилась Анфиска.

— Сама-то не успеешь.

Он взялся за ручку косы, легонько потянул к себе. Анфиска не отпустила.

— Спешить некуда, — сказала она. — Ночь еще впереди.

— Скоро темно станет.

— Луна только взошла! Вон какая!

— Погаснет луна-то твоя... Сегодня затмение будет...

— Не надо, Павел Семеныч, — потупилась Анфиска. — Я сама управлюсь.

— Ну, как знаешь. — Чепурин посмотрел на луну, на морковник. — Ты не подумай... Я ведь по-хорошему.

Он достал папироску, пыхнул спичкой. Анфиска стояла, выжидая. В ее как-то сразу поменьшавшей ростом фигуре было что-то неприкаянное и жалкое.

Долго и напряженно молчали. В мокрых кустах верещали камышевки. Вдруг Чепурин порывисто отбросил окурочек и крупными шагами пошел в дальний угол деляны к мотоциклу. Но он не уехал, как подумала Анфиска, а, к ее удивлению, вытащил из коляски разобранный косу, сладил ее и молча принялся косить прямо от колес мотоцикла. Анфиска слышала, как заходила его коса с сердитым и протяжным шиканьем.

Анфиска растерялась. Первой ее мыслью было разбудить Витьку. Но Витька сладко посапывал, и она, поправив на нем одежду, отошла, остановилась у обрыва, смятенно уставившись на светлую гладь реки. Потом тихо, будто крадучись, прошла к незаконченному прокоосу. Она начала косить, все время сбиваясь, путаясь в траве, мучительно и обостренно прислушиваясь к размашистому вжиканью в дальнем углу деляны.

Луна, уже высоко поднявшаяся над лесом, заметно побавилась, уплотнилась, но все еще была диковинно велика. Анфиска косила против луны, Чепурин двигался от луны к ней навстречу. Работали молча, затаившись, как два сапера по обе стороны фронта, пробивающие проход в проволочном ограждении. Нетронутая стена трав, разделявшая их, уменьшалась и редела. Впереди, белея, покачивалась фуражка Чепурина, широко и порывисто поворачивались его плечи, и то и дело над дудником взмелькивала ручка его косы. Она видела, как, вздрогнув, широкими полукружьями рушились и исчезали перед ним хрустальные люстры морковника.

Когда между ними осталась тонкая, на два-три взмаха стенка из высоких, пронизанных светом стеблей, Анфиска остановилась. Остановился и он, шумно и прерывисто дыша.

Тяготясь этой неловкой паузой, страхась — не его, Чепурина, а самое себя, своего напряженного обессиливающего оцепенения, она, ни разу не взглянув на него, не поднимая головы, повернулась и пошла, почти побежала к берегу, к началу покоса.

— Анфис... — позвал он.

Она слышала, как он смахнул остатки травы, разделявшие их, и торопливо пошел следом.

— Что ж мы... так и будем разбегаться по углам? Глупо все как-то...

В голосе его звучала все та же неловкость и виноватость за то, что он здесь и вот так с нею...

Анфиска только еще больше нагнула голову, вышла к берегу и сразу начала новый прогон.

— Давай хоть косить рядом... — буркнул Чепурин.

Она успела уже отойти немного, когда Чепурин начал косить с левой стороны. Чувствуя за спиной мерные переступы его сапог, резкое свистящее позванивание, Анфиска, закусив губы, косила с оцепенелым упорством, как будто все дело было в том, чтобы не дать себя догнать. На каждые два его взмаха она отвечала тремя. Босые ноги горели от колючей стерни и спиритово-жгучей росы, но еще больше горело ее лицо.

«Что ж это...» — спрашивала она самое себя.

Вспомнилось, как весной он подвозил ее со станции. Она тогда, перед половодьем, накупила много хлеба, несла тяжело в двух мешках, связанных вместе. Он нагнал ее на своем «газике», узнал, остановился, забрал мешки и посадил в машину. Дорога была разбитая, с жидкой снежной кашей в глубоких колеях, с частыми лывами по низинам, машину бросало, заваливало с боку на бок. Чепурин напряженно рулил, и, может быть, потому лишь изредка с ней заговаривал, отрывочно спрашивая о самом обыденном: как живет, как мать, сынишка... В шоферское зеркальце она мельком видела его худое, обветренное лицо с багровым швом во всю плохо выбритую щеку, видела напряженно-сосредоточенные жидко-зеленые глаза и, стесняясь своих чувалов, набитых городскими буханками, грязных галош на валенках, настроенно цепенея от новых его вопросов, односложно отвечала: «Живу помаленьку», «Мать ничего», «Сын уже большой».

И когда потом приходилось встречаться с Чепуриным — на колхозном дворе, на улице — все так же терялась перед ним, и особенно почему-то в тот раз, на покосе, когда он пытался заговорить с ней.

Ни разу не оглянувшись, она косила все с тем же упорством и уже не чувствовала рук, не ощущала в онемевших пальцах кося и только упрямо, через силу водила плечами. Белые шапки морковника, взблескивая оброненной росой, казалось, сами собой гасли перед нею, будто слабые огоньки от ветра.

На середине прогона она услышала, как Чепурин остано-

вился. Чуть обернувшись, она увидела, что он скинул пиджак, отшвырнул на стерню и, оставшись в одной белой рубашке, азартно поплевал на руки.

Но и у нее больше сил не оставалось.

«Сейчас упаду», — задыхаясь и слепея от напряжения, думала Анфиска.

Она уже не слышала ни его, ни своей косы, не слышала цикадного стрекота камышевок, не замечала, как все бежал, все скрипел на остатке быстро таявшей луговины дергач — невольный судья этой борьбы двух людей на ночном покосе.

— Тьфу! Заморила! — сплюнул, наконец, Чепурин. — Анфис... Да погоди ж ты...

Он постоял, глядя вслед продолжавшей косить Анфиске, и вдруг отбросив косу, в два прыжка нагнал, обнял, больно сдавив плечи, рывком повернул к себе и, сам задыхаясь, прижал к груди.

— Вот... Чтоб знала...

Потная, горячая, не видящая ничего, с гулким стуком в висках, она затихла в крепком захвате его рук, провалившись в какое-то обжигающее небытие.

— Не сердись только... не гони... — проговорил он.

Луна, поднявшись в свой зенит, накалилась до слепящей голубизны, небо вокруг раздвинулось, нежно просветлело и проливалось теперь на лес, на поляну, на белую кипень цветов трепетно-дымным голубым светопадом. Свет падал на Анфискино лицо, казавшееся бледным и осунувшимся. Под полузапахнутыми ресницами темно и влажно взблескивали глаза.

— Устала я, — не открывая век, прошептала Анфиска, почувствовав себя вдруг окончательно надломленной и обессиленной не только от напряженной косьбы, но и от всех этих трудных и горьких лет вдовьего одиночества.

Чепурин, должно быть, понял в ней это, бережно взял в ладони ее голову, притянул и крепко и долго поцеловал в сухие, безответные губы.

Анфиска затаенно молчала, приходя в себя, прислушиваясь к сильным толчкам его сердца под влажной от пота рубашкой.

— Запалила ты меня, — сказал Чепурин.

— Я сама чуть не упала.

— Зачем же так...

— Не знаю...

— Я ведь по-хорошему...

Анфиска не ответила.

Он слегка, будто стесняясь этого движения, одними только кончиками пальцев потрогал ее волосы.

— Давай докосим? — сказал Чепурин.

Постояв еще, помедлив, она наконец молча шевельнула плечами, прося ее освободить, Чепурин разжал руки, она устало нагнулась, подняла косу.

— Ты посиди... Не надо, — сказал Чепурин.

— Нет... Я тоже...

Остаток поляны они докашивали рядом.

Чепурин, без фуражки, с закатанными рукавами белой рубахи косил размашисто, низко пуская косу, чуть пригибая колени. Встречный свет заливал его плечи, дымился в светлых спутанных волосах. Тяжелые стебли дудника, мельтеша белыми шапками, уносились в сторону и ложились рядом с Анфиской. Валок истекал сырым травяным запахом. Время от времени Чепурин приостанавливался и, шумно отдуваясь, улыбаясь запаленно-открытым ртом, подбодрял:

— Идет дело?

Анфиска молча кивала.

— Ну давай... Осталось немножко.

За согласной работой как-то сама собой прошла Анфискина усталость, руки окрепли, и она, поглядывая на Чепуринана, на его неторопливые расчетливые движения, чувствуя, что ему нравится косить, и сама начинала полниться тихой и умиротворенной радостью.

— У тебя есть оселок? — спросил он.

— Где-то на берегу.

— Надо поправить косы. Мы их совсем загнали об эту чертову морковку. Откуда ее столькоросло?

Чепурин говорил так, будто ничего между ними и не было, будто они еще с вечера пришли сюда, как другие, как все, за тем только, чтобы запасти на зиму сена.

Он нашел на обрыве оселок и стал править косы — ее и свою. И сразу за лозняками гонко звякнуло ответно. И зазвенело, затюкало справа, слева, близко и далеко — по всему лунному лесу.

— Народу-то сколько! — удивился Чепурин.

Ликующе-голубой свет заливал поляну. Была видна каждая травинка, каждый листок, и все везде что-то сверкало и блестело. Светлая гладь реки за краем обрыва кольчужно серебрилась от кругов разыгравшейся рыбы. Бледно проступили песчаные косы на той стороне, и в песках блестели и переливались голубым огнем выброшенные створки ракушек. Серебрились обрызганные росой осоки под тем бере-

гом, легким дымом серебрилась подстриженная отава, серебрилась шиферная крыша коровника на гребне далекого угреза и призрачными шатрами проступали бесчисленные стога в луговом заречье.

Простоволосо-растрепанный, в расстегнутой на груди рубахе, Чепурин стоял с косой и оселком в руке, чуть наклонив голову и, полный мальчишеского внимания и интереса, слушал, как перекликались косы на лесных делянках.

Еще вчера этот человек расчетливо считал свои часы и минуты, куда-то уезжал, приезжал, командовал и распоряжался, звонил по телефону каким-то далеким и высоким начальникам и сам был страшно далек от Анфиски своей исполненной какой-то значительности председательской беспоконной жизнью. Но теперь, видя его так близко, рядом с собой, за простой крестьянской работой, обыденной и понятной ей сызмальства, делавшей его тоже простым и понятным, Анфиска почувствовала себя так, будто знала его давно и работала рядом всю жизнь.

— Как названивают! — сказал он, радуясь. — Послушай только, что делается! По всей Десне.

Анфиска смотрела на Чепурину, слушала и ничего не слышала, кроме стука своего радостно-смятенного сердца.

4

Перемешанные с травой стебли морковника пружинисто топорщились, валки высоко бугрились, белели зонтиками, и вся поляна казалась приборно-полосатой. Терпко, дурманно пахло каратиновым настоем, напитавшим росу и ночной воздух.

Они лежали на ворохе скошенной травы, влажной и теплой, нагретой их телами. Лежали на самом берегу, головой к реке, умиротворенные доверием друг к другу.

— Есть хочешь?

— Чтой-то не хочется.

— Я захватил с собой. В мотоцикле. Поешь.

— Не надо. Не вставай...

Чепурин лежал навзничь, подложив под голову правую руку, она — пристроилась на его плече.

— Не хочется, чтоб ты уходил... — Анфиска задержала его руку на своем плече, и сама подвинулась теснее. — Смотри, какая луна сегодня! Я даже чувствую ее сквозь веки. Закрой глаза... Ты правду говорил про затмение?

— По радио передавали.

— А я думала — нарочно...

Луна бесстрашно, светло и празднично шла навстречу неведомому, поджидавшему ее в какой-то точке кроткого ночного неба. Казалось, уже сам воздух начинал тихо и напряженно вызванивать от ее неистового сияния.

— Я хоть нагляжусь на нее сегодня... Не помню, когда и глядела так...

— Это верно, — кивнул Чепурин. — Головы поднять некогда.

Анфиска, задумавшись, долго вглядывалась в голубой диск.

— Какая она чистая... Как девушка. Я даже глаза различаю. Словно бы улыбается.

— Это горы.

— Нет, глаза.

— Кратеры всякие.

— Тебе — кратеры, а мне — глаза.

Чепурин усмехнулся Анфискиному шутливому упрямству.

— Вот песни по радио поют, — вздохнула Анфиска. — Про свиданье на луне. Глупости какие, господи! Земли, что ли, мало? Только любите по-хорошему.

Тяжелый рогатый жук низко пролетел над головами и плюхнулся в скошенную траву. Должно быть, летел из заречья. Жук завозился, рыкая крыльями в стеблях, будто запускать заглохший мотор. Наконец, взлетел и, довольный, басовито загудел. На светлом небе были видны его черные вскинутые надкрылья. Анфиска проводила его взглядом, прислушиваясь.

— Разве есть где лучше? Птиц-то сколько! Каждый куст стрекочет.

— Да, ночь хороша! Теплынь. Самое лето.

— У нас по Десне их сверчками зовут.

— Какие они?

— Разве не видел? Серенькие с желтиной.

— Как-то не обратил внимания.

— Хвост округло подстрижен. У плиски хвост ровный, у зяблика, у чечевички — с выемкой. А у этих — будто лопаточка для мороженого. И голос: не поют, а сверчат. Потому и сверчки.

— Похоже... А вон то кто? Осторожно так...

— Не узнал? Соловей!

— Ну, какой же соловей? Соловья-то я знаю.

— Соловей и есть.

— Коротко очень.

— Молоденький еще... Старые теперь уж не поют. Лето пе-

реломилось. А этот только пробует голос. Первая его песня. Будто в молодой орешек посвистывает... Слышишь?.. Щелкнет и сам себя слушает. Мол, ладно ли получилось? А потом надолго и замолчит: засовестится. Молоденький...

— Берендеевна! — усмехнулся Чепурин и ласково, уважительно взглянул на Анфиску.

— В детстве из лесов-лугов не вылазили. В деревне — куда еще побежишь? Вся тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездо разглядим: и как сделано, и какие яички... С той поры всех птиц своих знаю... А вот то дергач... Послушай, как он...

— Этого скрипуна я давно приметил.

— Всю ночь так.

— Уж больно музыка у него некрасивая. Будто гребешком по сухой щепке.

— Это нам только. А ему все равно весело. Ночь-то какая! Диво! Все, как умеет, радуется... Я тоже, будь моя воля, птицею стала бы... Даже не задумалась — поменялась бы...

— Чудачка!

— Хорошо птицею. Лети куда хочешь. Воля!

— Куда же ты?

— Мало ли куда...

Раздумывая, куда бы она полетела, Анфиска вспомнила, как еще подростком несколько раз бегала на станцию. Мать завертывала в капустные листья обваренного куренка, клала на дно корзины десяток — другой яиц, свежих огурцов, и Анфиска, шлепая по прохладной утренней пыли, бежала среди хлебов к паровозным дымам на горизонте. Ничего не волновало ее так сладко и празднично, как добела накатанные рельсы и длинные, зовущие паровозные гудки.

Там, на станции, поставив у ног корзину где-нибудь возле газетного киоска, она подолгу заглядывалась на поезда: дивилась широким, в одно сплошное стекло, вагонным окнам, белым накрахмаленным занавескам, цветам в глиняных горшках на столиках и по всему этому силилась представить, как должно быть хорошо и необыкновенно ехать в таком вагоне. Вполслух, разлипая губы она читала надписи «Москва—Одесса», «Москва—София» и, прочитав, с ревнивой завистью следила за бойкими проводницами в синих беретах, которые, убрав подножки и став в вагонных дверях, вот так просто, с какой-то легкой беспечностью ехали в далекие неведомые города, равнодушно посматривая на все, что оставалось здесь, на перроне, на все эти киоски, багажные тележки, на нее, Анфиску, зазевавшуюся босоногую девчонку из безвестного им села.

Анфиска забывала про свою распродажу, пока какой-ни-

будь дотошный пассажир, заглянув в корзину, не обнаружил торчащие цыплячьи лапки. Набегали другие, копались в корзине, как в своей собственной, выгребали яйца, огурцы, совали деньги. Она машинально прятала их в карман, не считывая, стесняясь своего нехитрого товара, и приходила в себя лишь когда появлялся милиционер и сонно, разморенно говорил: «Давай, давай отсюда... Не положено».

— Посмотрела бы, куда наша Десна течет... — вслух сказала Анфиска. — До самого моря слетала бы... Живешь! Вот тебе изба, печь, вот грабли или тяпка... Зима — лето, зима — лето...

Анфиска робко улыбнулась, будто винясь за свое такое желание — полететь птицей.

— Правда, Паша... Бабе всегда только и солнышка отпущено, что в детстве. Девчонкой прыгаешь, ничего не знаешь, думаешь: как все. А вырастешь — нажалеешься, что баба... Конечно, не у каждой так.

И опять она вспомнила поезда. Почему-то в них всегда много красивых женщин. Некоторые уже пожилые, с седой в висках, а все равно красивые. Не лицом даже, а чем-то таким, чего Анфиска никак не могла понять. Вольностью своей, что ли? Они красиво прогуливались вдоль вагонов, красиво ели мороженое, красиво смеялись и разговаривали с мужчинами, тоже красивыми, породистыми. Платформа была единственным местом, где Анфиска прикасалась к этому шумному веселому миру, существовавшему сам по себе в неведомом далеке от ее, Анфискиной, жизни.

— Есть — на всю жизнь баба, а есть — женщины, — сказала Анфиска, прервав свои размышления. — Кому как выпадет.

— А ты тоже красивая, — Чепурин за плечо качнул Анфиску к себе. — Смотрел я, как сено ворошила: красавица!

— Какая, Паша, красота, если по три гектара свеклы на брата... Ногти позаломились...

Небо все расцвело, все голубело в том месте, где проходила высокая и ясная луна. Оставив ее сиять одну, звезды далеко вокруг отступили, истаяли и только понизу, над самыми деревьями, где было темнее, проглядывали редко и несмело, будто боялись помешать праздничному шествию луны. Может быть, она разгоралась бы и дальше, но как раз в это время что-то притрунулось к ее левому боку, чуть надавило, оставив едва заметную вмятину.

— Смотри, Паша!

— Вижу.

Они притихли, вглядываясь.

Казалось, все оставалось прежним: и мерцающая бездонность неба, и сама луна светилась все с той же беспечной ясностью; но это безмолвное, вкрадчивое чье-то прикосновение к луне сразу же было замечено и лесом и лугами.

Коростель оборвал свой скрип и насторожился. Скрипнул еще раз неуверенно, затих и не подал больше голоса. Поредел и рассыпался хор камышевок.

Наступила тревожно настороженная тишина.

Стало слышно, как в тени обрыва, обмывая камыши, дремавшие у берега взбродку, всплескивалась вода. Казалось, Десна бежала у самого изголовья, и, чтобы достать до реки, стоило только протянуть руку.

— Давай Витку разбудим, — сказал Чепурин, невольно переходя на шепот.

— Зачем?

— Поглядит на затмение.

— Мал еще... Что он понимает?

Чепурин покосился на часы.

— Сколько? — спросила Анфиска.

— Четверть второго.

— Тихо как стало.

— Ага... Будто отрезало...

— Луна, как откусанное яблоко... Совсем закроет?

— Говорили — совсем...

— А мне почему-то жалко ее...

— Ну что ты...

— Правда. Даже как-то не по себе.

— Это всего только тень.

— Знаю, что тень. И в школе учила — тень. А тревожно. Тебе разве нет?

— Непривычно как-то.

— Вот и птицы затаились. Тоже понимают...

Подчиняясь нахлынувшей тишине, они и сами притихли и долго лежали молча, наблюдая затмение.

По реке стукнуло весло. Высокий бабий голос позвал:

— Анфи-са!

По лесу изломанно прокатилось: «И-са, и-са», и, затихая, эхо потерялось в лугах, среди стогов.

— Тебя...

— Домой кличут. У них там лодка.

— А-у, Фиска-а! Поехали-и!

В ответ в лугах залиvisto заржала лошадь.

— Затмение начало-ось! — кричали с берега бабы. — Где ты там?

Кто-то постучал в косу, потом еще покричали и стихли.

Было далеко слышать, как время от времени переправлялись лодки: стучали о борта весла, позвякивали причальные цепи, перекликались бабы. И еще долго потом доносились с той стороны лугов постепенно затухающие голоса.

— Уехали, — сказал Чепурин.

— Пусть... — твердо проговорила Анфиска.

Из вороха травы, примятого посередине и закрывшего краями лес, им было видно одно только небо и круг луны, на который слева все напоззало и напоззало что-то зловеще-неотвратимое, что принято просто называть тенью.

Чепурин и Анфиска вдруг почувствовали себя затерянными в обезлюдившем, притихшем лесу.

— Глухо-то как...

— Боишься?

— Нет... — И, помолчав, добавила: — С тобой не страшно.

Они глядели на медленно угасающую луну, и Анфиска вспоминала, как все эти годы думала об этом человеке, в одиночки невысказанных мечтах примеряла его к своей жизни. Вспоминалось, как однажды увидела на дороге мотоцикл. Ехали незнакомые мужчина и женщина, усталые, в запыленных комбине зонах. Он — за рулем, а она — сзади: обхватила его за бока, прижалась щекой к спине — от ветра, и ехали. Долго она смотрела им вслед, пока не скрылись за горюшкой, а сама все прикидывала, как бы она тоже вот так поехала... Хоть на край света... И чтоб тоже был ветер... А то раз привезли в сельпо пододеяльники. Хорошие такие, с русской мережкой по углам. Смотрела, как люди брали на приданое девкам-невестам, и завидовала... И опять прикидывала, как бы она застелила все новое... И хотя знала: ни к чему это, никогда тому не бывать, а все-таки приходили такие мысли, все примеряла его к себе... И сегодня тоже: косила, а его рядом с собой ставила... Только когда и вправду приехал — испугалась. Ждала, ждала этого часу, а самой жутко стало... И жутко и хмельно...

Вспоминая все это, украдкой разглядывая его лицо при лунном свете, Анфиска бережно провела пальцем по шраму на щеке Чепурина.

— Чем это тебя, Паша?

— Осколком.

— Будто ножом.

— Это меня напоследок в Берлине угостили гранатой с чердака.

От темного шрама, затянутого гладкой и бесчувственной кожей, Анфиска провела пальцем по светлой живой щетине на подбородке, попробовала расправить лучики морщин на

виске. С тихой задумчивостью разглядывала она залитое лунным светом лицо Чепурина — суровое и грубое вблизи, с крупными сухими губами, с жесткими кустиками выгоревших бровей. Двигая кадыком, он заглывал дым папиросы и неторопливо выпускал синий жгут, целясь им в комаров. Анфиска удивлялась, как много он набирал дыма, который долго еще потом, при каждом выдохе, курился из ноздрей постепенно затухающими струйками. От лица Чепурина веяло спокойной надежностью, и, может быть, оттого оно казалось Анфиске даже красивым, а больше всего — понятным: в нем ничего не настораживало и не отпугивало.

— Смотрю я на тебя: вот и городской, а какой-то ты наш... — тихо проговорила Анфиска. — Будто в деревне вырос.

Он сузил глаза, жесткие кустики бровей обрывисто нависли над переносьем. Долго лежал так, сощураясь, остро глядяваясь в луну, а может быть, и во что-то свое, в самом себе.

— Вот вспоминаю свое мальчишество, — сказал он задумчиво. — Кажется, оно было страшно давно. Как до рождения Христова.

— А я будто вчера девчонкой бегала, — сказала Анфиска. — Даже платья, какие носила, помню.

— Тебе повезло. Все-таки цельным куском живешь. А я другой раз силюсь представить что-нибудь из тех лет, закрою глаза и вижу совсем не то... Какие-то балки огненные рушатся... Люди бегут... Черные против огня... Бегут и падают...

Анфиска зябко поежилась.

— Насмотрелся ты за войну. Оттого и так...

— Может быть... Никак я не пробьюсь сквозь все это в те свои годы... Где-то они остались по другую сторону... Как за лесным пожаром. И не связываются с теперешними.

— Сколько тебе тогда было?

— Семнадцать.

— Молоденький совсем.

— Из девятого класса пошел. Перевязал веревочкой свои физики-химии, недоделанные планеры на чердаке спрятал и — потопал... Думал, приду — доделаю... Я даже девчатам писем не писал: не успел завести. Все планеры клеил.

Чепурин потянул из вороха травинку, пожевал, поиграл ею в губах, продолжая задумчиво и пристально глядяваться в ночное небо.

— И все это куда-то ушло... Самый лучший кусок жизни. Будто и не я тогда был на свете... Так вот и живу какой-то укороченный.

— Может, от ранения это?

— Может, и отшибло... Такое теперь ощущение, словно я впервые появился на свет не в родильном доме, как это положено, а в армейском госпитале. Вынырнул из хлороформа, будто из небытия и, как младенец, смотрел на божий мир. Ко всему нужно было привыкать заново...

...Помню, первое, что я тогда увидел после операции, — были стенные часы. Я долго смотрел на маятник. А он не спеша так раскачивается. Как, бывало, дома... И тишина... Еще недавно все грохотало, а тут тихо... По этому маятнику и догадался, что живу...

А еще помню, в палату вошла медсестра, — по губам Чепурина скользнула грустная улыбка. — Вот говорят: не бывает любви с первого взгляда... Она вошла такая белая, чистая. Я смотрел на нее, как на чудо... Подсела ко мне и говорит: «Ну вот, все в порядке. Теперь будете жить». А я даже не словам, а одному только голосу ее обрадовался.

— Это уже после Берлина?

— Берлин еще брали. На тумбочке вода в графине все время вздрагивала... Это было в Эбенсвальде, в полевом госпитале. Я лежал весь в бинтах, и голова и грудь, только ежик между бинтов торчал на макушке.

— Больно, наверно, было?

— Тогда еще нет... Она сунула мне градусник под шею. Сказала, чтобы прижал его подбородком. Я наклонил голову и увидел близко перед собой ее руку... Не знаю, что на меня тогда нашло. Я дотянулся до ее пальцев губами и поцеловал... Они были прохладные, чистые... И душистым мылом пахли... Она не отдернула руку, а только потрепала мой ежик. Я никогда не был такой счастливый, веришь?

— Понимаю, Паша, — кивнула Анфиска.

— Может быть, потому, что для меня уже кончилась война. А тут еще весна за окном: солнце, небо синее, деревья зазеленели... А может, и оттого, что из детства вынырнул прямо взрослым парнем. Минуя юность. Она была для меня каким-то открытием. Во мне впервые проснулось что-то радостное, благодарное к этой белой девушке.

— Жалко, что не я была это, — прошептала Анфиска. — Я так бы и сидела около тебя... Ты правда ее любил?

— В тот день она раза три ко мне подходила... А на другое утро меня эвакуировали.

— Так сразу? А она?

— А что она? Для нее я был просто раненый. Сотый или тысячный. Я даже имени ее не знал. Да это было и не важно.

Я радовался одному тому, что она есть, кроме огня, трупов, вонючих портянок...

На поляну неслышно выметнулась летучая мышь, стремительно, изломанно заметалась над валками. Несколько раз она совсем близко пронеслась над Чепуриным. Потом так же неслышно пропала — загадочное существо, своим появлением всегда странно и неприятно упрекающее человека в бренности его страстей. Анфиска поискала мышь в лунном небе, но не нашла и тихо спросила:

— А что потом было? Расскажи, Паша. Я ведь только и знаю про тебя, что ты наш председатель.

— Потом? — Чепурин потянулся к пачке «Беломора», лежавшей рядом с ним на траве, раскурил папиросу и выпустил дымный бублик, целясь им в луну. — Потом валялся в госпитале. В Рязани. Война давно кончилась. На дворе июль, отцвели госпитальные липы. Многие раненные разъезжались по домам. Долеживали самые бедолаги — обгорелые, ампутированные. В палатах пусто, нудно... Я тоже стал проситься на выписку. Правда, раны еще не затянулись, но меня не стали задерживать: госпиталь тоже спешил сворачиваться. Направили меня лечиться по месту жительства. Есть такой городишко Борисоглебск, может, слыхала?

— Нет...

— За Воронежем... Пришкондыбал домой. Костыли, рука на перевязи. Мать что-то стирала. Постарела, будто прошло десять лет. Кинулась ко мне красными распаренными руками. Обступили сестренки — друг друга не узнаем: вытянулись. Набежали родственники: одни бабы. То смеялись, то плакали, то опять смеялись... Знаешь, как это бывает, когда одни бабы. Все ведь остались вдовы.

— Знаю, родной... — вздохнула Анфиска. — Я тогда еще маленькая была, а помню: как почтарка пройдет — то в одном дворе плач, то в другом. Да и теперь еще ревут... Когда праздники...

— По всей России было так... Переполовиненные города и деревни. От отца тоже одна увеличенная карточка на стенке осталась... Из нашей семьи девятеро ушло. Сначала батя с дядьями. А следом и мы, пацаны. И все там... От самой Польши до Москвы могилы Чепуриных тянутся. А потом еще и в обратном порядке.

Чепурин несколькими затяжками жарко раскурил папиросу, морщась, заговорил пополам с дымом:

— В общем, вернулся я в свой Борисоглебск. Начислили мне сто восемьдесят три рубля пенсии. А стоптанные башмаки на барахолке тысячу рублей стоили. Пачка папирос —

четвертная... Думал-думал, решил пойти в школу доучиваться. Поступил прямо в дневную. Все к лешему перезабыл, все эти синусы-косинусы. Ночами сидел догонял. Утром в школу иду — ветром шатало...

— Я бы так не смогла.

— Что было делать? Правда, в школе меня уважали. Бывало, иду по коридору, костыль скрипит, медали звякают, малышня жметя к стеночке и тихо так: «Здрасьте», «Здрасьте»... А директор говорил: «Если надо покурить, заходи в мой кабинет, вместе покурим. Только не при детях, пожалуйста»... В общем, всякое было... — Чепурин махнул рукой и замолчал.

— Говори, Паша, — попросила Анфиска. — Мне все интересно про тебя.

— Ну что еще рассказать? В тот год я все-таки десятилетку не закончил. Весной открылась рана на плече. Положили в госпиталь. Опять что-то резали. Сдал экзамены только на другую весну. Потом уехал в Харьков... Вон опять мышшь появилась... — Чепурин кивнул подбородком. — Смотри, смотри! Совсем не боится. Даже ветер по лицу.

— Это она около твоей рубашки. Они белое любят.. А в Харьков зачем, Паша?

— В Харьков? Надо же было как-то выкарабкаться... Поехал поступать в институт. С условием, что из дому не будут высылать ни копейки. — Чепурин рассмеялся. — Вот тоже была веселая жизнь. Бывало, разживемся гуашью и рисуем друг другу носки — прямо на голой ноге. Кому в клеточку, кому в полосочку. Красивые носки получались. Если краски покруче на казеине замешать — износу нет. От бани до бани... Вот так, Анфисушка, я стал инженером железнодорожного транспорта... Ну что еще? Направили меня в Смоленск. Года не проработал, как меня сюда, к вам, на укрепление МТС... На этом вся моя городская жизнь и закончилась. Успел только жениться, перед самым отъездом.

— У нас бы и женился, — робко усмехнулась Анфиска.

— А я откуда знал, что поеду? Знал бы — повременил... Тебя бы взял. Пошла бы?

— Пошла...

— Ты тогда еще в школу бегала.

— Четырнадцать было.

— Стручок зеленый.

— Все равно через три годочка выскочила.

— Да, как бежит время! — шумно выдохнул Чепурин. — Вот уже и двенадцать лет, как я здесь... Помню, прихожу из обкома домой, месяца три, как поженились. Так и так... Едем

в деревню!.. В какую такую, говорит, деревню? Посылают, как молодого специалиста. Какой, говорит, ты специалист? Там же трактора, а ты паровозник. Пойди и объясни им... А что им, говорю, объяснять? Они и сами знают, что паровозник. Так и знай, говорит, никуда я не поеду! Я замуж вышла не за твою МТС... В общем, собрал я чемоданчик и поехал.

— Без нее?

— Один... Я тогда уже коммунистом был. Не пойдешь же говорить: мол, жена не хочет... У всех жены не хотели... Тогда только в ваш район человек тринадцать послали. Были и добровольцы, но в основном рекруты. Помню, ходят кислые по обкому. Иные разными справками запасались. Так и хочется сказать: да не тяните вы их, все равно удерут... Так и не прижились они в деревне. Потихоньку разбежались. Кто сразу, кто еще года два-три проволынил.

Чепурин опять потянулся за папиросой.

— Ну, вот... Приехал я в МТС, только малость огляделся, меня через пару лет — в колхоз, в Погожее. Он тогда отделен от вас был. Снова на укрепление.

— Досталось тебе, Паша, — вздохнула Анфиска.

— А, да ладно... Ну их к ляду, все эти воспоминания, — засмеялся Чепурин. — Начали про луну, а съехали черт знает куда... Смотри, как уже накрыло, сердешную. А все равно светит, не сдается... Был я недавно в своем Борисоглебске... Походил, поглядел... У нас тут лучше... Красота!

— Отвык, поди...

— Да и отвык... Что это вон там под кустом блестит?

— Где?

— Да вон... Смотри на ту ветку. Видишь? Ну и сразу под ней.

— Теперь вижу... — Анфиска присмотрелась. — Это паутина, Паша. Росой ее обдало, а паук ползает и раскачивает... Она и взблескивает.

— Все-то ты знаешь! — радостно удивился Чепурин. Он погладил ее волосы, и она, вся встрепенувшись от этой его ласки, поднялась на локте и, стараясь заглянуть ему в глаза, взволнованно спросила:

— Тебе хорошо со мной?

Чепурин кивнул.

— Правда? — с каким-то счастливым испугом переспросила Анфиска.

— Правда.

Она порывисто обняла Чепурину, припала щекой к его груди, жарко, обрадованно зашептала:

— Мне тоже... Мне так хорошо, что хочется пойти с тобой куда-нибудь... И сама не знаю куда...

— Сейчас в поле хорошо, — сказал Чепурин, перебирая пальцами Анфискину косу. — Хлеба подходят... Светлые стоят.

— И молодым зерном пахнут, — кивнула Анфиска. — В эту пору мы ребяташками всегда в поле бегали... Наберем снопиков, а потом где-нибудь на костре печем. Не пробовал?

— Нет.

— Зерно молоденькое, быстро печется. Как усики обгорят, так и готово.

— И как же потом?

— А очень просто. Нашелушим в ладошку — и в рот.

— Никогда не пробовал.

— Вкусно! Свежей булкой пахнет. Как только что из печки. Особенно, если посолить маленько... Я поле люблю... Всякое люблю... И когда снег только сойдет... Кругом еще серо, а оно уже зелено. Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдет — видно... А то когда еще дождь в мае... — задумчиво шептала Анфиска. — Теплый, с громом... Гром ворчит, как дедушка... И дождь тоже добрый, веселый... Земля так и поднимается под ним... И хлеба на глазах рослеют... Утром стояли чуть выше щиколотки, а к вечеру уже и до колен... А в лесу кукушка без устали... Дождь, а она будто и не замечает...

Обняв Чепурина, она говорила все это, закрыв глаза, счастливо хмелея от своих видений. И хотелось ей, чтобы не она одна это видела, а чтобы вместе... Так бы вот идти и идти вдвоем...

— А на заре летом, — продолжала шептать Анфиска, — когда идешь полем — тепло в хлебах. Лугом идешь — зябко, а свернешь в хлеба, сразу согрешься... Так теплом и повет... Берегут теплоту от самого дня...

— Тебе б стихи писать.

— Не умею я стихов.

— А вот так, как говоришь.

— Что вижу, Паша, то и говорю.

— Хорошие у тебя глаза... Ворожея ты моя! Вот бы, правда, птицами нам с тобой заделаться?

— Перепелками... — подсказала Анфиска.

— Давай перепелками... Ты впереди, а я за тобой: «Дай догнать! Дай догнать!» Так они, кажется?

— И никуда б я от тебя не полетела! — тихо, радостно засмеялась Анфиска.

— Почему?

-
- До первой кочки только...
- Да почему до первой кочки-то? — не понял Чепурин. — Сама говорила — до моря...
- Это если б одна...
- А со мной — до кочки? Непонятно...
- Что ж тут понимать... Сразу бы и яичко тебе снесла...
- А-а! — рассмеялся Чепурин.
- Соскучилась я без гнезда...
- Нет, сначала полетали бы, — сказал он, рассматривая, как путалась луна в легком подсвеченном дыме Анфискиных волос. — Хлеба посмотреть надо... Я хоть и перепелом летал бы, а все-таки душа у меня председательская... Косить, голубушка, скоро... На днях ездил во вторую бригаду. Ничего пшеничка...
- Хорошая?
- С хлебом нынче будем.
- Каждый год так говоришь.
- Теперь точно будем.
- Не сердись, Паша. Люди видят: стараешься ты...
- А я и не сержусь, — примирительно сказал Чепурин. Он приподнял ее голову со своей груди и поцеловал.
- И не полетим мы с тобой никуда, — обнимая Чепурину, прошептала Анфиска. — Никакими перепелками. Нам и тут хорошо... Что нам еще нужно. Правда?
- Правда.
- Мой ты сейчас, и все... Пусть до света... Пусть одна трава только постелью... А все-таки не сон, а правда... Я только во сне вот так с тобой была... С того самого раза, как подвез ты меня на машине... Помнишь?
- Помню...
- И не сказал ты мне тогда ничего такого, а как-то запало... Заболела тобой душа...
- Потому и не сказал, что сам растерялся.
- А я после того случая даже встречаться с тобой боялась... Только на собрании на тебя и погляжу, когда в президиуме сидишь... Да так, когда украдкой... Думала, заметишь что во мне... Не хотела, чтоб ты знал...
- Что ж меня бояться?
- Думала, зачем тебе это... Работа у тебя такая, на виду у всех, а я тут со своим...
- Вот дуреха!
- Когда покосили, когда было все... думала: ни за что не признаюсь, что люблю... Было, ну и было... Считал бы, что тоже у нас с тобой, как у этой луны, затмение вышло...
- Ну, зачем же ты на себя так...

— Не знаю... А теперь, будто век с тобой прожила... Вот ты говоришь — в поле бы сейчас... Я б с тобой хоть на край света... А только лучше бы по улице... Открыто... Чтоб народ был и чтоб все видели...

Анфискины глаза влажно заблестели.

— А плакать-то зачем?

— Это я от жадности... Первый раз со мною такое... Вот и замуж ходила, а такого не было, чтоб как пьяная... Я ведь молоденькая за него пошла. Покатал на лодке, духов в коробке подарил, никогда таких не видела... Ну, я и думала, что это и есть любовь... Что я понимала? Мы ведь все дуры девки так выскакиваем.

Анфиска говорила порывисто — скажет и помолчит, будто теперь только начинала понимать, осмысливать прожитое.

— Он все говорил: я из тебя конфетку сделаю. Давай, говорит, шляпу купим. И косу, говорит, теперь не носят... Как-то поехал в город, смотрю, правда, привозит шляпу... А я никак не могла шляпу-то эту... Всю жизнь в платках... Другой раз думаю: уважить все-таки надо... Все уйдут из дому, а я — примерять перед зеркалом. Примеряю, и в зеркало себя не вижу: так стыдно!.. Думаю, ладно, не сразу. Может, и к шляпкам привыкну... Жизнь еще вся впереди. Вот передем с ним в город, там, может, надену... А на этом все и кончилось... Пожила три месяца, а потом часть ихняя снялась, и он уехал... Говорил, что, как приедет на место, вызовет телеграммою. И по сей день... Поплакала я, заплакала, да и ждать перестала. Маленький родился... Вот и вся моя любовь, Паша... Даже к замужеству не успела привыкнуть... Будто в тяжелой болезни побывала.

— Тебе холодно? — спросил Чепурин. — Ты вся дрожишь...

— Это я когда наговорюсь. Про свою жизнь. Меня и колотит... Смотри, как уже закрыло луну-то.

— Ага.

— И звезды высыпали.

— Это потому, что небо потемнело.

— Я когда маленькая была, думала: звезды — это просо рассыпано.

Чепурин усмехнулся.

— А месяц — петушок.

— Выдумщица!

— Правда... Мне тогда везде сказки чудились. Бывало, найду битое стеклышко, зеленое или красное, приложу к глазу, да так бы все и смотрела: сказка!

Анфиска задумчиво посмотрела на обломок луны.

— Давеча иду лугом: лошадь с жеребеночком. Сама спутанная по ногам и над сбитой холкой мухи вертятся. А жеребенок знай себе вынашивается. Щипнет раз-другой травку и скачет — ног под собой не чувствует. Ему щипнуть не главное. А самое важное — вот так по траве розовыми копытцами помельтешить. И наверное, все ему сказкой кажется... А мать, гляжу, ест, ест эту самую траву, жадно так, словно бы работу выполняет: надо. А сама все глазом косит на жеребенка. Увидит, что далеко забежал, поднимет голову и тревожно так позывает... Поглядела я на них и по этому жеребенку да по лошади себя узнала: какая была и какая есть теперь... Я ведь в детстве как считала? Хлеб — это так, между прочим... Даже и голодно было, и то... Главное — в стеклышко поглядеть. А теперь все наоборот, как у той лошади...

— Сама ты стеклышко битое, — рассмеялся Чепурин и растроганно привлек к себе Анфиску. — Так бы и глядел через тебя!

— Что ты через меня увидишь?

— А вот вижу... Как-то чисто, хорошо... А насчет лошади — это ты на себя наговариваешь. Человеку никогда не перестанут чудиться сказки. На то он и человек. И у тебя она есть.

— Разве ты только, — вздохнула Анфиска. — Вот едешь мимо дома, а я так и подскочу к окошку. Будто магнитом притянет. Отодвину занавеску и высматриваю в дырочку. Как раньше в детстве через это самое битое стеклышко. И, кроме тебя, никого и не замечала. Гляжу, а у самой так и кольнет сердце: может, зайдешь в избу-то... Но так ни разу и не зашел... Не сказка, а горе ты мое... Видеть вижу, а не достану. Как тот мой золотой петушок в небе.

— А вот и достала...

— Минутное это все, Паша... До свету. А хочется, чтобы всегда было так...

5

Кто-то невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от нее только тоненькую дынную корочку с правого края. В тусклом призрачном свете глухо темнел лес. Чуть приметно брезжили белые валки покоса. Было слышно, как с кустов падала роса. Отяжелевшие капли срывались и, падая, разбивались о встречные листья. Кусты неумолчно шуршали и перешептывались.

— Какую ночь мы себе выбрали, — затаенно прошептала Анфиска.

— Не будь затмения, я б и не решился приехать, — сказал Чепурин.

— Почему, Паша?

— Ну, как это?.. Ни с того ни с сего... А то думаю: затмение, дай помогу. Вроде как причина. Наверно, сразу все и поняла?

— Я думала, ты выпивши.

— Да нет... Не было такого...

— Вижу, говоришь как-то не так... Думала, выпил.

— Это я от страха, должно быть, — засмеялся Чепурин. — Еще в дороге: стал у паромщика косу просить, а он посмотрел на меня хитрым бесом и говорит: «Покосись, покосись, председатель... Дело твое молодое... Только косу не утерай... Завези утречком-то». А до того на станции: зашел в буфет купить кое-чего, а буфетчица с усмешкой: «Кара-Кумчиков» возьмите, пригодятся...» Вот язва! А ну их всех! Давай-ка мы лучше перекусим. С утра ничего не ел...

— Поешь, родной.

— И ты тоже... Я сейчас принесу.

Чепурин поднялся, пошел к мотоциклу.

Анфиске было жалко, что он ушел, и она протянула и положила руку на примятую рядом с ней траву, будто хотела укрыть и сберечь в траве оставшееся после Чепурина тепло. Дождаясь, она прислушивалась, как он копался в мотоцикле, и ей было непонятно, как она все это время жила без него... И как будет жить завтра, когда из-за этого вот леса взойдет солнце и наступит день... И после завтра... И страшась и не желяя думать об этом, она нетерпеливо позвала:

— Паша!

— Иду! — откликнулся он издали, смутно белея рубашкой.

Возвратясь, он сел на краю, свесил ноги с обрыва, зашуршал бумагой, разворачивая сверток.

— Давай сюда, на бережок... — сказал он оживленно. — Черт, луна совсем спряталась... Костер, что ли, разложить?

— Не надо... Не возись...

— Ну, фару давай засветим.

— Ну ее...

— Я тут бутылку прихватил, — смущенно сказал он. — Выпьешь маленько? А то прохладно все-таки... Озябла, поди?

— Глоточек выпью...

— Белая только.

— Ничего...

— Жалко, стаканчик не догадался захватить. У тебя нет?

— Кружка есть. В узелке возле Витюшки.

-
- Пойду возьму.
 - Не ходи, Паша. Жалко ведь...
 - Чего жалко?
 - Минутки наши бегут... Дай, я так выпью.

Анфиска отпила один глоток, потом, расхрабрившись, глотнула еще и еще, но, почувствовав, как перехватило дыхание и навернулись слезы, отняла бутылку от губ, невидяще протянула ее в сторону Чепурина и шумно задышала в ладошку.

— С ума сошла, столько выпить! — ужаснулась она. — Пьяная буду. До стыда.

— Ничего, — подбодрил Чепурин. — Согреешься. Бери, поешь. Тут вот сыр... Пирожки какие-то... Колбаса... Сейчас порежу. — Чепурин шелкнул складником. Под ножом вкусно запахло чесноком. — Ешь давай. Еще вот яблоки моченые.

Анфиска жевала, поглядывая на реку. В темной воде светились редкие звезды. Река старалась унести их с собой, качала и дробила на невидимых струях, но звезды, будто позолоченные поплавки, снова возвращались на прежнее место. Заречного берега не было видно, но временами с той стороны легким дыханием ветерка доносило запах спелых стогов.

В деревнях на берегу перекликались ранние петухи.

— Сеном как пахнет! — глубоко вздохнула Анфиска, радуясь еде, выпитым глоткам водки, реке, запаху сена и всей этой вольнице.

— Ехал я сегодня лугами, — говорил Чепурин, шурша в темноте газетой. — От самого райцентра по всей пойме стога и стога. В глазах рябит. Тысячи!

— Ключевские тоже убрались?

— Все! До последней балки.

— А в Капустичах?

— Докашивают, копны свозят. Поглядел — народу в лугах! Ни в какие годы столько не было. Праздник!

— На хорошее — народ дружно.

— Подъехал я к одному дедку. Сухой, как стручок, штаны пустые, но косишкой рьяно так шмурыгает. Ну, как, говорю, отец? Идут дела? Остановился, смеется красными деснами: что ж им не пойтить... Одна, говорит, осталась нам работка, где вот так-то всем миром: сенокос. Отстранили вы нас, стариков, от поля. Обезлюдела жатва. Разве што со стороны поглядишь с дороги. А што справа от той дороги и што слева, — вроде как и не мое теперича... Ты, говорит, только не записывай... Это мы промеж собою, сынок. По душам... Хоть ты и не нашенький председатель, а соседс-

кий, однако тебе тоже сказать надо. — Смотрю, у дедка уж и руки трясутся. Крутит сигарку, а табак в разные стороны. — И еще скажу: с народом лады, сынок. Не шушукайся от него по кабинетам.

Чепурин откинулся на спину, положил голову Анфиске на колени и лежал так недвижно, лицом к потухающей луне. Она истаивала безропотно, в настороженно больной тишине, объявшей землю и небо. Слабый свет узкого серпа терялся где-то в вышине, не достигая земли, и все здесь, внизу, было погружено в тревожное затаенное ожидание. Было только слышно, как бежала река, да невидимые деревья и травы роняли невидимые капли росы.

— Надо пораньше в «Сельхозтехнику» смотаться. Кое-что к комбайнам выколотить... Хуже нет любить председателя!

— Да почему же, родной?

— Разговорами про гектары да центнеры замучает.

— Этим и живем, Паша...

— Да и поговорить не с кем... Так вот, чтоб начистоту. Все в себе носишь... Разве что жене сказал бы... Так ей наплевать на все это... Вот поехала загорать. А потом какие-то одноплатники письма шлют... — Чепурин вздохнул. — Один я, Анфиса...

— Верю, родной, верю...

— Последнее время уставать начал. Старею, что ли? Такое ощущение, будто с самого фронта не демобилизовывался. Кажется, что и сапоги те же... Где-то люди в театры по субботам ходят, в выходной с книжкой на диване валяются... Лет пять как ни одной книжки не прочитал.

Тень земли скрыла последние остатки лунного диска. Откуда-то набежавшие тучи, разрозненные и сонные, глухо серея, медленно подкрадывались к луне. В развоях между ними синело небо, слабо подсвеченное звездами. И на этой синеве отчетливо вырисовывался черный круг, окантованный по краям блеклым отсветом. Казалось, в небе висела луна с мертвым, незрячим лицом. В темноте, перебирая его волосы, Анфиска чувствовала на коленях приятную тяжесть головы Чепурина, улавливая запах вина и папирос в его дыхании, и все это пробуждало в ней счастливое чувство близости и родства к Чепурину.

Чепурин поднял руку и в темноте ответно провел ладонью по ее щеке.

— У тебя хорошие руки, Паша.

— Чем они хорошие?

— Добрые... И травой пахнут... По рукам можно узнать, любит человек или не любит.

— Как это?

— Не знаю... Не могу тебе объяснить... Просто чувствую... Человек может сказать неправду, а руки — нет...

— Добрая ты душа, Анфиса. Вот живу я со своей... Приеду вечером домой, только и скажет: обед на плите. Или: сапоги оскреби... И весь разговор...

— Почему так, Паша?

— Теперь и не разобрать, кто виноват. Может, и сам... Заез в деревню, по полям мотаюсь. Ни выходного, ни отпуска. Все откладывал с отпуском. Да и когда было? Что ни год — то суматоха... Она ведь от меня уже уезжала. Два года не жили... Говорит, что у матери была, а так кто ее знает... В общем, застарелая болезнь у нас с нею... Никакому теперь уже лечению не поддается... Вот настояла сынишку отправить к бабке.

— К твоей матери?

— Ну, что ты! В Смоленск! У них там пианино и все такое... Мол, тебе один колхоз на уме, а мальчику расти надо... А я, правда, его и не вижу. Без меня вырос.

— Сколько ему?

— Да уж одиннадцатый... Теперь и вовсе пусто в избе без него... Вчера вечером заехал домой — никого! Даже ходики стоят, гирька до полу...

— Все я понимаю, — вздохнула Анфиска. — Не бесчувственная.

— Вот узнает начальство, что я тут с тобой на бережку... лунное затмение наблюдаю... Персональное дело заведут... На днях заехал я в райком, усадил меня первый в кресло, про колхоз стал спрашивать. Раньше никогда не спрашивал, сам все знал. Потом и говорит: давай, Чепурин, пиши заявление, пересмотрим твои выговоры. Сколько их у тебя накопилось? Три, кажется? Полный кавалер!.. Смеется: ну ничего, снимем... Будем, Чепурин, дальше двигать историю. Смотри, какой нам простор теперь дали... А да леший с ними, с выговорами! — Чепурин приподнялся с Анфискиных колен. — Мне бы еще пяток лет поработать. Охота посмотреть, как оно пойдет...

— Ты еще молодой, Паша. Вон как мы давеча поляну-то уложили.

— Это я перед тобой только... Петухом... Вот раны начали донимать. На пятый десяток уже перевалило... По годам посчитать — много, а если разобраться, то по-человечески еще и не жил. Ни в городе, ни в деревне...

Невидимая и сильная река бежала где-то под ними, в темной глубине русла. Десна наполнилась множеством то тихих, едва уловимых, то вдруг шумных напряженных выплесков и, как живая, дышала в своей неутомимой работе терпкой речной испариной. По этим всплескам угадывалась ночная жизнь реки, можно было представить, как у глинистых твердолобо-упорных мысов струи закручивались тугими пружинами, то устремляясь в глубину сосущими воронками, то выбрасываясь наверх донной гневно кипящей водой. И как потом усталая река отдыхала на чистых пологих песках, сама становясь чистой и спокойной, и как мирно перешептывалась она с дремавшими камышами и осоками.

Сквозь речную сырость с другого берега от стогов прорывался слабый предутренний ветерок, и тогда дурманно и хмельно пахло переломившимся летом.

— А мне ты все равно молодой... — прошептала Анфиска. — Не смотри ты на эту луну... Ну ee!..

Она рывком обняла Чепурина и страстно, голодно стала целовать, закрыв его лицо рассыпавшимися волосами...

6

На востоке робко, бескровно посветлело.

Проступили обвисшие под тяжестью росы, похожие на косматых старух древние уремные ракиты. Наплывшие под утро мышино-серые тучи уплотнились, закрыли луну, так и не успевшую осветлиться, и все, что теперь с ней делалось, — происходило в незримом таинстве. Все вокруг было наполнено сосредоточенным раздумьем, будто природа, только что пережившая таинственную операцию над луной, теперь притихшая, томимая неизвестностью, ждала окончательного исхода. Даже камышевки не решались поднимать обычный утренний гам и, сторожко перепархивая в кустах, односложно посвистывали вполголоса.

Деляна, еще вчера полнившаяся пестрой кипенью цветов, неузнаваемо опустела и попросторнела, будто комната, из которой за ночь вынесли все. Скошенные травы к утру обессилели, приникли к земле и теперь в сером полусвете утра однообразно маячили туманно-сизыми стенами.

— Пора нам... — сказала Анфиска.

Чепурин кивнул, но продолжал лежать.

Анфиска приподнялась и, обхватив колени и положив на них голову, уставилась на одинокую былку морковника, слу-

чайно уцелевшую на середине поляны. Потом стала переплетать растрепавшуюся косу.

— Да... — что-то подытожил Чепурин и рывком встал на ноги.

Он молча сгреб копнушку, раструсил ее между валками, разобрал косы и отнес их к мотоциклу.

— Бери Витюшку, поедem, — сказал он, развернув и вытолкнув из травы мотоцикл.

— Нет, Паша, — потупилась Анфиска. — Поезжай один.

— А ты как же?

— Я сама.

— Ну что ты! Все лодки на той стороне.

— Тебе на паром надо...

— Ерунда... Старик болтать не станет.

— Нет, нет... не проси.

— Ну как же... Были, были и — я в одну сторону, ты — в другую...

— Такая наша доля...

— Ну, не надо так... — нахмурился Чепурин. — Не могу я тебя бросить.

— Это, Паша, не бросанье... Вот, если разлюбишь...

Анфиска потянулась к нему руками, обняла, прижалась всем теплым устало-ласковым телом и, откинув голову, заглянула в его глаза — доверчиво и открыто...

— Поезжай...

— Не поеду я один. — Чепурин нагнулся, поддел под Анфискины колени, поднял ее на руках.

— Не надо, Паша, — попросила Анфиска. — Послушайся. Не надо, чтоб нас с тобой видели. Понимаешь?

Чепурин поставил Анфиску на землю.

— Давай хоть Витюшку отвезу. Намучился парнишка...

Витька крепко спал на охапке травы. Под накинутой на него телогрейкой он казался маленькой незаметной кочкой. Из-под насыревшей полы торчала только босая, искусанная комарами ножонка, покрасневшая от крепкой утренней свежести.

Анфиска и Чепурин присели перед ним на корточках.

— Крепко спит, косарь! — потеплев лицом, усмехнулся Чепурин.

— Витя, сынок... — Анфиска потормошила его, приподняла сонного. Растрепанный, с отпечатавшимися травинками на заспанно-округлой щеке, Витька, не открывая глаз, подгибал ноги и расслабленно опять оседал на траву.

— Вить, домой поедem...

— Как разоспался парень!

— С дядей Пашей. Знаешь дядю Пашу? Наш председатель.

Витька потер кулаками глаза, расклеивая пухлые губы, проговорил:

— Зна-а-аю...

— Ну вот, — обрадовалась Анфиска. — С дядей Пашей и поедешь. На мотоцикле.

— Ла-адно...

Чепурин надел на него свой пиджак, плотно обернул полами, подпоясал ремнем и отнес в коляску. Анфиска глядела на то, как Чепурин возился с Витькой, и у нее радостно и влажно блестели глаза.

— Mam, a ты? — забеспокоился Витька.

— Я тут останусь...

— Почему, мам? Садись! Еще есть место...

Анфиска нагнулась, поцеловала Витьку в растрепанные вихры.

— Глупый ты мой... Скажи бабушке, я скоро...

Чепурин, медля, завел мотоцикл, и уже за рулем, взглянув на Анфиску, поймал ее взгляд, закрыл глаза и посидел так, с закрытыми глазами. Потом резко крутнул ручку газа, машина дернулась и нырнула под мокрые лозняки.

Анфиска постояла, послушала, как хрустели под колесами ветки, потом повернулась и пошла к берегу, машинально обломив по пути одиноко торчавшую былку морковника.

Внизу рассветно и холодно клубилась туманом Десна.

Анфиска в какой-то бесчувственной отрешенности спустилась с обрыва, разделась, завязала в узелок белье и неслышно погрузилась в воду.

Она плыла на боку, толчками порозовевшего плеча рассекая и буруня сумеречную гладь реки. Коса, соскочившая с приколок, змеисто извивалась на воде. Туман стлался над самой Анфискиной головой, задевая поднятый в руке узелок с платьем, он был плотен и непроницаем, как низко нависший потолок. Десна под ним казалась бездонной и отливала тусклой зеленоватой чернью.

Анфиска плыла под туманом, не видя берегов, по одному течению угадывая путь. Но реки она не боялась, не думала ни о ее ширине, ни о темных глубинах.

Она плыла, стараясь не плескаться, прислушиваясь. Под нависшим сводом туманного курева стояла глухая мертвая тишина. Было только слышно, как бежала мимо нее, чуть позванивая, сонная вода и как низко, с шелковым шорохом пролетала какая-то птица.

И вдруг где-то на середине туман розово вспыхнул, и светло и радостно просияла вода. Анфиска догадалась: взошло солнце. Она даже остановилась, перестала грести. Ее сносило вниз по течению, но она все ждала, настороженно вслушиваясь, стараясь за всплесками воды разобрать еще что-то такое, что ей так хотелось.

Сквозь оживший под солнцем туман, откуда-то из-за облачной дали, пробился едва уловимый гул мотоцикла.

Сердце ее толкнулось, забилося часто, настойчиво. И она поплыла, полнясь тихой нежностью и надеждой.

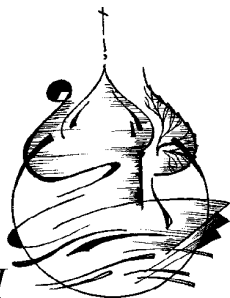
КЕСАРЬ И ХУДОЖНИК

Я по воле взял все эти бремена,
И раскрылись вне пределов времена...
Федор СОЛОГУБ

Они умерли в один и тот же роковой 1953 год: Сталин и Бунин...

Без Бунина осиротела великая русская литература. Со смертью Сталина одиноким почувал себя (не осознал, подчеркну, а именно почувал своей интуицией) русский народ. Равно как со смертью Сталина возликовали враги его и сонмища «обиженных» им (я говорю не о трагических судьбах, изломанных за чудовищно плотный исторический отрезок времени, что пришелся на долю Сталина как руководителя гигантской страны, а о вечно «обиженных», обделенных внутренне людей, лишенных исторического взгляда на мир и на себя в мире), так и смерть Бунина прошла в сознании большинства русских людей стороной — словно косой дождь. Ведь последние тридцать лет он жил и умер в эмиграции, в изгнании.

Но не только эти роковые совпадения сближают два имени подлинно великих людей. Связь намного глубже, противоречивее, в личностном плане так и не разрешенная в пользу предначертанного сближения. Но она же, по прошествии десятилетий, разрешена в плане историческом. Причем историческая правота



ОСОБЕННЫЙ ПУТЬ РОССИИ

одного непостижимым образом дополняется сугубо эмоциональным заблуждением другого.

Какое, скажут, может быть сближение меж «кровавым тираном» (применяю это идеологическое клише лишь условно) и блистательным художником слова, первым русским лауреатом Нобелевской премии в области словесности? Меж родовитым (хоть и обнищавшим) русским дворянином и суровым вождем «красной эсэсэрии», которую первый на дух не переносил?..

Не все так просто, когда речь идет о России, об отношении к ней двух исторических личностей, двух титанов российского двадцатого века — смутного, кровавого, неподъемного для других народов, для других стран... Великого страданиями века...

В оценке людских качеств Бунин, как известно, был резок, порой — до пристрастности. Это вовсе не означало «сердечной ожесточенности» писателя, скорее свидетельствовало об особой «зоркости ума», не позволявшей ему идти на компромисс с самим собой, с собственной совестью — даже вопреки библейскому «Не суди!». Он и не судил, а высказывал то, что считал необходимым высказать.

10 марта 1953 года, вероятно, сразу же после получения известия о смерти Иосифа Сталина, Бунин в письме писателю Марку Алданову начертил такие строки:

«Вот наконец издох скот и зверь, обожравшийся кровью человеческой, а лучше ли будет при этом животном, каком-то Маленкове, и Берии? Сперва, вероятно, будут некоторое время обманывать кое-какими послаблениями, улучшениями...» (выделено мной. — В.П.)

В них — весь Бунин: страстно-категоричный, беспощадный, доходящий «до предела» в выражении собственных чувств. Как беспощаден он в оценках и других политических фигур кровавых лет русской истории. Приведу их.

Выступая в феврале 1924 года в Париже перед соотечественниками-изгнанниками со своей знаменитой речью «Миссия русской эмиграции», Бунин дал такой портрет почившему вождю покинутой «Совдепии»: *«Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее: он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках: когда английские фотографы снимали его, он поми-*

нотно высовывал язык; ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице...»

А вот дневниковая запись от 21 августа 1940 года: «...наконец-то эта кровавая гадина дождалась окончательного возмездия». Это — после прочтения в вечерней газете известия о смерти Лейбы Бронштейна (Троцкого)...

Как говорится, роздано всем сестрам по серьгам! Но... С оценкой, данной Сталину — уже на исходе земных дней больным, угасающим Буниным — согласиться не просто, зная, какие сложные, противоречивые чувства пережил писатель в последние 13—14 лет. Имя Сталина (пусть опосредованно) из этих переживаний не вычеркнешь, хотя бы потому, что именно он стоял у руля России в наиболее, может быть, трагичные, переломные годы ее. Той России, которую Бунин если и не принял в своем сердце, то, кажется, признал ее существование на месте страны обетованной, той, по которой исплакалась его душа и которую он продолжал лелеять в памяти.

Чтобы глубже понять, какие сложные изменения происходили в мировоззрении Бунина тех лет, надо, хотя бы кратко очертить все то, что переживало эмигрантское окружение. По отношению к горячо любимой Родине прежде всего.

Великая война, из которой Россия вышла победительницей, высветила — уже лучом Истории — всю правду этой святой любви: и тех, кто лелеял мечту о России в изгнании, и тех, кто жил в России, воюя и побеждая — за нее же. Сталин был во главе тех, кто победил, кто спас Россию. Историческая правота его любви стала фактом, игнорировать который невозможно.

Здесь-то, в любви к России, точка соприкосновения двух личностей, двух судеб — Бунина и Сталина. Присмотримся повнимательней к ней.

Вернемся к «Миссии русской эмиграции» — программному документу, сформулированному Буниным в начальные годы после исхода из России. Это не просто страстная публицистика, а одна из духовных вершин, выразивших то, что несли в изболевшихся сердцах эмигранты, пережившие гибель, а затем и утрату Родины. Это и плач по России, и негодующий крик, сплетенные воедино с поистине Аввакумовой страстностью и непримиримостью.

Но «Миссия русской эмиграции», при всей философской глубине и остроте поставленных перед западным миром вопросов, еще и яркое свидетельство двойственности положения, в котором оказалась русская эмиграция. Да, она поистине стала «неким грозным знаком миру и посильным борцом за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и повсюду пошатнувшиеся».

Да, представители ее были «ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц» России, представители той ее части, которая оказалась подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной.

Всё так. Но констатируя «великое падение России» и торжество разнузданности «русского дикаря», Бунин не мог не прозревать и главного: «Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить семь заповедей Ленина...» В этой формулировке — ключ к пониманию той трагической двойственности положения, в которой оказались изгнанники и сам Бунин.

Исход из России Белой армии для многих означал одно: будущее освобождение страны возможно (наиболее вероятно) извне, с помощью «цивилизованной Европы». Это было глубочайшим (хотя и естественным) заблуждением русской эмигрантской диаспоры, изначально расколовшей ее на два стана. Раздвоенность и раскол особенно остро ощутились в годы Второй мировой войны. Вне сознания многих, да и, кажется, самого Бунина, странным образом прошел незамеченным тот факт, что «планетарный злодей», усевшийся на шею «русского дикаря» и подмявший под себя великую империю, взращен был (идейно, духовно, да и финансово) здесь, на Западе, где и оказались представители «непокорившейся и непокоренной» России...

Зададимся вопросом — к кому, кроме как к самому себе, к изгнанникам, обращено страстное слово Бунина? Кто мог услышать его в насквозь прагматичном, своекорыстном европейском мире?

Задача, которую Запад ставил перед собой — разрушить традиционные государства-империи (Россию и Германию), стравив их между собой, была решена. Эмиссары же большевизма, вся эта интернациональная сволочь, были не толь-

ко вскормлены молоком западных учений, но и щедро финансировались банкирами Уолл-Стрита и банкирских домов Европы. Их власть стала предпочтительней монархического правления Романовых. С их помощью, в дальнейшем, предполагалось осуществить и давнюю мечту о расчленении России...

В одной из своих работ, написанной в эмиграции в 1928 году, великий русский философ и великий патриот России Иван Ильин писал так:

«Следуя тайным указаниям европейских политических центров, которые будут впоследствии установлены и раскрыты исторической наукой, Россия была клеветнически ославлена на весь мир как оплот реакции, как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник антисемитизма... Движимая враждебными побуждениями Европа была заинтересована в военном и революционном крушении России и помогала русским революционерам укрывательством, советом и деньгами. Она не скрывала этого. Она делала все возможное, чтобы это осуществилось. А когда это совершилось, то Европа под всяческими предложениями и видами делала все, чтобы помочь главному врагу России — Советской власти, выдавая ее за законную представительницу русских державных прав и интересов...»

До того периода, замечу, когда государственный руль оказался в руках Иосифа Сталина. Тогда Европа вдруг заговорила о «русском большевизме»...

(Когда в 1991 году Ельцин и прозападно настроенная «демократическая» интеллигенция совершили государственный переворот, небезызвестная Елена Боннэр с присными вновь заклеила Россию как «тюрьму народов», осудила появившуюся тогда «царистскую» символику и открыто предупредила Ельцина, что не будет молчать, «если его и дальше понесет в великую Россию...»)

Оказавшись в изгнании, русская политическая и культурная элита унесла с собой и грех самопредательства. Об этом также не следует забывать, осмысляя сказанное Буниным в знаменитом выступлении, потрясшем многих. Наиболее активная ее часть оказалась не мудрым водителем народа, а передатчиком, проводником разрушительных идей, с варварской жадностью впитанных опять же на Западе, стала слепым инструментом враждебных России сил.

Впрочем, прозрения были. Приведу здесь фрагменты дневниковых записей Леонида Андреева и его статьи «Европа в опасности» (1918 год):

«Русский большевизм начался с двойной измены: императору Вильгельму и измены Революции. Став платным слугой Германии и обязавшись исполнять ее волю, он тайно стремился к собственным целям... Назвавшись вождем русской революции, он тайно подчинил ее велениям и целям германского штаба, главной из коих было разрушение русского великого царства. Ворующий слуга и продажный вождь, он явился на свет, как образ двуличия и лжи, измены и предательства...»

«Гибель великодержавной России так грандиозна и неожиданна, что никто в нее по-настоящему не верит: ни немцы, ни даже сама Россия; будто дурной сон, который вот-вот кончится пробуждением... Теперь, когда Россия почти вся уже разрублена... и поделена между трапезующимися, можно сказать с уверенностью, что убийство не было ни случайным, ни аффективным. По самому трупу России можно увидеть, что тут орудовал не разъяренный и слепой убийца..., а работал внимательный и знающий свое дело мясник...»

Уже в те годы, когда прозвучала бунинская «Миссия русской эмиграции», стало очевидным — эмиграция внутренне раскалывается. Да и немудрено — за рубежом оказался весь политический спектр дореволюционной России: с одной стороны «февралисты» — кадеты и социалисты, с другой — монархисты, а затем список движений, партий, союзов достигает едва ли не двух десятков.

В 1926 году в парижском отеле «Мажестик» прошел первый Зарубежный съезд русской эмиграции — попытка консолидировать всех в единое национальное движение во главе с великим князем Николаем Николаевичем.

Для многих уже стало очевидно — большевистский режим, о скором падении которого мечталось, это «всерьез и надолго». Русская эмиграция вынуждена была задуматься о смысле своего пребывания за пределами Отечества. Левый фланг пошел по пути ожидания естественной эволюции режима, на правом возникло сменовеховство — попытка оправдания революции.

Съезд не примирил эти фланги, но заслугой его стало осознание важной истины: «России нужно возрождение, а не реставрация. Возрождение всеобъемлющее, проникнутое идеями нации и Отечества...» — утверждал Петр Струве, организатор и председатель Зарубежного съезда.

Основа же возрождения — национальное примирение, поскольку, как отмечалось историком графом Сергеем Ольденбургом: «...Власть антинациональной секты по существу гу-

бительней и отвратней господства другой нации. Под татарским игом русская самобытность менее искажалась, нежели под игом коммунистическим... По своей интернациональной природе коммунистическая власть угрожает всем государствам...»

И эти выводы были, безусловно, верны на том этапе. Пока в России сохранялась власть с явными антирусскими устремлениями. Пока на историческую арену не взошла личность, ставшая — на годы — символом русского возрождения, но уже принципиально нового политико-идеологического образования — СССР. Речь — о Сталине, за годы правления которого власть «интернационалистов» была устранена и стала национально-русской, а СССР обрел исторически присущую России форму существования (и единственно возможную в многонациональной стране) — имперскую, великодержавную. В этом была великая миссия Сталина, вызволившая подъяремный русский народ из-под обломков России монархической, из-под ига чуждой России еврейской местечковой «элиты», заполнившей все властные государственные институты. Со Сталиным возникло (воскресло) и вышло на арену истории новое поколение русских людей... Понимали ли это в эмиграции? Видел ли своим орлиным взором Бунин — что зреет в России?

Многое для большинства изгнанников станет ясным лишь с победой русского оружия над гитлеровскими полчищами. Но у России (СССР) впереди были тридцатые годы. Чудовищно плотное по важности свершенных для страны и народа событий: в экономике, политике, культурной жизни. Наконец, во властных институтах — политических и военных. Россия в это десятилетие сбрасывала неуклонно тяжкое бремя «интернациональной революции». Могучей рукой Сталин повернул гигантский корабль, где на борту было начертано «СССР», в сторону традиционного, а значит, в первую очередь, национального государства. Все, кто мешал этому движению, оказались сметенными за борт. Таково было требование времени, историческая логика тех лет, и Сталин воплотил их в полной мере. Он готовил страну и русский народ к величайшему испытанию, которое готовилось опять же на Западе.

Личность гениальная, Сталин уже в конце двадцатых годов прозревал опасность, неизбежно приближающуюся к России извне. Как и ту, что существовала внутри страны, олицетворенная в фигуре и устремлениях Троцкого и ради-

кальных настроениях «революционеров-ленинцев», объединенных в мощный сионистский клан.

Тогда же, надо полагать, он осознал — какой неподъемной тяжести задача стоит перед ним, руководителем разоренного смутами государства...

Исторической личностью может стать только тогда, когда адекватно отвечает на вызовы истории. Истории не умозрительной, дистиллированной, сформулированной в абстрактных учениях, а живой — драматической, возвышенной, низменной, кровавой, спасительной. Истории, переплетенной из миллионов судеб... Истории, пронзаемой, как зигзагами молний, неслагаемыми воедино энергиями интересов... Сталин принял вызов, брошенный не ему, а в первую очередь — русскому народу и России имперской. Тем же, кто вверг ее в грех братоубийства, в ересь богоборчества, предстояло кровавое искупление. Избежать этого было невозможно. А выбор Кесаря зависел не только от его человеческой воли...

В этой работе, говоря об усилиях Сталина по формированию сильного государства, следует сосредоточиться на важнейшей проблеме, стоявшей перед ним, — укреплению духовной власти и ее привлекательности в умах и сердцах миллионов. Без опоры на традиции, тысячелетний исторический путь, пройденный Россией, такой власти он создать не мог. Значит, необходим был духовный поворот к России исторической, к стволу которой «прививался» побег коммунистической идеологии. Логика такого, и именно такого развития диктовалась рядом сложнейших обстоятельств.

Троцкистско-ленинские иллюзии «раздуть мировой пожар» революции лопнули как мыльный пузырь, и решение о социалистическом строительстве в «отдельно взятой стране» было объективно predetermined. Однако переосмысление стратегии и тактики на пути государственного строительства этих лет (и принятие необходимых политических решений) Сталину, образно говоря, приходилось осуществлять в условиях «внутреннего окружения». Я не буду здесь ссылаться на хорошо известные (и выверенные не одним исследованием) данные о национальном составе ленинского правительства: оно было на 90 процентов еврейским, интересы русского народа для которого были не просто чужды, а враждебны их паразитическому существованию.

Понятно, что идеология, которую они внутренне использовали, внешне «сражаясь за светлые идеалы коммунизма», была вполне определенной. Массонские лозунги о «свободе,

равенстве и братстве» к русскому народу отношение имели чисто формальное...

В мае 1917 года, когда у власти еще пребывало полностью масонское Временное правительство, состоялся Всероссийский сионистский конгресс, где рассматривался важнейший вопрос: Россия — «зона интересов» мирового сионизма. Спустя год, тоже в мае, проходит конгресс еврейских общин, призвавший активизировать наступательные действия сионизма. И дела тут не разошлись с лозунгами: уже летом Совет Народных Комиссаров принял закон о смертной казни «за антисемитизм».

Известны взволнованные слова Сталина в связи с этим событием: «А ведь они не у власти. Что бы они творили, если бы стояли!».

Его лозунг «Кадры решают все!» был всеобъемлющим: грандиозные задачи можно было решить, опираясь на народных представителей. В культуре — на выразителей народных идеалов, народного духа, национальных традиций. Поэтому суть партийных «чисток» заключалась и в необходимом пересмотре состава работников наркоматов.

После Гражданской войны ключевые посты в государстве, повторим, были заняты выходцами из местечковой мелкой буржуазии — согласно плану сионистских вождей Запада. Несмотря на чистки, они лезли во власть активно и целеустремленно. К 36-му году засилье их было очевидно вновь, что в канун грядущей войны (неизбежность ее Сталин понимал, как никто другой) было смертельно опасно для страны.

А смотрел Сталин далеко. В докладе на пленуме ЦК ВКП(б) в марте 1937 года «О недостатках партийной работы в мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников», он говорил:

«Ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств...»

Говоря о резервах троцкистов за рубежом, Сталин, в частности, назвал такие структуры и организации: «Взять, например, троцкистский контрреволюционный IV Интернационал, состоящий на две трети из шпионов и диверсантов. Чем не резерв? Разве не ясно, что этот шпионский интернационал будет выделять кадры для шпионско-вредительской работы троцкистов? Или еще, взять, например, группу пройдох Шеффо в Норвегии, приютившую у себя обер-шпиона Троцкого и помогавшую ему пакостить Советскому Союзу...»

Перечисляя эмиссаров международного сионизма и их прислужников, Сталин не обошел и «интеллигенцию» Запада: «Или, например, известная орда писателей из Америки во главе с известным жуликом Истменом, все эти разбойники пера, которые тем и живут, что клеветают на рабочий класс СССР...»

Но «разбойники пера» вершили свою разрушительную работу и внутри страны. Отход от идеологии «магистральной линии» на построение социализма во всем мире потребовал укрепления, централизации духовной власти. Сионисты, заинтересованные, напротив, в ее слабости, стремились к контролю над наукой, культурой, образованием. С глубоким пониманием важности этого они уже с семнадцатого года постоянно обеспечивали приток своих кадров в важнейшие сферы духовной власти. Под патронажем их находились творческие союзы. С помощью РАППа в литературе «просвечивались» практически все писатели СССР, особо — выходцы из народной среды. С одной целью — дискредитировать, а затем и убрать как носителей враждебной интересам сионизма идеологии...

Сталин повел здесь упорную и непримиримую борьбу. Одной из задач ее стало собирание национально-мыслящих писателей внутри страны и привлечение на Родину тех, кто покинул ее в годы революции. Сталину нужна была надежная опора для обретения духовной власти — ради государственного, державного строительства. Власти, способной объединить народ перед лицом серьезнейшего испытания...

Сегодня становится все очевидней — тридцать седьмой год, о котором «демократствующие» враги России не устают говорить как о «черном и кровавом» (это ядовитое клише-пугало, кстати, прочно и надолго вбито в мозги обывателя), стал — в историческом плане — спасительным для русского народа. Именно в этот год сионизм был отброшен — на полвека! — от России, рассматриваемой ими в качестве богатейшей кормушки. Отброшен до наших «перестроечных» лет, когда он вновь обрел беспрецедентную по алчности власть над страной и непокорным народом... (До осознания этой жестокой истины народу русскому, к сожалению, надо еще дожить, выстрадать ее. Путь страдания уже начал, и дай Бог, чтобы он вел к прозрению и был как можно короче!)

Происходящее в эти годы в СССР по-разному оценивалось эмигрантской средой. Бунинская оценка Сталина как «зверя, обожравшегося кровью человеческой» — не более чем эмоциональный пережест, разделяемый врагами Сталина.

Были и более взвешенные и глубокие оценки. Вот что писал, например, в 1936 году в обращении к членам Союза младороссов (впоследствии партии) ее глава Александр Казем-Бек:

«На родине произошли утешительные события. Поворачиваясь на оси, русская революция дошла сегодня до символического перелома, которым завершается целый исторический период.

Последние могикане ленинского большевизма погибли под пулями палачей. Старая гвардия Октябрьской революции истреблена. Разгромив дело Ленина, Сталину оставалось только убить людей Ленина.

Эти люди были давно обезврежены, сломлены, заточены. Их казнили, чтобы казнить идею, которой они оставались верны. В этом смысл и значение происходящего...»

Надо ли напоминать об идее «верных ленинцев» — бросить Россию и народ русский в топку «мировой революции»?

Разумеется, призыв Казем-Бека был при всем том против политики Сталина: «За страну! Против Сталина!»

Поворот к русскому патриотизму начался после нелегкой, в страдании и муках народом свершенной коллективизации. И начался он с отвержения космополитического, троцкистами учреждаемого, подхода к исторической науке. Уже само упоминание о русском народе, о России считалось тогда «контрреволюционным», а значит — подлежащим глумлению, травле, уничтожению. Активно, наступательно и нагло воплощался в жизнь тезис, сформулированный самим Троцким: «Революция означает окончательный (!) разрыв с азиатчиной, с семнадцатым веком, со Святой Русью, с иконами и тараканами». Русская же история, под пером «историков школы Покровского», представлялась кровавой цепью злодеяний, а цари — сплошь выродками и тиранами.

В 1934 году Совнарком и ЦК ВКП(б) принимают постановление «О преподавании гражданской истории в школах СССР», где отмечалось: «Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей — учащимся преподносятся абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связанное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами»...

Преследовалась же, подчеркну, далеко не «отвлеченная» цель, суть которой наиболее цинично и откровенно проявля-

лась в тезисе: «У пролетариата нет Отечества!». Или, почти то же самое, в лозунге: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей!..»

Этим постановлением было положено начало воскрешению исторической науки, а следовательно и русской истории, над которой все послереволюционные годы сионисты-космополиты устраивали неутихающий погром. Восстанавливаются исторические факультеты, вновь издается пятитомник В.О. Ключевского, труды С.Ф. Платонова. Начало сбываться пророчество Федора Сологуба, написанное им десять лет назад, летом 1924 года:

*Еще гудят колокола,
Надеждой светлой в сердце вея.
Но смолкнет медная хвала
По слову наглого еврея.*

*Жидам противен этот звон,
Он больно им колотит уши.
И навевает страхи он
В трусливые и злые души.*

*Иная кровь, иной закон.
Кто примирит меня, арийца,
С пришельцем из других сторон?
Кто смоев имя кровопийца?*

*Но будет день — колокола,
Сливаясь в радостном трезвоне,
Нам возвестят: Русь ожила
Опять в блистающей короне!*

Ничуть не легче обстояло дело в художественном творчестве: литературным процессом «управляли» все те же вездесущие «местечковые интеллектуалы», готовые управлять чем угодно и где угодно, лишь бы извлекать из этого собственную выгоду.

Это к ним, с полным правом, относятся крылатые слова фонвизинского Иванушки («Бригадир»): «Тело мое родилось в России, но дух мой принадлежит Короне французской..!»

Немудрено, что помимо травли «беспартийных» русских писателей фактически объявлялась вне закона вся русская литература, фольклор, былинный эпос. Сталин добился принятия постановления ЦК ВКП(б) о роспуске РАППа — в 1931 году «литературный цензор» прекратил свое существо-

вание, а значит — остановил крупномасштабную идеологическую диверсию...

Следует, однако, подчеркнуть: к такому решению Сталин пришел не вдруг..

Поэтическая одаренность его с детских лет несомненна, как несомненно и то, что становление его личности шло под огромным влиянием литературы. «Размазывание» образа Сталина «демократическими правдолюбцами» нового времени (семинарист-недоучка, параноик, антисемит, «самая выдающаяся посредственность» вплоть до якобы физического уродства) — не более чем бесстыдный клеветнический миф, внедряемый в сознание нового поколения с далеко идущими целями...

Приведу здесь авторитетное свидетельство — кто же автор антисталинской мифологии. Из книги эмигранта, исследователя жизни и деятельности Сталина, Сергея Дмитриевского «Сталин»: «Основной автор легенд о Сталине — Троцкий. Он до сих пор не может простить Сталину его превосходства. Наголову разбитый на арене жизненной борьбы, он не без успеха постарался отомстить Сталину на арене литературной... Он создал карикатурно-уродливый образ...»

Первую свою книгу Сталин прочитал в шесть лет: ею была Библия! А затем, будучи учеником Горийского училища, он открывает для себя волшебный мир поэзии: вначале грузинских поэтов — Чавчавадзе, Церетели, Ниношвили, затем — русских. В первый же год учебы в Тифлисской духовной семинарии становится активным участником литературного кружка, продолжая оставаться страстным книголюбом.

Первое свое опубликованное стихотворение Иосиф увидел в возрасте семи лет — на первой странице газеты «Иверия» в 1885 году, которую редактировал известный поэт Илья Чавчавадзе. Его стихотворения упоминаются и ставятся в один ряд с сочинениями великих грузинских поэтов — Казбеги, Чавчавадзе, Бараташвили, Руставели!

Ничего поэтому нет удивительного, что уже с юности он жадно и страстно вбирал в себя русскую литературу: того требовали масштабы его личности, постоянная духовная жажда. Дневная норма чтения, которой он гордился в зрелые годы, — до пятисот страниц в день! Великолепно знал творчество Пушкина и Толстого, любил Гоголя и Чехова. Последнего — особенно...

Позже его дочь Светлана Аллилуева напишет так: «Отец полюбил Россию очень сильно и глубоко — на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько забыл нацио-

нальные черты и настолько полюбил все русское. Еще в Сибири отец полюбил Россию по-настоящему: и людей, и язык, и природу...»

Без сомнения, любовь эта родилась и окрепла значительно раньше — через познание великого мира русской литературы. В вопросах художественного творчества он разбирался глубоко профессионально. А будучи руководителем государства, этот профессиональный взгляд «встраивал» (да и не мог не встраивать) в контекст эпохи, в задачи становления нового государства, поскольку понимал: литература — это духовная власть.

Когда читаешь письма писателей к Сталину (писателей крупных, по природе своей не способных идти на компромисс с совестью), то невольно ощущаешь — они писали не просто «вождю», а человеку мудрому, знающему литературу и то, что творила поистине кровавая клановая критика тех лет.

Если погромщики школы Покровского нивелировали до фарса и нелепицы русскую историю, то литературная критика (по выражению Чехова, сплошь еврейская) трудилась на ниве «прополки» русской литературы.

Этапным документом в этом направлении стала резолюция ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», сочиненная Бухариным и дополненная Луначарским и Лелевичем, «пролетарским поэтом» и редактором журнала «На посту». Последний «поэтически» проиллюстрировал суть проводимой тогда политики так:

*Может быть, перечеркнутые строчки
Завтра грянут по Оби и Неве,
Что пришел он, поэт-рабочий,
Пролетарский мастер-певец.*

*Может быть, Бухарин в восторге
Посвятит ему четкую статью.
И профессор Петр Семенович Коган
Растянет критический этюд...*

Однако за декларацией «создания пролетарской литературы» (на эту наживку поначалу «клюнули» А. Толстой, М. Горький), крылось нечто другое. А именно — «в порошок стереть» русских писателей, в первую очередь талантливых выростителей России народной, крестьянской.

Из письма Евгения Замятина Сталину:

«Никакое творчество не мыслимо, если приходится в атмосфере систематической, год от года усиливающейся травли. Критика сделала из меня черта советской литературы».

Михаил Булгаков — Сталину:

«Чем большую известность приобретает мое имя в СССР и за границей, тем яростней отзвыв прессы, принявшие наконец характер неистовой брани...»

Именно авербаховская свора родила (и она липко ползла — весь двадцатый век) гнусную клевету о якобы плагиаторской природе «Тихого Дона», пытаясь отнять авторство великого романа у Шолохова...

Мог ли не видеть или «не замечать» эту неистовую брань, а по сути расправу над русской литературой, Сталин? Над важнейшей духовной опорой общественного самосознания, опорой, наконец, самой власти, утверждавшей в стране чаемые народом идеалы справедливости?

Кровавое разрушительное десятилетие показало — центробежные силы, запущенные задолго до «Февральской революции», становились опасными для советской страны. Сокрушено много: старые государственные институты, традиционные духовные ценности, церковь, преемственность исторической науки, философской мысли... Теперь черед дошел до литературы.

Этот бастион сдавать было нельзя. Термин «социалистический реализм» возник не случайно и не зря. Реализм мечты, светлых идеалов, реализм героев-творцов, созидателей. Это уж потом его превратят в стертую мелкую монету, выхолостят первоначальную его суть. Но сейчас он нужен, необходим — не просто как методологическое оправдание особого направления художественного реализма, а идейный вектор, путь указующий. За ним, в нем, впереди — торжество созидательных сил, воплощенный идеал и мечта, отображенные средствами литературы.

Новый художественный метод должен быть осмыслен — коллективистски — самими писателями, должен оформляться в их сознании не как антипод критического реализма, а как продолжение его. Позитивизм — убийствен для жизни. Одного критического реализма недостаточно для утверждения идеалов добра, для обновления жизни. Эпоха великих свершений требовала принципиально иного подхода к осмыслению грандиозной задачи: требовала Героя!

Первый писательский съезд состоялся. Поразителен, кстати, был национальный состав его: из 597 участников съезда 201 были русскими, 113 — евреями, 28 — грузинами, 25 — украинцами и так далее — по убывающей.

Главный итог съезда вовсе не в том, что Сталин «купил» мастеров слова материальными благами, как это утверждал позже. Он сориентировал их на служение Отечеству — ради укрепления и возрождения России. Всяк, кто был полон этой великой задачей, был необходим...

Все усилия Сталина проходили в обстоятельствах неустанной атаки сионистов на Россию историческую, на него самого. В недавно увидевшем свет эссе писателя Аркадия Первенцева «Сталин» есть немало пронзительно-точных наблюдений и выводов о том, поистине дьявольском, кружении бесов вокруг него — носителя не только власти, но и неуступчиво утверждавшего в жизни идеалы справедливого мироустройства. Самое страшное для них было видеть, как неуклонно шли навстречу друг другу тысячелетняя Русь и идеалы, мечты коммунизма. «Русский коммунизм» — это было невыносимо...

«Возле него велась жестокая, коварная, изменчивая игра, возле него — а те, кто вел эту игру, указывали на первоисточник, на Сталина, постепенно приучая себя к мысли о том, что именно Сталин ведет жестокую, коварную игру, а они только пособники поневоле и даже не соучастники. Приучив себя к такой мысли, они все больше нагтели, окружили Сталина пустырем, «горелым лесом», лишили его легкие кислорода. Вот почему так опасна для любой революции шайка приспособленцев, ловчил, двурушников, подхалимов. Они вершат судьбы наций и народов, вершат политику, растасовывают кадры из ими же крапленой колоды, выдергивают якобы наобум шестерку, выдавая ее за козырного туза... Сталин знал, за что его ненавидят...»

Троцкисты сочиняли гнусные версии, они ненавидели Сталина, ибо он прежде всего мешал им, разгадав их сложные политические интриги по захвату власти для господства над Россией. Потомок карталинских повстанцев вступился за оскорбленную Русь и выдвинул себя наряду с Дмитрием Донским, Иваном Калитой, Грозным и Петром...

Заговор против Сталина был обширней, чем его представляют. Внедрение в семью было лишь частью большого наступления, где нельзя было преуменьшить роль ЦРУ и внутренних врагов, обитавших в непосредственной близости от Сталина... Духовная атака завершилась явным физическим уничтожением... Мы узнали, кого уничтожил Сталин, теперь остается узнать, кто убил Сталина...»

Смерть его оплакивала вся Россия, абсолютное большинство русских людей. Как пишет Первенцев: «Из миллионов глаз катились слезы, ими можно было наполнить реки!..»

Народ в трагические повороты своей истории не мог единой соборной душой не предчувствовать — что ожидает его после Сталина. Оплакивали свою судьбу, свое сиротство, чувствуя интуитивно — лишились защитника! История подтвердила правоту народных слез: после-сталинская эпоха — путь верхов от вырождения к предательству. И народа, и великой, Сталиным созданной, страны...

Есть немало оснований полагать: после того, как Сталин укрепил свои позиции в руководстве страной, он повел дело к очищению ее от всякой наносной скверны и гнили, облупившей, вьезшейся во все поры государственной, культурной, духовной жизни. Он повел дело к всестороннему укреплению Державы с именем «СССР» — как исторической преемнице Империи с именем «Россия».

Сталин с полным правом мог бы повторить в эти годы знаменитую фразу Петра Столыпина: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

Было бы глупо полагать, что поворот этот мог идти безболезненно, без жертв: для этого нужны были «стерильные» условия как внутри, так и вне страны. Жестокий век диктовал свои правила, далекие от абстрактного гуманизма. А те, кто управлял «марионетками всех стран» (А. Блок), начали понимать — политика, проводимая Сталиным, ведет к возрождению «имперской великодержавной России» — теперь уже «империи Советов». Этого допустить было нельзя: ход истории должен развиваться по сценарию, начертанному ими. В этом сценарии сильной державной России не значилось. Русская история завершена. Русское Православие повержено, алтари осквернены...

Все к тому и шло. Но далеко идущие планы мировой закулисы были опрокинуты железной волей и гением Сталина.

Наиболее прозорливые иерархи русской православной церкви — патриархи Сергей и Алексей, ученый и богослов архиепископ Лука Войно-Ясенецкий (испытавший, кстати, тяготы заключения при Сталине) называли его «богоданным вождем».

Сталин хорошо понимал — противостоять натиску Запада можно лишь укрепляя государственность. Но это противостояние — неперемнное условие сохранения независимости.

Да, мысль эта сформулирована им в категориях «марксистско-ленинского» учения как противостояние социализма и капитализма. Но вспомним гениальную работу Николая Данилевского «Россия и Европа» — там точно такой же вывод: только независимость, только свой путь. И Сталин, в беседах, был более конкретен: речь идет о противостоянии двух типов цивилизации — славян и англосаксов.

«Сталин лишь притворяется, будто он герольд большевистской революции. На самом деле он отождествляет себя с Россией и царями и просто возродил традицию панславизма. Для него большевизм — только средство, только маскировка, цель которой — обмануть германские и латинские народы».

Умен был Адольф Гитлер, что ни говори! Это ведь его слова.

Сталин мыслил в русле русской истории, «такой, какой дал нам ее Бог» (Александр Пушкин). И спас и русскую историю, и русскую свободу. Потому-то сегодня особенно понятна лютая ненависть врагов его: именно им Россия была вырвана из цепких объятий вселенского долларowego паука. 37-й год — кровавая вершина в этом противостоянии. И вина ли только Сталина в тех злодеяниях, которые приписывают только ему? Задумаемся, русские люди...

Приведу здесь одно весомое суждение. Оценивая значение закрытых политических процессов 1937 года, великий Вернадский заносит в свой дневник такие строки (7 июля 1937 года): «Среди интеллигенции ясно сознается и распространяется убеждение, что политика Сталина—Молотова русская и нужна для государства. Их партийные враги — враги и русского народа, если брать его государственное выражение, несомненно связанное с культурой...»

Сталину отомстят посмертно. Уже в наши дни. И миллионы потомков тех, кто оплакивали его смерть (насильственную), поверили мстительной и злобной клевете. Поверили демоническому образу, названному его именем. Поверили, чтобы предать жертвы отцов, свое прошлое и лишить достойного будущего себя и своих потомков.

Сталин прозревал и эту ненависть, и эту клевету. Прозреть бы нам. Чтобы ослепленными не унести черную ложь в могилы. Как это, увы, оказалось в конце жизни у Ивана Алексеевича Бунина...

Прав был Федор Сологуб:

*О, ты, убийственное слово!
Как много зла ты нам несешь!
Как ты принять всегда готово
Под свой покров земную ложь!*

*То злоба, то насмешка злая,
Обид и поношений шквал,
И, никогда не устывая,
Ты жалишь тысячами жал...*

В Европу пришла война. Сороковой год. Бунин на юге Франции, в Грассе, на ставшей родной вилле «Жаннет». Вспоминает молодые годы в Озерках, Васильевском. Читает «Отечественные записки», «Вестник Европы» — старые журналы милой России, произведения писателей прошлого века — Шедрина, Лескова, Эртеля... Дивится: «Лунная ночь, среди чего приходится жить — эти ночи, кипарисы, чей-то английский дом, горы, долины, море... А когда-то Озерки!».

Муки одиночества, старость въяве. И терзающие сердце воспоминания о любви к той, чья жизнь так нелепо шла тут же, рядом — к Галине Кузнецовой: «Что вышло из Г! Какая тупость, какое бездушие, какая бессм. жизнь!».

А кованный немецкий сапог уже гуляет по Европе: солдаты вермахта вот-вот перешагнут «неприступную», как тешили себя французы, оборонительную линию Мажино.

«Страшные, решительные дни — идут на Париж, с каждым днем продвигаются... Немало было французов, которые начали ждать войны чуть не 10 лет тому назад (как мировой катастрофы). И вот Франция оказалась совсем не готовой к ней!».

А затем покатилося: Люксембург, Голландия, Бельгия, налеты «алертов» на Париж — все чаще и все страшней.

Уезжают в Америку те, кто побогаче, порасторопнее: Алданов, Авксентьев, Руднев, Вишняк. Цетлины уговаривают и Бунина «подумать об Америке», звали за собой.

И уж горькая строчка появляется в дневнике: «Итак, наш второй исход, вторая эмиграция!».

В Америку Бунин, однако, не уехал. Лишь чутко и обостренно продолжал следить за развитием охватившей всю Европу войны, на этом безрадостном полотне выписывая строчки и своей личной судьбы: «Дым от пожаров в Англии виден с северных берегов Франции. Вечернее радио: немцы продолжают свое дело. Англичане три часа бомбардировали Гамбург. В какой-то американской газете говорят: «Это истинный ад на земле!». Опять думал о том необыкновенном одиночестве, в котором я живу уже столько лет. Достоинно написания».

Наступил 41-й год. Особый для Бунина, для всей русской эмигрантской колонии во Франции, внутри которой шли серьезные драматические процессы размежевания. Мысли были с Россией, на которую напал Гитлер. Но каждый из эмигрантов думал о «своей России». И пути спасения ее делились также различными.

Что думал Бунин? Какие чувства и мысли терзали его сердце и душу? Ведь и для него наступило время нелегкого испытания — где быть? Здесь, в поверженной немцами Франции? Или?..

Есть у него в дневниковой записи от 6 июля одна знаменательная, на мой взгляд, проговорка — о наиболее сокровенном, потаенном: «Сейчас 3 часа, очень горячее солнце. Юг неба в белесой дымке, над горами **на востоке** кремновые, розоватые облака, красивые и неясные, тоже в мути. **Там всегда** моя сладкая мука...» (выделено мной. — В.П.).

Там, за горами Эстереля, на востоке — Россия, «его Россия», что унес он в своем сердце двадцать лет назад.

А накануне нападения Гитлера на СССР, в мае, Бунин писал так: «10 1/2 часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то «народный певец» живет в каком-то «чудном уголке» и поет: «Слово Сталина в народе золотой течет струей...» Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!».

Здесь весь Бунин-художник: непримиримый к лубой пошлости, он, конечно, не мог принять фальшь советского официоза, выросшего из ужасов «Окаянных дней», очевидцем которых он был.

Но было и другое, куда более сильное, прочное, не подверженное никаким влияниям извне — мука о России...

Эти два чувства терзали его в роковые годы особенно. Вчитаемся в некоторые дневниковые записи писателя, сделанные им в 1941 году. Они говорят о многом.

«22.VI.41. 2 часа дня.

С новой страницы пишу продолжение этого дня: великое событие — Германия нынче утром объявила войну России — и финны, и румыны уже вторглись в пределы ее...

27.VI.41.

Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его...

12.8.41.

...Страна за страной отличается в ленивости, в холопстве. Двадцать четыре года не «боролись» — наконец-то продрали глаза...

Вести с русских фронтов продолжаю вырезать и собирать...»

В этих записях отражены два абсолютно противоположных чувства, Буниным владевших. Как, впрочем, и немалой частью всей русской эмиграции: хотелось бы видеть «коммунизм» сокрушенным, но как отделить его от России, о поражении которой и помыслить было невозможно?

Кроме того, в них зафиксировано слепое заблуждение многих эмигрантов (и Бунин здесь не исключение), что Гитлер, прежде всего, пошел в поход «на коммунистов» ради освобождения России именно от «большевистского ига». Но продолжу...

«5.09. Пятн.

...Контрнаступление русских. У немцев дела неважные.

9.10.41. Четверг.

...Полчаса тому назад пришел Зуров — радио в 9 часов: взят Орел (сообщили сами русские). Дело оч. серьезно. Нет, немцы, кажется, победят. **А может, это и неплохо будет?** (выделено мной. — **В. П.**)

11.10.41. Суббота.

Самые страшные для России дни, идут страшные бои... «Ничего, вот-вот русские перейдут в наступление — и тогда...»

Но ведь то же самое говорили, думали и чувствовали в прошлом году в мае, когда немцы двинулись на Францию...

«17.10.41. Пятница.

Вчера вечером радио: взяты Калуга, Тверь, (г. Калинин «по-советски»)... Русские, кажется, разбиты вдребезги. Д. б., вот-вот будет взята Москва, потом Петербург... (Заметим, как неискренне это «Даст бог!» — **В. П.**)

13.12.41.

...Русские взяли Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша мать!

30.12.41.

...Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой — Ленинград, Нижний — Горький. Тверь — Калинин — по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган...»

И снова, вопреки протесту, эстетическому неприятию советского антуража, действительно безобразно-пошлomu, «плебейскому» — в таких вот проявлениях — глубочайшее понимание важности победы русского оружия.

Запись от 4 марта 1942 года:

«...Битвы в России. Что-то будет? Это главное, главное — судьба всего мира зависит от этого...»

И опять — жесткое, яростное отторжение многоликой пошлости, на этот раз в литературе, «советской» литературе:

«12.04.42. Воскресенье.

Кончил читать рассказы Бабеля «Конармия», «Одесские рассказы» и «Рассказы». Лучшее — «Одесские рассказы». Очень способный — и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к кощунству, подлomu, нарочито мерзкому. Как это случилось — забылось сердцем, что такое были эти «товарищи» и «бойцы» и прочее!.. Какой грязный хам, телесно и душевно! Ненависть у меня опять ко всему этому до тошноты. И какое сходство у всех этих писателей-хамов того времени — например, у Бабеля — и Шолохова. Та же цветистость, те же грязные хамы и скоты, вонючие телом, мерзкие умом и душой...»

Дорого стоит такая запись, особенно когда заходит речь о «зверствах» Сталина по отношению к некоторым писателям «Совдепии», о судьбах которых Бунин спрашивал при встречах после войны Константина Симонова. Как ни жестока такая постановка вопроса, но именно эта бунинская запись — как раз серьезное оправдание Сталина — не его палачей, а его цели: строительства и укрепления государственности и могущества России-СССР. Цели, подчеркнутой, достигнутой, позволившей стране не только опрокинуть военную машину Гитлера, стать сверхдержавой мира, но и жить народам СССР самостоятельной и независимой жизнью еще полвека после его смерти. До наших «окаянных лет»...

Годы оккупации Франции стали испытанием прочности нации на крепость. Франция была покорена так легко, что сами французы, кажется, и не осознали всей трагедии, происшедшей со страной. Особенно тяжелой оказалась доля русских эмигрантов, и без того считавшихся в этой стране людьми второго сорта...

Тяготы жизни военных лет порой были невыносимы, и тогда из-под пера Бунина выходили такие горькие строки:

«27.XII.42. Воскресенье.

...Писал заметки о России. Тем, что я не уехал с Цетлиным и Алдановым в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!..

28.4.43. Пятница.

...Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?»

Домой Бунин рвался уже накануне войны, словно предчувствуя, что ожидает Россию. Будет думать о своем возвращении и все годы войны и после нее. Впрочем, сказать «думать» — значит, сказать очень мало. Это было, скорее, выражаясь толстовским определением, «мысль-чувство». Всеобъемлющее, сокровенно-потаенное, глубоко личное — в окружении других страстей, чувств и дум, но другого порядка. Выход из этого состояния был один — в творчестве...

Все творчество писателей-эмигрантов, его современников, так или иначе — «возвращение в Россию». У Бунина оно было необычайно сильным и мощным в силу того, что как писатель в жизни он формировался не в узкой интеллигентской петербургской среде, как, скажем, Георгий Иванов или Георгий Адамович, не в ученой «книжности» Мережковского, не среди особого, замоскворецкого уклада, как Шмелев... Он видел «свою» Россию панорамно, широко, где все было для него ясно и знакомо — до мельчайших деталей. Но видел он и историческую глубину ее судьбы, особой, неповторимой, трагически-прекрасной. Видел Россию и в унижении, и в юродстве, и в святости... Такой и изображал ее, утраченную, когда «...в страшный час над Черным морем Россия рухнула во тьму» (Георгий Иванов).

Для него самого бездна Черного моря открылась 26 января 1920 года: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь. России — конец...»

А дальше началось, нет, не жизнь — пребывание с Россией в сердце, но вне России.

*Темнеет, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперед на черное Распятие
Среди дорог —
И простирает скорбные объятия
Почивший Бог.*

Боль, гнев, страстные пророчества о конце «большевистского ига», о торжестве, рано или поздно, «Белой идеи»... Желание видеть в великом исходе жертвенную и благородную миссию, трагедией своей призванную сказать запад-

ному миру слово спасения, за которым должно последовать действие — по «освобождению» России от новых орд, грозящих и Европе... Буржуазная Европа ни этого страстного призыва, ни мессианства русского исхода, ни «спасения» варварской страны вовсе не желала. Более того, насквозь пропитанная буржуазно-ростовщическим духом, поспособствовала приходу к власти большевистской клики (ради разрушения традиционного государства — монархической России), и вскоре пошла на признание союза с ней... Судьбы же самих эмигрантов европейских политиков, культурную элиту и обывателя волновали меньше всего...

Пророческой, как всегда, оказывалась поэзия. Читая и перечитывая стихи поэтов-изгнанников, открываешь ту особую, шемящую боль, которой она вся пронизана. Это именно большое (от любви и безысходности) — до метафизических глубин — чувство.

В разлуке с Россией в девятнадцатом веке большой русский поэт Алексей Жемчужников дал вдохновенный образ «русской тоски» по Родине в чудесном стихотворении «Журавли»:

*Сквозь осенний туман мне под небом стемневшим
Слышен крик журавлей все ясней и ясней:
Сердце к ним понеслось, издавля летевающим,
Из холодной страны, с обнаженных полей...*

У современников Бунина, участников великой трагедии рождались совсем иные строки. Вот стихотворение Георгия Адамовича:

*Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...
Больница. Когда мы в Россию... Колежеть счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду.
Как будто сквозь белые стекла, в морозной предупреденной мгле
Колыжеть тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.
Когда мы... Довольно, довольно. Он болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором колежеть нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... Но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.*

В белом стане сказано все. Образ запорошенной снегом русской равнины, ледяное объятие тоски, смерть...

Внутри российской эмиграции, как уже сказано, с дней изгнания до начала Второй мировой войны шли очень и очень непростые, противоречивые процессы. Менялись взгляды, надежды оборачивались разочарованием, разочарование — прозрениями. «Большевицское иго» не рухнуло — это был факт, способный изменить любое мировоззрение. Другой, не менее важный — я уже указывал на него — Европа не пришла на помощь Белому движению. Да и не желала вовсе этого делать, какие бы иллюзии ни питали на ее «поддержку» вожди Белого движения. Прагматичный западный мир в трагедии великой страны (не без его помощи) видел лишь собственные интересы, стремился к достижению только своих целей. Наиболее проницательные участники русской драмы это поняли еще в самом начале исхода, когда Белая армия откатывалась к берегам Черного моря. Приведу здесь несколько примеров.

12 августа 1919 года специально созванное заседание военного кабинета британского правительства рассматривало вопросы выработки своей политики по отношению к армии Антона Деникина. Черчилль верил в успех ее и настаивал на скорейшей помощи. Член кабинета лорд Керзон был, напротив, скептичен, опасаясь контроля Деникина над нефтью Закавказья. Еще два члена кабинета, Чемберлен и Фишер высказались так. Чемберлен:

— Сомнения по поводу Деникина вполне применимы ко всем русским, которым мы оказываем помощь. Едва ли кто-либо из них станет в будущем слушаться наших советов или даст нам гарантии, которые нам нужны.

Адмирал Фишер:

— Не имеет значения, какое правительство в России. Важно лишь то, чтобы вести торговлю и чтобы для нее снова стала вырабатываться продукция.

Министр Варне выразился конкретнее:

— Нужно ставить на верную лошадь. В России реальной правящей силой является Советское правительство...

А вот выводы, сделанные в 1920 году виднейшим организатором Белого движения, лидером кадетской партии П. Н. Милюковым. В письме из Лондона к руководителям Национального центра (подпольная кадетская организация, созданная в Москве в 1918 году) дал такую характеристику умонастроений лондонских высших сфер: «Теперь выдвигается в

более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как колонии ради ее богатств».

Видный кадет, профессор П.И. Новгородцев вторил: «Союзникам не нужна великая Россия, им выгодно иметь Россию раздробленную и ослабленную... Лучше иметь Россию, которую можно на все склонить и которой могут все пользоваться для своих целей, чем Россию могущественную, с которой придется снова считаться как с фактором мировой политики»...

Как все повторяется в этом мире!

Но приведу здесь еще одну дневниковую запись — известной кадетки, писательницы Ариадны Тырковой-Вильямс. Посетив британскую миссию в Новороссийске (ее возглавлял профессор Маккиндер, посланный на Юг России для организации эвакуации беженцев), Тыркова пишет: «Маккиндер, внушительный, грубоватый, сознающий и важность своего положения и удачливость своих планов, выглядел менинником. Настоящий иноземец, решающий судьбу низшей расы. Его план — это давно знакомый мне план расчленения России. Это называется де-факто признание национальных окраин. На самом деле это больше похоже на исполнение старого плана Бисмарка — разбить Россию на куски!..» (Как видим, недавнее «реформирование» СССР произошло в соответствии с давними планами, которые никогда не снимались с «повестки дня» геополитических замыслов и стратегических интересов Запада.)

Что же касается мессианства... В 1996 году парижский корреспондент «Известий» встретился с писательницей-эмигранткой Зинаидой Шаховской. В беседе с ней как раз и был задан вопрос о «миссии русской эмиграции» и в какой мере она была выполнена?

— Слава Богу, — ответила собеседница, — мы никак не думали, что мы — «миссия». Мы чувствовали себя отверженными. У нас была надежда вернуться в Россию — через 5, 10, 15 лет. Но миссии как таковой мы не ощущали. Мы были не эмигрантами, а беженцами, людьми, лишенными Отечества! Или, как сказал один из корреспондентов эмигрантской газеты «Возрождение»: «Вы все толкуете о какой-то исторической миссии эмиграции. А я вот не понимаю, зачем надо маяться здесь. Кому это нужно?» Горькие, но точные слова!

Я долгие годы искал книгу Льва Любимова «На чужбине» — его воспоминания об эмигрантском житье-бытье во Франции. Жизни эмигрантской среды, увиденной и осмысленной изнутри. Лев Дмитриевич после войны вернулся в СССР, прожил еще немало плодотворных лет, написал не-

сколько замечательных книг по истории искусства Европы и России. «На чужбине» вышла в 1979 году в Узбекской ССР, переиздана там же в 1990 году. И вот, спустя двадцать лет, книга у меня на столе...

На ее страницах немного строчек непосредственно о Бунине. Больше об окружении, о жизни эмигрантской среды. Но именно это и дает возможность шире взглянуть и глубже понять противоречивые чувства Ивана Алексеевича, терзавшие его. Выбор «возвращаться — оставаться» был для него, в силу многих причин, похоже, неразрешим. Нет, великий художник нашел его впоследствии, примирив судьбу и несбыточные надежды. Внутри своего сердца, измученной своей души...

Но путь мог быть и иным.

Жизнь в отрыве от родины для писателя — трагедия. Не только потому, что лишает его «питающих корней», родной почвы, но и потому, что чужая среда глуха, невосприимчива к его словам. Оставался, правда, путь, по которому, например, ушел из русской литературы, превратившись в англоязычного писателя, Владимир Набоков. Путь, абсолютно неприемлемый для русского писателя, каковым был и оставался до конца дней Бунин.

Приведу, кстати, необычную оценку творчества англоязычного Набокова, принадлежащую той же Зинаиде Шаховской, автору замечательной книги «В поисках Набокова». В упомянутой выше беседе с ней Юрий Коваленко попросил пояснить фразу, ею написанную: «Что-то новое, блистательное и страшное, вошло с ним в русскую литературу». Вот что ответила Зинаида Алексеевна: «Страшное» потому, что он весь придуманный. Это как раз обратное Бунину. Я писала ему: «Володя! Я удивляюсь, что ты часто делаешь большие цветные гирлянды вокруг пустоты». Но когда вы этот весь блеск разрушите, то увидите, что там нет основы. Поклонники Набокова на меня обидятся, но он в искусстве фокусник и мелкий обманщик, бесенок...»

Еще более определенно оценил творчество Набокова писатель-эмигрант Борис Зайцев (в частном письме к Олегу Михайлову в октябре 1964 года): «...насчет Набокова скажу Вам так: человек весьма одаренный, но внутренне бесплодный... Думаю, что в нем были барски-вырожденческие черты... И странная вещь: происходя из родовитой дворянской семьи, нравился больше всего евреям — думаю, из-за некоего духа тления и разложения, который сидел в натуре его. Это соединялось с огромной виртуозностью...»

Ощущение пустоты вокруг было тягостным для Бунина. Отчасти спасало немногочисленное литературное окружение и узкий писательский мирок, что он создал в своем доме. Но мысль была — о русском читателе, там, в «Совдепии»...

Лев Любимов в своих воспоминаниях литературное одиночество писателя увидел так: «И.А. Бунин прожил несколько десятилетий во Франции. Читатель, вероятно, заключит, что этот писатель с мировым именем, нобелевский лауреат, блистал во «всем Париже», окруженный завистливым почтением. Нет, не блистал, да и вряд ли кто из «всего Парижа» был с ним хорошо знаком. Прославился на месяц, когда получил Нобелевскую премию, но отточенной отделкой своего письма так и не заинтересовал парижских литературных снобов. А затем снова стал для французов... всего-навсего «мсье Буниным», русским эмигрантом, который, кажется, что-то пишет на своем сладкозвучном, но увы, на французский совершенно непохожем, языке...»

Нет, конечно, — пустота не была абсолютной. Русской эмигрантской колонии в Париже было чем гордиться, «утереть нос французам». Престижную премию Гонкуров получил Анри Труайя (Тарасов), выходец из России. Звучала музыка Гречанинова, Стравинского, Глазунова, других композиторов России. Покорял своей игрой Рахманинов. В театре Елисейских полей пленял театралов великий Шаляпин, здесь же танцевала вдохновенная Анна Павлова. А «Русские сезоны» Дягилева! Спектакли Балиева! Актерская игра Протазанова, Мозжухина, Туржанского, Серова!.. А шахматист Алехин!.. Ученые, инженеры, конструкторы — велик гений русского народа, не угасавший и в изгнании. Но был в этой гордости и болезненный привкус горечи — гордость за Россию утраченную, которая в эмигрантском сознании не вмещалась на территории, именуемой теперь СССР.

Любимов в своей книге нашел очень точное определение тому: «Эмигрантский патриотизм — лишь кривое зеркало подлинной национальной гордости. Эмигранты хвалились Шаляпиным и Рахманиновым, Алехиным и конструктором «Нормандии». И это позволяло им еще больше уходить в прошлое, в пустые мечты, еще больше отдаляться от настоящей России...»

Жизнь даже выдающихся людей в отрыве от Родины оказывалась надломленной. Рахманинов, Шаляпин, Бунин — эта надломленность терзала их до смерти...

«И вот, оказавшись на чужбине, этот большой русский писатель в творчестве своем все же обращался к родному дому,

как к единственно подлинному источнику вдохновения, хоть и не желал принять его новое бытие».

И не только он. Интересами и понятиями уже несуществующей «цензурной России» годы и десятилетия продолжала жить вся эмиграция. Не забудем и то обстоятельство, на которое также указывал Лев Дмитриевич: мечты о прошлом, попытки возродить российскую великодержавную имперскость умело использовались иностранными органами, как пропагандистскими, так и разведывательными, «которые и направляли эти мечты в русло захватнической политики».

Как ни осуждал Бунин решительный шаг Алексея Толстого, который весной 1923 года вернулся в Россию, но правота его поступка очевидна. В берлинской газете «Накануне» Толстой о своем намерении вернуться заявил открыто. Письмо его в эмигрантских кругах того времени произвело впечатление разорвавшейся бомбы: не отсиживаться надо в эмиграции, а «ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль...»

Он-то и станет впоследствии хлопотать перед Сталиным о возвращении Бунина на Родину...

Продолжение следует

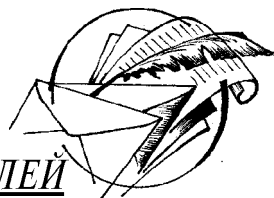
Андрей МАРЧУКОВ,
кандидат исторических наук

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В СССР: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Политические репрессии в СССР — сколько об этом уже было сказано за последние двадцать лет! Как часто эта тема, превращенная в идеологическое оружие, пускалась в ход! Формально целью объявлялся коммунизм и «преступления советской системы». Фактически же ею являлся СССР как государство и Россия как самостоятельная историческая величина.

Во времена «холодной войны», а особенно в годы перестройки и «демократии» зарубежные и советско-российские СМИ раскручивали непонятно откуда взятые цифры в десятки миллионов человек (вплоть до 40, 60 и выше), ставших якобы жертвами политических репрессий «сталинизма». Эти цифры использовали сначала для дискредитации СССР в глазах его граждан, затем для демонизации противников демократов — коммунистов и так называемых «красно-коричневых» (вспомним хотя бы, как педалировали эту тему во время президентских выборов 1996 года). А если брать шире — для очернения нашего прошлого вообще.

Любое упоминание о достижениях того времени — о Победе, прорыве в космос, социальной справедливости, подъеме промышленности и на-



ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

уки, здравоохранении — сразу наталкивалось на негодующее восклицание: «Но какой ценой?! Десятками миллионов политзаключенных!»

И СССР как бы сразу терял право на моральность, приравнивался к гитлеровскому рейху и объявлялся мировым злом, а борьба против него преподносилась как благо для человечества. Ну а дальнейшие политические выводы и геостратегические раскладки были уже делом техники.

Удивительно, но тема политических репрессий продолжает оставаться актуальной и сейчас, хотя ни Советского Союза, ни большевиков уже давно нет. И раскручивают ее не только известные политические и общественные круги Восточной Европы, Прибалтики, Грузии и Украины (что вполне ожидаемо), но и кое-кто в Российской Федерации.

Для чего? Только ли для того, чтобы почтить память репрессированных? Судя по четкости кампании и периодам ее активизации — вряд ли. Да и сами люди, стоящие за ней, особо не скрывают, что главной целью видят недопущение попыток возрождения «сталинизма» в нынешней России.

И кому адресовано это постоянное напоминание, как надо или не надо себя вести? Нынешним властям? Или же народу с его стремлением к справедливости и наказанию тех, кто эту справедливость (по его мнению) попирает? Народу, выбирающему «именем Россия» не кого-нибудь, а товарища Сталина? Возможно, под напоминанием о политических репрессиях и «ужасах сталинизма» скрывается что-то иное. Ну, скажем, неприязнь именно к тем достижениям, что имели место в нашем прошлом? А может, к России как таковой, к ее действительному (или даже потенциальному) месту в мировой политике и истории?

Главным моментом во всей этой кампании является не столько сам факт наличия политических репрессий (никем не оспариваемый), сколько спекуляции вокруг масштабов явления. Репрессии, в том числе по политическим причинам, присущи любой стране и любой власти. Нас же хотят убедить, что это было что-то, свойственное лишь нашей стране.

Ничуть не оправдывая политические репрессии тех лет и жесткое (а порой и жестокое) отношение власти к народу, зададимся вопросом: а каковы в действительности были их масштабы?

А цифры-то давно известны. Их опубликовал сотрудник Института Российской истории В. Земсков. И эти архивные данные стоят того, чтобы их узнало как можно большее число людей. Заметим, что речь идет именно о политических репрессиях: то есть об арестованных и осужденных по 58-й ста-

ть УК РСФСР и других союзных республик за политические преступления. Относить в эту категорию жертвы гражданской войны, раскулаченных, депортированных, осужденных по уголовным статьям — некорректно. А между тем, именно так, для пущей наглядности свалив все в одну кучу, любят живописать ужасы советской жизни все, спекулирующие на теме репрессий.

Итак, еще в конце 1953 — начале 1954 года по запросу Н. Хрущева МВД СССР подготовило две справки о числе осужденных по 58-й статье за период с 1922 по первую половину 1953 года. В первой из них значилась цифра: 3 777 380 человек (из них к высшей мере приговорены 642 980 человек).

Другая справка, помимо этих лиц, включала также осужденных за особо опасный бандитизм и военный шпионаж (их насчитывалось 282 926 человек). Таким образом, всего получалось 4 060 306 политических репрессированных (из них к высшей мере приговорено 799 455 человек).

Пики репрессий приходятся на 1930—1933, 1935—1938 и военные годы. А всего за время войны и первый послевоенный 1946 год (когда были уничтожены основные силы бандеровцев и «лесных братьев», были осуждены власовцы, дезертиры, полицаи и т.п.) пришлось почти седьмая часть всех политических репрессированных — 599 909 человек).

Много это или мало? Конечно, много — 4 миллиона! Но отнюдь не 10, не 40 или 60. И к тому же за 32 с половиной года.

Да, многие люди были осуждены несправедливо, по надуманным обвинениям. Другие пали жертвой политической борьбы (победи в ней они — то жертв, возможно, было бы не меньше, просто ими стали бы другие люди). А немало было и тех, кто понес заслуженное наказание (особенно в годы войны).

Наконец, есть еще одна цифра, происходящая из другого, не менее авторитетного, источника и в целом подтверждающая данные МВД. Она была официально озвучена на брифинге в Министерстве безопасности РФ 2 августа 1992 года. То есть уже в условиях «свободной России», после падения «коммунистического режима». А в то время скрывать или занижать эти данные было не только не нужно, но даже невыгодно. Итак, за весь период советской власти (1917—1990 гг.) по обвинениям в государственных преступлениях было осуждено 3 853 900 человек. Из них к высшей мере приговорено 827 995 человек. То есть примерно столько же, сколько и по данным МВД, но только уже не за 32 с половиной, а за 73 года (разумеется, подавляющее боль-

шинство репрессированных приходится именно на первый период). Разночтения объясняются более строгим подходом МБ РФ к понятию «политические репрессии».

Вот такие цифры: 3,8 — 4 миллиона и за весьма длительный срок. Много, но почему-то эти, и так не маленькие, цифры не в чести у тех, кто оседлал эту тему. Может, потому что они не производят такого впечатления о «разгуле политических репрессий» в СССР, как цифры в десятки миллионов? Кстати, схожая ситуация наблюдается и с данными (сильно завышаемыми) по раскулаченным, депортированным и т.п.

А знать эти цифры надо. И для того, чтобы сохранить память о репрессированных людях. И для того, чтобы давать ответ тем, кто норовит снова использовать эту тему для очередной идеологической кампании против нашей страны.

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Бухгалтерия районной администрации. По периметру комнаты четыре стола и четыре шкафа, остальное пространство для посетителей. У окна, где света побольше, сидит главный бухгалтер — женщина с рыбьим лицом и тусклыми, «уставшими от трудов», глазами.

— Что вам? — спрашивает она подошедшего к ней Лихачева, нового шофера администрации.

— Отчитаться пришел. За командировку.

Она берет у него квитанции, чеки и кладет на угол стола. Затем углубляется в амбарную книгу, и что-то усердно записывает там в правый столбец.

— Освобожусь через час, — поворачивается к Лихачеву.

— У меня же, кроме отчета, других дел полно! — протестует он.

— А у меня?! — «утомленные» глаза взрываются молниями.

Лихачев испуганно пятится.

Он выходит из администрации, топчется на парадном крыльце, не зная, чем занять время, тоскливо смотрит на осеннюю грязь, размазанную на дороге... «Никак не мо-



ПРОЗА

гут, чтоб не тянуть людям душу! — досадует. — И что за каста такая — бухгалтер?»

В АТП, где он работал, но попал под сокращение, он тоже не мог понять бухгалтеров. Всем недовольны, на всех обозлены, или такую важности на себя напустят — не подступись!

Лихачев посмотрел на здание музея напротив и решил скоротать вынужденный час. Ознакомился с экспозицией древности, с костями и черепками, — потом вернулся в администрацию.

Главного бухгалтера не было.

— А где она?.. — растерянно спросил Лихачев, не ожидавший такого.

— А нам не докладывают, — огрызнулась кассир. — К концу рабочего дня подойдет.

— Да вы что! Ждать четыре часа?! Тут работы на двадцать минут, я бы расписался и был свободен.

Не получив ответа, Лихачев поплелся на улицу, жалея, что не может выпить сто граммов — облегчить сердце, и, словно нарочно, ему припомнилось недавнее телевыступление какого-то статиста. Не уточняя, чего выпивают, тот говорил, что в Турции в среднем выпивают полтора литра в год, и прирост населения в Турции триста человек на тысячу. В Арабских Эмиратах выпивают два с половиной литра в год; прирост населения там двести человек на тысячу. В России выпивают семнадцать литров! Прироста населения нет, наоборот, население ежегодно сокращается на восемьсот тысяч человек. Страшная статистика, и государство озабочено этим.

«Еще бы! — думает Лихачев. — Вполне можем вымереть все до единого».

В отчаянии он возвращается в бухгалтерию, сказать, что отчитываться придет завтра, и видит, что главбухша сидит на месте, болтает про какую-то атласную кофточку и жует шоколадку.

— Отпустите вы меня, ради бога! — кидается к ней Лихачев.

— Чего такая поспешность? — Она смахивает со стола засохшую муху.

Долго и нудно составляет отчет, шофер уже готовится расписаться, но...

— У вас не хватает пятидесяти копеек. Сходите в магазин, купите там карандаш и принесите чек.

— Вот рубль! — Лихачев вынимает из кармана мелочь.

— Что вы! Мы на государственной службе.

— Да канцтовары же за четыре квартала отсюда.

— Вы что, не поняли: мы на государственной службе!
... Когда, наконец, с отчетом покончено, Лихачеву кажется, что сердце из него выдрали и вышвырнули на бетонку. Из администрации он заворачивает прямо в кафэшку и напивается до бесчувствия.

ФИГА С МАСЛОМ!

Бытует мнение, что скрыться от возраста можно двумя путями: влюбиться или поменять место жительства. Я время от времени практиковал то и другое, и действительно свои шестьдесят встретил весело. Но вот тут...

— Почему из моего стажа выкинули два года? — зарыдал в собесе, оформляя пенсию.

— Потому что у вас в трудовой начало стажа записано первого декабря тысяча девятьсот шестидесятого года, но не указан город, где находился завод.

— Не указан потому, что завод секретный. Находился он в Барнауле.

— Барнаул какой области?

— Барнаул — центр Алтайского края.

— Напишите объяснительную.

— О чем? О Барнауле?

— Прекратите! Вы, может быть, тунеядствовали два года, а теперь наседаете! Вы в военное время работали?

— Нет, война началась в сорок первом, а я родился в сорок втором.

— Я должна уточнить.

Девица побежала куда-то и пробежала больше часа.

— Этот завод оружейный? — вернулась.

— Да. Мы выпускали моторы к танкам и самолетам, наш цех номер сто сорок. Что выпускали другие цеха, я не знаю.

— Возьмите бумагу и напишите подробную объяснительную.

Я написал.

— Ну... будем комиссию создавать. — Крашенные глазки уже попрощались со мной, как вдруг... разглядели в моей трудовой государственную печать. — Это что же, ваш завод госуда-а-арственный?

— Да. Ордена Ленина завод номер семьдесят семь.

Девичьи губки дрогнули, пальчики записали номер моего служебного телефона.

— Вам позвонят.

Позвонили через неделю, уведомив, что со стажем моим все в порядке.

— Вам нужно прийти к нам по другому вопросу.

— По какому?

— Здесь скажут.

Пришел. Снова подведенные глазки, но девица уже другая.

— Сколько у вас детей?

— Трое.

— Вы их растили сами?

— Нет, вместе с женой.

— Принесите справку.

— От кого? От соседей?

— Как вы смеете! Мы на вас запрос пошлем, милиция подтвердит, кто в действительности растил ваших детей, мы вас научим уважать закон!..

Я вскрикнул и упал.

Из больницы выписался через месяц, работать после обширного инфаркта уже не могу, пенсия уходит на оплату лекарств, к женщинам, особенно молодым, стойкое отвращение.

РАДОСТЬ

Евдокия Макаровна, сухонькая старушка, не любила впускать в свой дом посторонних. Не любила, когда ее, ухмыляясь, расспрашивали, зачем тебе то-то и то-то? Ну, стоит за дверью коса, и пускай стоит, она есть не просит. В сарай вынести — заржавеет. Давно уже Евдокия Макаровна не бралась за нее, да вдруг коз заведет? — и пойди тогда, покупай, если в магазинах косу днем с огнем не найдешь. «Ой, убери, прямо как смерть!» — передразнивала соседок. Как же, всё бы вас слушать!

То же и костыли, что стоят возле вешалки. Кому они помещали? Сломаешь ногу, и опереться не на что. Раньше в любой аптеке можно было купить, а теперь? Мужнины костыли. Им уж лет тридцать, а краска как новенькая, и резинки на месте.

— Макаровна, — спрашивали ее, — неужели тебе не скучно жить бука букой? Хоть на Пасху бы приглашала или на день рождения? Чаю попили бы, потолковали о том, о сем...

«Ага, — усмехалась она. — пусть вас доглядывать да губы квасить».

Такой же нелюдистой была и Пелагея, жившая через дорогу от Евдокии Макаровны. «Дикая» — говорили о ней в селе. Крыша на ее доме худая, замшела, две березки растут; в одной стене не хватает бревна, окна фанерой забиты; ни печки, ни электричества.

Пелагее было восемьдесят два года — как тополию, что рос под окном. Но могучий тополь давно уже рухнул, а Пелагея еще скрипела. Причем скрипела только зимой, а летом жила с удовольствием. Во двор ее, без ограды, забегал Шарик в вечных в репьях, грелись кошки на ступеньках крыльца, Пелагея стирала под высоким кустом татарника... Блаженство!

— Разгони ты этих прибуд, всю пенсию у тебя проедают! Дом на эти деньги поправь! — наставляла ее Евдокия Макаровна.

— Да мне и так хорошо.

Однажды зимой Евдокия Макаровна поскользнулась на ровном месте и повредила лодыжку. Пришлось приглашать Пелагею ухаживать — больше никто не хотел. Лежала старушка на высокой кровати, одна нога вытянута, другая, за-гипсованная, кверху торчит, а под коленом тюфяк, злилась, если Пелагея не попевала с горшком и когда на глаза попадались Пелагеины кошки.

— Чего ты их навела-то ко мне?!

— Да не я это, сами шмыгают.

Евдокия Макаровна кричала, что плохо проварена каша, несладкий кисель, что печка совсем остыла, ...

— Отвыкла я от домашности... — смущенно оправдывалась соседка.

— Топи, топи! Дров, что ли, жалко? Не на твои деньги куплены!

Но Пелагея, как самоед, привыкнув в своей избе к уличной температуре, не ощущала холода.

— И как ты живешь без стены и без печки? — удивлялась Евдокия Макаровна. — Ни сварить, ни согреться!

— Кисоньки греют.

— «Кисоньки»...

Когда больная успокаивалась и засыпала, Пелагея шла в магазин за килькой в томате — для себя и для кошек. Потом чистила у соседки снег во дворе.

...Наконец, с ноги Евдокии Макаровны сняли гипс.

— Вот бы послушала дураков, выкинула! — радовалась она, подпрыгивая на костылях. — Пригодились! И коса пригодится! Всё пригодится!

Когда освоилась с костылями, указала Пелагее на дверь:

— Теперь и сама управлюсь.

Соседка кротко кивнула.

Евдокия Макаровна подглядывала в окно, как Пелагея, в мужских обрезанных валенках шагала к калитке, и за ней отчего-то повеселевшие кошки.

Надежда приехала из Витебска к брату в Пермь. Поезд пришел поздно вечером, и пока она добиралась в нужный микрорайон, её, на ветру да с двумя трамвайными пересадками, просвистало насквозь.

Она не раз бывала в Перми, но всегда летом, а теперь вот в Витебске золото осени, а тут серебро зимы. «Не заболеть бы, — дрожала в легкой, по белорусской погоде, одежке. — Надеваю Андрею хлопот!»

Когда, наконец, добралась до брата, вместо бурных объятий с ним полетела на кухню кипятить чайник.

— Что ж ты по телефону-то не сказал, что у вас тут зима?! — возмущалась. — Знаешь, как перемерзла! Да главное, ветер, и трамваев вечером мало: стоишь, стоишь, ждешь их, ждешь...

— Я тебя встретить хотел, с машиной договорился, а приятель запил.

— Есть у тебя мед или молоко?

— Нет, стопку могу налить.

— Не надо, в магазин сбегая. Магазин всё еще в вашем доме с торца?

— Ну да.

— А накурено-то! Хоть бы форточку открывал! Батюшки! Полная банка окурков! Ну-ка, зажми ее крышкой, я по пути в урну брошу.

Надежда кинула в пакет банку от кофе, забитую «чинариками», которые брат сохранял на случай, если вдруг сигареты у него кончатся, и поспешила из дома.

В магазине сдала пакет, получила взамен корзину, пошла в молочный отдел, но передумала: «Сначала куплю колбасы, сыру, батон... У Андрея, видать, в холодильнике пусто».

Пока набирала, толкаясь между людьми и прилавками, голова закружилась.

Наконец, все купила. Выстояла перед кассой, и осторожно, боясь споткнуться впотьмах, вернулась домой.

Брат, увидев ее жаром налитые губы и ослезившиеся глаза, разозлился:

— Что ты в своей ветровочке-то потащишься?! Вон теплая куртка на вешалке! Подогнула бы рукава и застегнулась как следует.

Он принял корзину, выложил на кухонный стол продукты и только тут ошалело повернулся к сестре:

— Ты как с корзиной-то через контроль прошла?

Надежда не помнила.

— И жетон не сдала?

-
- Нет, в кармане лежит.
- Ничего себе! Обокрала магазин, и никто не заметил! Ладно, завтра верну. А где твой пакет?
- Сдала. Вместе с банкой: забыла выкинуть ее. Воняет теперь, наверно...
- Да ты что, одурела! — не своим голосом завопил брат. — Тут тебе не Белоруссия! Тут сейчас такой хай поднимется, когда магазин начнут закрывать! Банка в пакете! Какая банка? Что в ней? Взрывчатка? ОМОН вызовут с собаками! Увидят окурки, снимут отпечатки пальцев — меня же посадят!
- Да кому ты нужен?!
- А умышленное создание ложной тревоги — не хочешь?!
- А при чем отпечатки пальцев? Ты что, под следствием был?
- Не был, но проходил! Как свидетель! По подозрению! — Брат схватил жетон и корзину и кинулся к входной двери.
- Так свидетелем или по подозрению? — дознавалась сестра уже в провал подъезда.
- Андрей мчался, как лось. Добежал до магазина, бросил на стойку хранения жетон, корзину и потребовал свой пакет.
- Вон там, там! Скорее!
- Приемщица подала ему, подумав, что человек куда-то сильно торопится. Андрей прижал пакет к животу, еще не веря, что отнесло бед! И вдруг расхохотался: страшно, истерически, дергаясь, как паралитик.
- Что с вами, молодой человек? — перепугалась женщина.
- От счастья, от счастья!.. Ах, если б вы знали!..

ВОСТОПГ

В бывшем Дворце пионеров, а теперь прибежище разных дельцов, открылась выставка Николая Рериха. Устроители дали объявление в газету, и народ повалил!

Однако вместо оригиналов в залах висели копии. Грубые, бестолковые. Зато шныряли девицы, раскрашенные под индианок, и бойко навязывали посетителям книжки и тибетские снадобья. Словечки «нирвана», «лама», «карма», «шамбала» сыпались как горох.

— Купите, купите, не пожалеете. Смола из тибетских пещер! Зубы лечит, живот, простуду!

— Купите книгу спасителя человечества! Будем братьями: негры, индусы, китайцы, русские... спасемся! Лама! Нирвана!..

Часть публики покинула выставку, другие, наоборот, начали быстро скупать предлагаемые товары, особенно пузырьки и пакетики. Вместо размышлений о живописи, разговоров о художественном значении Рериха — захлеб заговорили о своих болезнях.

«Индианкам» пришлось переместиться в ранг слушательниц. «Карму» и «шамбалу» заменила «ЗОЖ». Кто-то по «ЗОЖу» вылечил трихополом печенку — двадцать семь упаковок съел за три дня. Кто-то, с детства хромым, начал нормально ходить, принимая внутрь керосин — по столовой ложке утром и вечером. Больная сахарным диабетом излечилась «болтушкой» из водки с маслом...

Вывод напрашивался сам: к черту официальную медицину, в народах накоплен прекрасный опыт самолечения! Те, кто еще не купил бальзамы и смолы, кинулись покупать, набирая впрок и не жалея денег. У кого денег не было, просили «оставить до завтра».

На другой день телефоны в городе разрывались на части — вчерашние ререхнутые захлеб сообщали друзьям и родственникам:

— Сходите, сходите на Рериха! Это же чудо! Горы! Синие, желтые, красные! Невозможное наслаждение! Карма, шамбала, тибетское масло! Запах!.. От всех болезней!

Выставка работала две недели.

МИНИАТЮРЫ

В КАНУН

Сегодня закат не такой, не то что вчера.

Вчера весь край неба был исполосован розово-лазорево-малиново-золотистыми слоями — длинными, завораживающе нежными и на глазах затухающими, потому что над ними висел уже мрак долгой зимней ночи.

Сегодня... нет, сегодня бледный желто-красный закраек неба погружался в ночь, уходил за горизонт.

И все-таки поразительно пышные и яркие закаты бывают над нашими сибирскими просторами — именно по ним, ду-маю, мы и утверждаемся в красоте Земли и Неба.

Высоко слева над закатом появилась и засияла первая звезда — Венера. Так мы привыкли ее называть, хотя она такая же планета, как и наша Земля, ее ближняя родственница, сестра, а может, Мать, все остальные планеты — мужчины, братья, и, наверно, кто-то из них Отец нашей Земли.

На одной линии с Венерой к востоку вскоре заблестела маленькая звездочка, название которой мне неведомо, хоть я и изучал — листал в эти посленовогодние вечера учебник по астрономии за 10-й класс.

— Смотри, наблюдай за небом, — сказал я Верному. — Замечай, как появляются звезды.



ПРОЗА

Пес хоть и смотрел на небо, но ему не до неба, он нетерпеливо перебирал лапами по огородной дорожке: мороз раскалялся, поди, больше тридцати. Он у меня домашний пес, привык к теплу, и лютые холода переносит тяжело.

А на северо-западе вскоре засверкала еще одна звезда. Вега, если я точно определил ее на схеме в учебнике. Я искал Большую Медведицу, но не мог заметить ее появления, а, вернее, не углядел: когда вернулся из огорода и вошел во двор, остановился за елью, которая растет перед крыльцом веранды, — ковш низко висел над горизонтом. Просто елка помешала мне его углядеть-уследить.

Ближе к полуночи, когда мы вышли на улицу прогуляться с Верным, все вокруг выглядело по-другому: звезд не было, сыпал мелкий снежок-изморозь. От мачтовых фонарей на станции и от редких уличных светильников на столбах уходили высоко вверх лучи-стрелы, деревья замерли-застыли в белом пышном одеянии...

Что-то происходит в природе. Или произойдет... Нет, я не забыл, — уже произошло! Родился на свет Человек-Бог. Хоть и совершилось это две тысячи лет назад, мы каждый миг ощущаем в нашей брэнной, трудной и грешной жизни Его Величие на Земле и на Небе.

УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ

Выехали утром, после похмельных стопок под обжигающую уху из нельмы и долгого чаепития.

Ах, это обильное именинное застолье, эти жаркие словоговорения, скорые знакомства: ошалелость взглядов, улыбок, игра встречных движений — люди близкие и неблизкие, наверно, для того и съезжаются, чтобы вволю насладиться этим душевным угаром.

А расстояния нынче для встреч — что расстояния?! Вчера перемахнул на воздушных перекладных чуть не полторы тысячи верст, а сейчас Юра, именинник писатель Юра Афанасьев, обещает прокатить по заснеженной Оби. В Тюмени верба распустилась, почки на тополях проклюнулись, а здесь, у Полярного круга, снег не трогался — матово переливается под ярим апрельским солнцем. Стою на обрыве, оглядываю обские разводы, пока Юра и брат его Владимир цепляют к «Бурану» дощатый ящик на алюминиевых полозьях, укладывают в него брезент, дерюги для мягкости сидения. С воздуха, с высоты полета «Ан-2», обские протоки видны четко, расчерчены белыми дугами и подковами — отсюда почти не просматриваются, упрятаны за лесными грядами. Над тем-

ными еловыми лесами по тому берегу — сизо-голубой морок, томление в ожидании весны. Чувствуется она и здесь: блестят сосульки на крышах, снежная свежесть воздуха, а в морозных струях его — то, еле уловимое дыхание далекого знойного юга.

Садимся. Едем. Не едем, а тихо передвигаемся по узкой улице, вдоль вытаявшего деревянного тротуара. На выбоинах и колдобинах наш ящик трясет, подбрасывает. По обе стороны — глухие заборы, ворота, калитки, окна в резных наличниках, скопления возле магазинов людей, собак и лошадей. Некоторые женщины в малицах, а больше в длинных цветастых юбках с передником, в шالях, с кокошниками — степенные, важные. Все кругом движется как в замедленном хороводе, и непонятно, какая под нами твердь, — парим, возносимся, падаем.

«Ни по земле, ни по воде не найдешь ты пути к гипербореяцам», — вспоминается недавно читанное.

Не те ли это далекие и легендарные люди Севера, живущие в вечном блаженстве?

Наконец остаются позади избы, изгороди, закоулки, заваленные лесинами, дровами, спускаемся на русло Малой Оби возле одинокого домика аэропорта с полосатым конусом над крышей, мчимся вдоль ледовой полосы аэродрома, огибаем слева остров с торчащими из сугробов рогатинами тальников, несемся по накатанной дороге к противоположному берегу, который темной дугой чернеет на горизонте. Нас трясет, колотит, ухватившись руками за борта ящика, мы амортизируем, снимаем, как можем, тряску, иначе можно выпасть. Юра время от времени оборачивается, скалится в свирепой улыбке и знай себе жмет на газ — уши шапки ползутся на ветру. В спину мне шлепают ошметки снега и кажется, вот-вот вытряхнутся из головы мозги — в затылке и висках невыносимая боль. Но несемся в бешеной тряске, и берег справа на глазах начинает приближаться. И уже видны его очертания, впереди маячат на высоком обрыве несколько изб...

И вот минут через десять эти избы перед нами. Глохнет мотор, и в полной тишине слышны только наши вздохи.

Никаких признаков жизни в избах и около них не видно, кроме единственной лошади, которая стоит как изваяние под кедром у самого края — похоже, греется на солнышке. Обозревать голые, без единой изгороди, домишки как-то неприлично и грустно, и мы молчим, вслушиваемся в тишину.

— Пусть остудится, — Юра наклоняется и бросает горсть снега на мотор, закуривает, заглядывает мне в глаза, присматривает смехом. — Запомнится эта поездка надолго?

— Запомнится! — хохочу в ответ.

— Раньше здесь стояло с десятков изб, — обводит Юра рукой вдоль берега. — Сейчас вон в той живет хант с бабкой, в той одна старуха, а та пустая...

— А лошадь чья?

— Хант по дрова ездит, раз в неделю за хлебом. В поселке, куда мы едем, почти у каждого лошадь — покос, рыбалка, охота.

И насладившись печальным покоем берега, снова садимся в проклятый ящик, укутываем брезентом ноги, болезненно погружаемся в монотонную трескотню мотора.

Сразу за первым поворотом обрыв срезается, и мы взбираемся по отлогому скосу на берег, катим по санному пути, мягко, плавно катим по увалам и распадкам. По обе стороны — пышные невысокие кедры, в низинах — ели, мелкий березняк. И громадные снежные наносы на опушках и вокруг крупных деревьев. Ехать по этим снежным лабиринтам много приятней. И почти не трясет.

После двадцатиминутной гонки останавливаемся под береговым склоном. Обь, похоже, широка здесь и делает очередную загиб вправо.

— На этом плесе, он называется Большим плесом, — говорит Юра, — я любил в детстве рыбачить. Всегда с рыбой приезжал. А однажды закинул жерлицу с живцом на нельму, чую, сразу же схватила, зацепилась — тяну, подтягиваю вот к этому месту, — утопленник... Бросил жерлицу, в лодку — и домой. С тех пор ни разу тут не рыбачил.

Даем остыть мотору, снова пускаемся вдоль пологого правого берега, левый же полукругом окаймляет темная полоска леса — уходит к самому горизонту. Трудно вообразимо, что это неоглядное пространство — вода. Сколько же ее здесь, на севере, этой воды?

За поворотом встречаем лошадь, запряженную в кошевку. Юра останавливается, приглушает мотор. В кошевке, обшитой оленьими шкурами, пышно восседает молодая женщина в малице, в кисах — все расшито красно-сине-зелеными узорами. Капюшон оторочен песцом. Похоже, коми. Мягкое лицо слегка румянится, на губах блуждает улыбка — не улыбка, а...

— Царица тундры, — шепчет Володя.

«Царица тундры», — подтверждаю я кивком.

Взгляд невозможно оторвать — особенно выражение губ. И глаза. Чуть навывкате — большие, коричневые.

Мы, мужчины, чаще всего принимаем за улыбку женщины обычный оскал. А настоящие женщины, по-моему, улыбаются редко и вовсе не стремятся быть красивыми, но ум-

ными, вернее, добрыми. На лице женщины в кошевке именно это выражение — сдержанная доброта.

Юра трогается, и лошадь трогается легкой трусцой, и урывает кошевка за поворот.

А лицо остается в моей памяти как видение, как некий знак судьбы — не моей, конечно, но я им отмечен, этим знаком навсегда.

До конечного поселка мы делаем еще одну остановку. А в самом поселке, кучно разместившемся на обрывистом мысу, отдыхаем с час, может, больше. В новой, только что сложенной из бруса избе, пьем чай с коричневым муксуном, обходим дома Юриных знакомых. На крыльце почти у каждого сидят женщины в малицах, ребятишки, парни, мужчины-ханты, греются на солнышке. Рядом, одна к другой, стайки, верх которых обнесен тонкими тычками, куда натолкано сено. Лохматые лошадки, стоящие тут же, время от времени высоко задирают головы и достают клочки сена, лениво жуют. Здесь же, на утопанных навозных подстилках, лежат собаки. Кругом — груды напиленных чурок, бревен-топляков, поленницы...

А в небе — солнечная ярость, от искристого снега режет в глазах. И вокруг такой простор, дали, пространства — хочется взлететь и парить, парить в синеве бездонной и обозревать с высоты эти избы, берега, леса, острова. Смотреть на все глазами женщины в кошевке, ее взглядом. Мне кажется, и сейчас, когда она наедине с миром, ее взгляд, ее мысли и чувства направлены всем нам, солнцу, снегу, весне, себе, небу.

* * *

Прошло больше двух лет после той памятной гонки по Оби в тряском ящике. Но все чаще в минуты прозрения всплывает перед глазами улыбка женщины в кошевке, и я невольно ловлю себя на том, что и я стараюсь смотреть на мир ее глазами.

ВЕСЕЛЯЩАЯ

Соблазнила Степана Панфиловича жена на старости лет съездить на юг. Съездили. В Крыму побывали, в санатории. И так покатались, посмотрели на людей, на море — места ничего, красивые, приятные глазу. Но Степану Панфиловичу почему-то всегда, особенно по ночам, вспоминался свой дом, сосновый бор видел во сне, березовые перелески за огородами, речка пескариная... просыпался и сладкая боль защемляла в груди от мыслей, что где-то там, в таежной сибирской глухомани осталось его родное село.

«Нет, забрось человека хоть в какую диковинную сторону света, — думал он, — его все равно будет тянуть к тем местам, которые он узнал с детства, нет ничего милее душе»...

Из Ялты завернули в Киев к однополчанину. После войны Степан Панфилович виделся с ним последний раз в году в шестьдесят пятом, случайно встретились в Москве на съезде учителей. Фамилию его он забыл, хорошо, что напомнили в разговоре другие мужики-киевляне: Выжутович Семен Наумович. Но и тогда он не понравился ему. А сейчас, когда попал в его богато обставленную квартиру, вообще одну ночь еле выдержал. Надежда Гавриловна, жена, часто просыпалась, нашептывала: запах ей, вишь ли, не нравится в квартире. Запах как запах.

Степану Панфиловичу не нравилось другое — слишком кичился однополчанин своими заслугами, целый вечер говорил только о себе, Заслуженном учителе, и о своем, других не воспринимал. Тошно слушать. Это перед ним-то выставил себя? А что с другими?.. Хотя в войну они сталкивались вместе всего месяца три, из одного котелка не хлебали — из любопытства завернул посмотреть, повспоминать. Вспоминать оказалось нечего.

Степан Панфилович поругивал себя, что заехал, решил больше не поздравлять Семена Наумовича открытками, не нужны ему такие однополчане.

А из Киева они перемахнули всего за каких-то три с половиной часа в Новосибирск, где жила сестра жены, — свои родные зауральские места проплыли в самолетном окошке из сизой десятикилометровой глубины.

Пропутешествовав таким образом больше месяца, Степан Панфилович вошел в свой огород и ахнул. Крикнул жену:

— Надя! Иди, смотри, что тут... О-о-хо-хо!..

Ну, просто диво дивное: глухие заросли, пустырь заброшенный, а не огород. Сорняки как будто только и ждали этого момента, вымахнули на доброй взрыхленной земле во весь свой истинный рост. И все успели отцвести и выбросить семена — и полынь-чернобыльник, и крапива, и аистник, и пастушья. И свербига откуда-то взялась. Лебеда — так выше головы. А любисток... любисток сам себя рассадил желтыми зонтиками, как сорняк пошел гулять по всему огороду. Ну и болиголов...

«С болиголовом надо кончать, — размышлял Степан Панфилович, замороженный этим неожиданным буйством на своей усадьбе. — На болото переселю, пусть там... Шутки с ним плохи».

Степан Панфилович многие годы проработал агрономом, преподавал в школах, после пенсии увлекся в своем огороде

выращиванием пряных и лекарственных трав. И не переставал восхищаться этому поразительному свойству растений защищать, отстаивать себя, свое право на жизнь. Взять тот же аистник или полынь: примешься их выдергивать — они обязательно оставят, как ящерица хвост, себе корень, оторвутся прямо у земли. Оставят главное.

Иногда Степан Панфилович скандалил с женой, которая проскребет тяпкой между грядками и на этом успокоится. Он же успокаивался только тогда, когда пропускал всю землю, как говорил Терентий Мальцев, через свои пальцы. Прополоть грядки хоть чуть-чуть они просили перед отъездом Мишу, но жену его (на нее, в общем-то, и надеялись) положили в больницу, а сам племянник запил. Вот и остался огород без призора, в буйство дикое пошел.

— Не вздыхай, отец, сейчас я вымою полы и возьмусь за огород, — успокаивала жена.

Она и сама стосковалась по дому и всласть делала свою обычную работу: рукава засучены, легкая, ладная не по годам, носится в своих шлепанцах с ведрами да половиками. Степан Панфилович видел, что жена возбуждена тем, теперь уже давнишним возбуждением — оно сразу передалось и ему. И он, как в былые годы, засмотрелся на крепкие, загорелые ноги, промелькнувшие в густых зарослях колодцу, вспомнил о сладких изнурительных мгновениях, которые приходят к ним все реже и реже. Вздохнул, направился под навес, ему не терпелось взяться за свое привычное дело.

И брался то за лопату, то за грабли или вилы. Нервничал, горячил себя, переходя от грядки к грядке. Да какие там грядки — джунгли! Все сплошь приходилось раздирать, раздвигать, раздвигать руками. Первоцвет, который он выкопал весной у друга в Тюмени, исчез, давно отцвел и пожух, искать надо корень, если он там остался. Золотой корень куда-то затерялся. Чабрец пропал, захирел в густоте укропа и киндзы. Иссоп, его любимый иссоп, совсем затянуло мокрицей. И злой вьюнок откуда-то появился, все опутал, — он раздвигал тяжелую, всю в мелких каплях-алмазинах, зеленую паутину мокрицы, выбросил на дорожку. Слегка пожаткал в пальцах два длинных колоска с синими мелкими цветочками, уткнул нос в ладони, задохнулся в холодном мятном аромате.

«Недаром он, иссоп, описан в библии, — подумал, прибирая веточки в нагрудный карман. — Ах, какое чудо ощущать это разнообразие запахов и вкусов. Кажется, вечность вдыхаешь в себя»...

Затем он продрался через малинник и долго стоял там в оцепенении: в глазах вдруг замельтешили, захороводились кипы голубых и сиреневых звездочек. Правильные пятиконечные звезды. Сиреневых было мало, кое-где, но они на зелено-голубом ковре как-то особенно четко выделялись, пропечатывались.

Здесь в полном затишье, стояло знойное лето, солнечное тепло колыхалось, щекоотало в носу. Малиновый дух исходил от земли. Ягода вся опала и лежала бурыми кляксами под кустами и на листьях. С тихим жужжанием кружили пчелы, замирали в звездочках.

— Но откуда взялись эти заросли огуречной? — спросил сам себя Степан Панфилович, обводя взглядом голубую полосу, которая тянулась вдоль изгороди.

И тут его аж в пот бросило: он понял, что это очередная диверсия соседа — злобного, тупого алкаша. Фамилия его — Окунев — точно отражала внешность: глаза навывкате, рыбы, удлинненное лошадиное лицо вечно искривлено свирепой ухмылкой. В поселке его звали просто Окунем.

Первая жена у Окуня умерла лет пять назад, он привел из города такую же, как и он, взбалмошную алкоголичку. Уже много лет не здоровался Степан Панфилович с соседями.

Вспомнил Степан Панфилович про все пакости Окуня, передернулся от негодования, потом с яростью начал выдергивать колючие жирные стебли, с каким-то азартным наслаждением испытывая саднящую боль в ладонях и, оправдывая ее тем возмездием, какое он хотел воздать соседу. Нарвав целую охапку огуречной травы, он подошел к изгороди и начал трясти в соседний огород.

— Пусть она и у тебя водится, — шептал он со злорадством. — На, гад!..

Огуречная хоть и цвела, но семян уже было много, они звучно брызгали в траву — что там росло, непонятно, похоже, — заросли бутуна, а в основном одуванчик и пырей.

Степан Панфилович отряхнул одну охапку и выбросил ее через сетку своего огорода, вернулся, чтобы надрать еще. Только наклонился — под глаз его ударила пчела. Он прикрыл лицо ладонями — и тут же в руку ужалила другая... Со стоном он пробрался через малиновые кусты, заскочил на веранду, сел на диванчик. И тут только осознал всю нелепость, всю низость своего поступка. С испугом и отвращением посмотрел на дом соседа, подумал: а вдруг Окунь видел, как он...

— Что это я?... — шептал он на себя ругательства. — Ну дурак, ну старый болван... опустился до его уровня...

Вышла жена из дома, озабоченно спросила:

— Что это с тобой, отец?

— А пчела укусила, — Степан Панфилович, отняв ладонь с глаза, улыбнулся. — Вытащи жало вот тут...

— Ой, как вздулось! — забеспокоилась жена и сковырнула ногтем жало, которое все еще «работало». — Под глазом опасно.

— Н-ничего, полезно. «Подкрепившись огуречной травой, я всегда иду смело...» — пропел Степан Панфилович слова песни времен Александра Македонского — перед походом воинам тогда давали настойки огуречной для бодрости духа. Вспомнил знаменитую книгу Верзилина, легенды о растениях, которыми он зачитывался. Вспомнились послевоенные годы, студенческие походы с ребятами в лес, пылкие объятия с молодой тогда девушкой, тоже студенткой, которая стоит сейчас рядом — рядом уже почти сорок лет.

Степан Панфилович, развеселившись от этих воспоминаний, привлек жену за талию, усадил возле себя.

— А как она тебя укусила? Ты наклонился, — спросила жена, продолжая изучать шишку.

— Да там за малиной, огуречная разрослась... черт знает, откуда ее столько?..

— Ты знаешь, я тебе, по-моему, не говорила, а это я еще весной рассыпала баночку.

— Зачем?

— Случайно. Я посеяла репы и кресс-салата, как ты просил... Место еще оставалось, дай, думаю, посею и огуречной, а баночка у меня из рук выпала... я перекопала, а они все равно...

— Ага, понятно, — вздохнул Степан Панфилович.

— Красиво она цветет, особенно под осень, когда мало цветов. Я люблю. Да и ты любишь салат из листьев с луком, со сметаной. Сделать?

— Конечно, сделай.

— Веселит она, ты говоришь?.. — и жена при этих словах лукаво сощурила свои все еще жгучие коричневые глаза, наклонила голову — наклон этот с первой встречи запомнился ему и нравился всегда.

— Веселит, — улыбнулся Степан Панфилович, обнимая жену за плечи. — Веселит она душу и тело мужчин и женщин, ах ты старая греховодница!..

— Поэтому она и называется веселящая? — рассмеялась жена на свой вопрос.

— Поэтому, поэтому, — погладил Степан Панфилович шишку под глазом. — Есть такая восточная легенда... раньше, еще при римских императорах, знали только огуреч-

ную. Ее считали волшебной травой, настойку на вине давали воинам, чтобы поднять дух перед сражением. А огурцов не было, их стали выращивать позже. И вот однажды турецкому султану прислали из Англии огурец, а его кто-то съел из слуг. Тогда султан приказал разрезать животы всем своим слугам, чтобы узнать по запаху, кто съел огурец.

— Какой ужас!

— Да-а, я тебе наверняка рассказывал эту легенду.

— Что-то не помню, — зевнула жена, оглядывая веранду. — Никто не сорил, а пыли на всем, тенетник даже появился, — и она с озабоченным видом ушла в дом.

Степан Панфилович решил не говорить жене о своей выходке с огуречной. И никому никогда.

Целый день он ходил с неприятной ноющей болью в груди. За последние два месяца сердце его, кажется, впервые шалило так настойчиво и нехорошо. Приходили бабки за травой, за советом, узнали, что вернулись, расспрашивали, — он шутил с ними, бодрился, а сам волновался: хоть бы они не заматили его состояния. Утешал себя, что, слава Богу, кончилась дорожная суета, здесь, в тиши огорода, родного духа он пересилит свои недуги.

Хотя что-то мешало, выводило из равновесия. А что именно, он понять не мог. Злоба, вздорность Окуня? Да он раздражал его всегда. В глубине души он считал, что этот человек готов на все, он иногда приходил к убеждению, что таких людей надо вовремя изолировать от общества, уничтожать, вот только как и кто это должен делать, решить не мог.

Под вечер, копаясь в огороде, он увидел Окуня. Тот шарашился пьяный по двору, искал жену — ошалело выкрикивал матерки, поднимая вместе с кулаками красную рожу к небу. И походил в этом своем буйстве на зверя.

К вечеру, как только Окунь напивался, жена его исчезала, пряталась. Игра эта в прятки у них бывала почти каждый день. Прежнюю жену он довел таким путем до могилы. Лет пять сидел за изнасилование неродной дочери.

Степан Панфилович внутренне содрогнулся, припоминая все подробности жизни Окуня за эти годы, когда они стали соседями — это сплошной пьяный угар. Но знал он о нем и другое: в послевоенные годы Окунь летал на военных самолетах, считался чуть ли не асом. На пенсию ушел рано и стал каждодневно пить. Даже лет пять назад у него была еще привязанность — держал пчел. А потом, после смерти первой жены, своих заморозил и его десять ульев отравил в бешеной злобе. После этого Степан Панфилович перестал держать пчел.

Но когда мысли Степана Панфиловича дошли до стекол, он выпрямился над грядкой и даже прошептал:

— Стоп-стоп!..

Ему впервые пришла мысль, почему он во всем обвиняет одного Окуня, может быть, он вовсе тут и ни при чем?

Разве соседка слева, приветливая и болтливая Полина Федоровна, не могла набросать стекляшек? Рассеял же он сегодня огуречную Окуню, поступил как мелкий пакостник.

«Господи, как мельчают к старости люди», — с тоской размышлял Степан Панфилович, и заключение это он относил не к другим, а больше к самому себе.

Перед самым сном Степан Панфилович снова вышел в огород. Жена включила уют, собиралась гладить, а он не терпел запаха горячего белья.

От горизонта поднимался огромный красноватый диск луны. Он еще не давал никакого света земле, но все равно она, луна, присутствовала и наводила тревогу — он это сразу почувствовал. Почувствовал он, еще не видя, как нарождался молодой, — так называл отец.

Теперь, уже издалека, Степан Панфилович вновь пытался дать правильный ход своим мыслям. Сердце его не ныло, в груди, он ощущал, разрасталась та благодать общего всепрощения к себе, к людям, какую он испытывал в далекие теперь годы молодости.

«Почему же я хочу так настойчиво оставить, сохранить тот порядок вокруг себя, какой я представляю и на какой другим просто наплевать. Может быть, мне самому с моим надорванным сердцем осталось несколько дней жить, — со сладкой жалостью к себе размышлял он, расхаживая по тропке. — Что же надо хотеть от жизни в моем положении, чего требовать?»

Через густой малинник Степан Панфилович пробрался к огуречной. Под лунным светом курчавились серые вороха. Но и тут, почти совсем в темени, голубые звездочки отдавали слабое свечение.

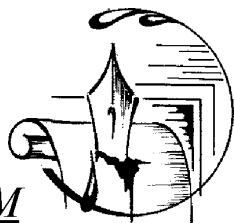
— Ну, с вами-то я полажу, будем ладить, — прошептал Степан Панфилович, ероша колючие елочные верхушки.

Поднимаясь на веранду, он с каким-то новым, до сих пор не испытанным чувством умиления подумал о жене, о ее невинном желании повеселить его «душу и тело», подумал сейчас как о единственном человеке на земле, который знает, что ему надо.

ПУТИНА

Речка у нас хорошая. Вода чистая. Берег тоже хороший, пляжи ухоженные. Рыбы много, клев хороший. Бери в руки удочку и лови в свое удовольствие. И на ущицу рыбки хватает, и балычок к пивку всегда имеется. Дети тоже плотвичку подергивают, купаются, загорают. Рыболовным промыслом в основном занимается наша артель: и нас рыбой кормит, и другим продает. В артельные дела мы не вмешиваемся, у нас других дел хватает. В общем, все своим чередом, все нормально.

Но не дают нам покоя рыбаки того, правого берега, потому что им не дают покоя наши рыбные места. У них у самих и берега хорошие, и рыбы навалом. Что только они с этой рыбой ни делают — и солят, и вялят, и коптят, и консервируют в томате и в масле, и с луком, и с морковкой. Ну, как и мы, в общем. Но помешались они на продаже рыбы, сделали рыбный промысел главным источником личного обогащения. Очень они жадные до денег, все им денег мало. Веселятся на том берегу, попойки устраивают, ночами костры жгут, танцуют голяком у костров, песни орут, распугивая нам всю рыбу. А нам говорят: «Видите, как мы весело и беззаботно живем в богатстве, а



ИРОНИЧЕСКИМ ПЕРОМ

вы не умеете так жить. И мы хотим научить вас жить так же». А сами зарятся на нашу рыбу. Обвиняют нас в нарушениях правил рыбной ловли: то снасти у нас не такие, то нересту рыбы мешаем и т.д., и т.п. Выдумывают всякую чушь, лишь бы нагадить нам. В конце концов заявили, что мы не умеем ловить не только рыбу, но и мышей. При чем тут мыши — вообще непонятно.

И зачастили к нам соседи с того берега со своими советами, как правильно ловить рыбу. Подкупили Правление нашей рыболовной артели, и стали наши артельщики плясать под их дудку: подделали итоги выборов и упразднили актив, объявили, что артель работает неэффективно, и обанкротили ее. Оформили самые рыбные места в свое личное пользование. Пляжи с раздевалками, душами и туалетами тоже переписали на себя и сделали платными. Так что дети наши речку видят теперь только издалека, потому что платить за вход нечем. Нам раздали старенькие, давно списанные удочки с рваной леской без крючков и поплавков и сказали, что теперь мы законные хозяева этих удочек и должны ловить рыбу каждый сам себе, если не хотим сдохнуть с голоду. Вместо артели по рекомендации правобережных рыболовов-инструкторов Правление нашей бывшей артели учредило «Рыбнадзор» и всем коллективом перешло работать туда. И перетасило с собой всех своих родственников, друзей детства, школьных товарищей, знакомых, а в последнее время и подруг. Все как один с богатым опытом торговли. Где что купить подешевле, а по большей части украсть, да продать подороже. А в рыболовстве они, как показало время, совсем ничего не понимают.

В основном «Рыбнадзор» нас надзирает: указывает время и место, где нам дозволяется ловить (почему-то места самые безрыбные), контролирует, сколько и какой рыбы мы наловили, конфискует наш и так скудный улов и продает на правый берег. Правда, с этого улова несколько мелких рыбешек, которыми и кошка-то не всегда наестся, нам на кое-какую ушицу иногда и продают, но через своих многочисленных посредников-перекупщиков. В итоге малек плотвички нам обходится по цене взрослой осетрихи с икрой. А сами наши бывшие артельщики со своими инструкторами-рыбаками с правого берега начали путину. Замутили всю воду в реке. Отменили все существующие правила разумной рыбной ловли и узаконили браконьерство. Инспекторы новоиспеченного «Рыбнадзора» вместе с рыбаками с правого берега реки сами занялись браконьерским промыслом. Начинали вроде бы пристойно, ловили рыбу красивыми импортными спин-

нингами, которые накупили на правом берегу за наши деньги. Но, как сказал один умный немецкий рыбак, нет такого рыбака-браконьера, который бы не пошел на нарушение правил рыбной ловли, если прибыль от улова достигнет 300%. И пошло-поехало.

Перегородили всю реку сетями. Опутали ее донками и переметами, полезли в нее с бреднями. В мутной воде начали бить бедную рыбу острогами и глушить динамитом. И весь улов на продажу туда, на правый берег. Наш же берег загадили мусором, остающимся от их бесконечных шабашей, на которых жгут костры из вяленых лещей. И саму реку, нашу кормилицу, превратили в свалку.

Разумеется, такое хищническое отношение к рыбалке до добра не доведет, и рано или поздно это должно было привести к печальному финалу. Так и случилось. Уловы катастрофически снизились, рыба в реке стала пропадать. Наши бывшие артельщики, а теперь как бы эффективные рыбаки, запаниковали. Народная мудрость «На безрыбье и рак — щука» им не подходит, потому что за раками лезть в ими же загрязненную реку они брезгают. Мы напомнили им про удочки, которыми в начале реформ они советовали нам ловить рыбу и предложили им самим взять в руки эти удочки. Но они, уже привыкшие без труда загребать рыбу сетями, отказались и потребовали вместо удочек рыбу. И «Рыбнадзор», не спрашивая нашего согласия, берет рыбу из наших и так очень скромных запасов и отдает ее этим эффективным рыбакам. Потому что котел, в котором и рыбаки и «Рыбнадзор» варят уху, у них общий, и навар с этой ухи они делят между собой, а нам перепадают только рыбки косточки, жабры да чешуя. Иногда хвосты, когда кто-нибудь из нас на них нечаянно падает. Рыбаки, вместо того чтобы поделиться с нами рыбой, которую им выделил «Рыбнадзор» из наших же запасов, опять отвезли ее на правый берег и продали. А на правом берегу накопилось так много выловленной рыбы, что рыбаки не могут ее ни сами съесть, ни продать. Сытые уже и не знают, куда ее девать, а у голодных денег нет, чтобы ее купить. Выловленная рыба начала протухать. Ее стали сбрасывать в нашу и так отравленную многострадальную реку. Все случившееся рыбаки обоих берегов назвали кризисом. Но не прекратили под шумок свою хищническую браконьерскую деятельность, а наоборот — охамели еще больше.

Когда мы возмущаемся создавшимся положением, нам отвечают, что во всем виноват один грузинский рыбак, стоявший у истоков создания нашей артели и руководивший ею. Якобы из-за него все наши беды. Но мы-то знаем этого гру-

зина и помним, что при нем с рыболовством был полный порядок. Браконьеров он гонял и серьезно наказывал. И было за что. А простые люди жили нормально, в достатке. Икру и черную, и красную ели ложками, детей бесплатно лечили рыбьим жиром. С тех пор прошло без малого сто лет. Много воды утекло по нашей реке с тех пор, а наши эффективные рыбаки другой, не грузинской и не русской национальности все винят этого грузинского рыбака. За эти годы другие артели и выше по течению реки, и ниже выработали разумные правила лова рыбы и, соблюдая их, живут нормально. Только у нас ситуация ухудшается. Наши эффективные рыбаки все больше наглеют, варварски тащат и тащат сетями не успевающую нереститься рыбу. Отвозят на правый берег и продают, продают, продают, обрекая нас на голод.

Уважаемая редакция, подскажите, пожалуйста, в какую прокуратуру пожаловаться на этот беспредел? Или самим навести порядок?

М. ЖАЛНИН
и около ста миллионов жителей левого берега реки

ДНЕВНИК РУССКОГО

1988

20 марта.

Днем позвонил Л.М. Леонов и попросил узнать «адрес» изречения: «Семя жены сотрет главу змия».

Я позвонил в справочную журнала Московской Патриархии.

Отец Алексей Кириллов сказал, что изречение «Семя жены сотрет главу змия» — это парафраз библейского текста: «И сказал Господь Бог Змию: За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между семенем твоим и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие, 3; 14—15).

Я позвонил Леонову, зачитал текст и пояснил, что, по словам о. Алексея — это изречение библейское, а принадлежит одному из отцов Церкви. Пояснение о. Алексея Леонова удовлетворило, но он все-таки хотел знать, кому из отцов Церкви принадлежат слова: «Семя жены сотрет главу змия». Я обещал узнать это при встрече с внуком П.А. Флоренского — о. Андроником (Трубачевым).

Продолжение. Начало в №1-2 за 2005 г.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ



Леонов пригласил меня вечером в гости. Гуляя, говорили о Ленине. Леонов рассказал, как несколько лет тому назад к нему пришла знакомая старая большевичка и, потрясая зарубежными журналами, возмущалась, что там оболгали Ленина. (Она прочитала в этом журнале, что Ленин в последнее время из-за болезни — сифилис мозга! — впадал в беспамятство, лаял на луну и пр.).

Леонов не склонен был обсуждать ход болезни Ленина. (Вместе с тем Л. М. не сомневается, что Ленин был тяжело болен именно сифилисом, которым «наградила» его проститутка.) Леонова интересовал в разговоре не медицинский, а, скорее, политический, социальный аспект жизни революционеров типа Ленина. Он считает, что Ленин, прожив долгое время за границей, плохо знал Россию, мало где побывал и, по существу, не знал жизни народа.

— Многие из революционеров жизнь народа знали в основном по книгам. Большую часть жизни они провели в библиотеках. Не случайно, что иные из этих революционеров, — сказал Леонов, — с нечаевским уклоном.

Работая над своим заключительным романом, Леонов совершенно не склонен обожествлять руководителей Советского государства, включая Ленина. Семьдесят лет, прожитых после революции, дают писателю право свободно и непредвзято судить и об истинных завоеваниях, и об очевидных просчетах.

За столом Леонов рассказывал, как после приезда Горького в 1928 году они с вокзала поехали к Пешковой (бывшей жене Горького). Обедали, разговаривали. Горький, когда речь зашла о ГПУ, сказал, что, по его мнению, там работают вредители.

Леонов говорил, что, судя по всему, Горький в конце жизни многое понял, но сделать ничего не смог. Он попытался было выехать за границу, но его не выпустили.

— Тяжело было сознавать Горькому, что он попался в капкан, — сказал Леонов. — Однажды он спросил меня: «Почему, Леонид Максимович, стали редко бывать у меня? — И сам ответил: — Крючков не пускает? Да?»

Леонов рассказал, что, судя по всему, Горький жил с женой Крючкова Цецилией. Это была смазливая еврейка. Горький ее звал Це-Це. Свой рассказ о Горьком Леонов закончил тем, что биография его будет основательно переписана.

Заговорили о падении нравов среди руководящих государственных и партийных деятелей. Например, арестованы 4 секретаря ЦК КП Узбекистана, предсовмина Узбекской ССР, зампред Президиума Верховного Совета УзССР, 7 первых

секретарей обкомов партии и пр. Помимо политических преступлений они совершали уголовные преступления — насиловали, убивали и пр.

Наталья Леонидовна сказала, что и раньше в Российской империи было много аморальных преступлений.

— Твоя мать рассказывала, как она девушкой мазала сажей лицо и на четвереньках ползала перед барским окном, — говорила Наталья Леонидовна, — лишь бы внушить к себе отвращение помещика.

— А зачем лицо надо было мазать сажей? — спросил я.

— Потому что красивая была, — ответила Наталья Леонидовна.

Леонов этот факт оспаривать не стал, но решительно высказался за то, что нынче нравственность значительно упала по сравнению с дореволюционными временами.

1 апреля

Надев первый раз в этом году демисезонное пальто и шляпу, Леонов вышел на прогулку. Погода была по-настоящему весенняя, светило солнце.

— Какие новости в мире? — задал свой традиционный вопрос Леонов.

— Папа римский Павел Иоанн II в ответ на наше нежелание пойти ему навстречу, чтобы он имел возможность посетить католиков в Прибалтийских республиках и Закарпатье в связи с проведением Поместного собора Русской православной церкви по случаю 1000-летия принятия христианства на Руси, высказал широко обсуждающуюся в церковных кругах мысль, — сказал я.

— Какую? — живо откликнулся Леонов.

— Павел Иоанн II, переиначив известную ленинскую формулу о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране, заявил, что конец света, по его мнению, может наступить в одной, отдельно взятой стране.

Леонов остановился и, взяв меня за руку, с чувством проговорил:

— Здорово сказано! Умный, образованный человек... Наши испугались волнений в Прибалтике, — продолжал Леонов, — и ничего лучшего не могли придумать, как направить Папе не персональное приглашение, а просьбу прислать делегацию на Поместный собор. Разве это выход? Пусть Папа приезжает и встречается с кем и когда хочет. Если суждено, что от России отколется Прибалтика и все остальное прочее, то никакими хитрыми мерами этому не воспрепятствуешь, — заключил Леонов. — Сдается мне, что в недалеком будущем

Россия останется в границах государства Ивана Грозного. Может быть, это и к лучшему? Тогда хоть можно обратиться к русскому народу без всяких обиняков, призвать к восстановлению национальных святынь и с этого все начать...

На протяжении вечера Леонов дважды возвращался к мысли о будущем России.

— Я знаю, — говорил он мне, когда после прогулки мы сидели у него в кабинете, — все наши беды оттого, что страна слишком велика. Для того чтобы списать колесо от велосипеда, надо написать бумагу и послать ее за тысячи верст в столицу на утверждение.

— Страна может быть и больше, — не согласился я с Леоновым. — Другое дело, что централизация слишком велика. На такую огромную страну одно сердце, и оно не может энергично «проталкивать» кровь «до самых до окраин». Надо дать больше власти на местах, исходя из условий, традиций народов, населяющих эти места. По моему мнению, — продолжал я, — лучше других государственных деятелей России все эти проблемы понимал Петр Аркадьевич Столыпин. Между прочим, в свете всего нынешнего заслуживает особого внимания его известное изречение: «Чтобы предотвратить революцию, надо мужика и рабочего взять в долю».

5 апреля.

— В Загорске ходят слухи, — сказал я Леонову, — что патриарха Пимена чуть ли не понуждают уйти на покой. По той причине, что он немощен, болен, не деятелен.

— А вы как к этому относитесь? — спросил Леонов.

— К замене патриарха в нынешней ситуации отношусь с большой осторожностью, — ответил я. — Дело в том, как мне рассказали в Лавре, что сейчас в состав Синода, из числа членов которого и будет избираться новый патриарх, входит, по крайней мере, один (а может быть, и более) митрополит — еврей по национальности. Нетрудно себе представить, что будет с Русской Православной Церковью, если патриархом Всея Руси будет избран еврей.

— Тогда конец! — не вытерпел Леонов.

— Как устроено все! — продолжал я. — Трудно себе даже представить, чтобы русский человек стал членом Синагедриона, а вот евреи становятся в России епископами, митрополитами, и возможен даже вариант, когда еврей станет патриархом Всея Руси. Ведь был же накануне революции председателем правительствующего Синода крещеный еврей.

— Этим и отличается церковь от синагоги, — сказал Леонов. — У апостола Павла по этому поводу сказано: «нести

Иудей и Еллин», то есть сила Божия дана ко спасению всякому верующему — иудею и эллину — без племенного различия.

Разговор с Евангелия перешел на русскую литературу. Заговорили о «Бесах» и «Братьях Карамазовых», о поездках Ф.М. Достоевского в Оптину пустынь, о Карамазове-старшем, который проходил «школу» стяжательства у одесских евреев.

— Мне, когда я был в Югославии, — говорил Леонов, — рассказали, что одному из югославских руководителей Сталин во время встречи с ним сказал, что Достоевского надо вообще запретить печатать. Дескать, он больно уж точно предсказал, как надо управлять человечеством.

Леонов сегодня резко выступал против превратно понимаемого нами милосердия, так как в нашей стране катастрофически быстро плодятся дебильные дети, не способные ни к труду, ни к обороне, а только к размножению. Сейчас их в СССР около 19 миллионов, и эта цифра растет с каждым годом. Если учесть количество дебилов во всех странах, то это заставляет уже сейчас принять самые жесткие меры к предотвращению окончательного вырождения человечества как вида.

— К середине будущего столетия человечество должно преодолеть барьер, — говорил Леонов. — Если оно сможет преодолеть этот барьер, то будет другим. Не будет считаться немилосердным прекращать жизнь дебилов.

По Леонову выходило, что в дальнейшем не вся масса веков на кривых ногах, большеголовых рахитов, дебилов-вырожденцев продолжит существование, а лишь и з б р а н н ы е. Я намеренно выделяю это слово, ибо Леонов так и сказал: «лишь избранные».

Кстати, Фридрих Ницше (1844—1900) считал, что крупная еврейская буржуазия наиболее приблизилась к его идеалу «избранных».

Размышляя о том, до чего мы дожили в период так называемого «развитого социализма», Леонов констатировал:

— Значит, был в нас ген, который и дал т а к у ю наследственность...

Говорилось это с болью. Можно себе представить, как нелегко давался такой «вывод» Леонову.

По данным Леонова (возможно, полученным от В. Распутина), в настоящее время только в Иркутске проживает 67 тысяч евреев. Сколько их тогда в Москве, в целом в Советском Союзе? А ведь они только себя и считают «избранными».

10 апреля

Светлое Христово Воскресение.

Леонов рассказал мне, как к нему пришел Чижевский, ища поддержки. Он говорил о своей теории — «В ритме солнца».

— Я испугался, — признался Леонов, — и больше слушал. Чижевский говорил о влиянии Солнца и звезд на все живое. Тогда это считалось контрреволюцией.

Чем кончилось для Чижевского «застолбление» в науке своей теории, мы знаем. Хочется лишь вспомнить его признание после выхода из лагеря. По словам ученого, его «обокрал» и посадил в тюрьму не кто иной, как академик Абрам Иоффе.

Говорили о нравственном статусе современного политического деятеля, руководителя государства. Успешно проводить политику перестройки можно лишь тогда, когда народ видит, что «верха» являются собой пример скромности и самоограничения в быту. Горбачев делает непростительные ошибки, когда его жена покупает за границей бриллианты, а сам он строит для себя новую дачу. Неужели ему не ясно, что от народа такие вещи не скрыть? Леонов сказал, что руководитель должен сейчас придерживаться эстетики «штопаного пиджака». Чем скромнее и невзыскательнее по отношению к себе, тем лучше для перестройки.

Леонов придает особое значение публикации в газете «Известия» накануне Пасхи (7 апреля 1988 года) интервью с Патриархом Всея Руси Пименом, озаглавленное — «Тысячелетие». По мнению Леонова, у правительства иного выхода нет, как обратиться к помощи Церкви. Подтверждением мысли Леонова, что в отношении к Церкви произошел поворот к сближению, явилось то, что по Центральному телевидению и радио передавался фрагмент пасхального богослужения и обращение к народу Патриарха Пимена.

16 апреля

Позвонил Л. М. Леонов и попросил достать газету «Правда», где опубликовано интервью с Василием Беловым «Вернуть крестьянину крестьянское».

Я принес газету. Леонов отложил ее в сторону, чтобы потом внимательно прочитать. Однако содержание статьи он знал.

— Вернуть крестьянину крестьянское, — сказал Леонов, — можно только лишь тогда, когда будет возвращена ему полная свобода делать то, что он хочет — сеять, выращивать, выкармливать и сбывать так, как он сам того желает, а не как ему приказывают.

Леонов говорил, что Продовольственная программа, объявленная у нас четверть века тому назад, не только не улучшила снабжение населения продуктами сельского хозяйства, но, напротив, дело идет к голоду. Главное в том, что мы догматически держимся за старые, не оправдавшие себя методы хозяйствования и землепользования.

Столыпинская аграрная реформа, ленинский план кооперации и осуществленная «огнем и мечом» сталинская коллективизация — все они имеют свое рациональное зерно, но в чистом виде не годятся как выход из создавшегося тупикового положения. Для того чтобы решить проблему, нужна новая реформа, которая вобрала бы в себя все здоровое из трех названных «источников», отсекала бы все умершее, догматическое и дала бы полную свободу новому. Принятая программа на недавно закончившемся в апреле с.г. Съезде колхозников — половинчатое решение, которое, по существу, продлевают агонию и не избавляет больного от смертельного исхода.

— Что имела в виду Ванга, когда говорила, что у России великое будущее? — как бы размышляя вслух, спросил Леонов и продолжал: — Может, на человечество навалится моровая чума вроде СПИДа, и оно начнет вымирать, как загадочно вымер народ майя, а благодаря коллективизму Россия все-таки выживет?

Как-то сам собой разговор перешел на тему о пресечении в русской истории последних трех столетий когда-то существовавшей традиции неразрывной связи духовной и светской культур, о влиянии монашества (например, Сергия Радонежского) на культуру. Знаменательно, что ни Державин, ни Пушкин, ни Лермонтов ничего не сказали о своем великом современнике Серафиме Саровском (1759—1833), да и вряд ли знали о существовании этого святого. А Тургенев и вовсе считал, что все попы невежественные и «темные». Лев Толстой записал в дневнике после встречи в Оптиной пустыни со старцем Амвросием: «Амвросий жалок до невозможности. По затылку бьет, «учит» и не видит, что нужно». Толстой-то был уверен в себе, знал, чему надо учить. Век спустя Амвросий (на Поместном соборе 1988 года) будет причислен к лику святых. Толстой же все более и более уступает свой трон патриарха русской и мировой литературы. Пальма первенства переходит к Достоевскому, который начал возрождать традицию единения светской и духовной культуры. Его романы — это, по существу, религиозные притчи, предвосхитившие наше «огнепальное время». Своим

«Мирозданием» Леонов не просто продолжил дело, начатое Достоевским, но сфокусировал в романе вселенскую боль и надежду на выживание человечества.

Я поделился с Леоновым своими мыслями о «Войне и мире» как о романе более художественном, чем «Анна Каренина». Ибо в «Анне Карениной» у Толстого отчетливо намечилось раздвоение между художником и проповедником. К старости у Толстого эта тенденция еще более усугубилась. Он откровенно стал морализовать.

— Писатель морализовать начинает тогда, когда сосуды перестают быть эластичными, — сказал Леонов. — Когда писатель молод, он пьет водку, любит баб, о морали он тогда и не думает. Желание учить, морализовать — это удел старости.

— Можно ли писателю от этого избавиться? — спросил я.

— Нет.

— А как же Достоевскому удалось от этого избавиться в «Бесах», «Братьях Карамазовых»?

— В романах у Достоевского драматургия сильнее морализации, — лаконично ответил Леонов.

— Ну, а как же тогда быть с «Троицей», написанной Рублевым «в старости вельми»?

— Рублев — монах, — ответил Леонов.

За ужином Леонов рассказал, как он в числе трех писателей (Вс. Иванов и еще кто-то, Леонов не вспомнил) присутствовал на заключительном судебном заседании по делу так называемого троцкистско-бухаринского блока. Многие (если не все, проходившие по делу) были знакомы Леонову — Бухарин, Ежов, Крючков — секретарь Горького, Левин — лечащий доктор Горького и другие. Леонов до конца заседания не досидел и ушел. Вс. Иванов потом рассказал ему, что когда приговор был объявлен, Ежов, выходящий из зала, остановился и так посмотрел на публику в зал, словно хотел приказать кому-то невидимому арестовать и расстрелять всех, кто слушал этот процесс. Мне показалось, что Леонов ушел из зала именно в целях самосохранения. По появившимся в печати данным (журнал «За рубежом», 1988), на процессе (в кинобудке (!) Октябрьского зала Дома союзов) негласно (за ширмочкой квадратного оконца для показа кино) присутствовал Сталин.

— Слова, брошенные Вышинским в адрес Бухарина: «Вы помесь лисы со свиньей!», сказаны были специально громко, чтобы слышал Сталин, — рассказывал мне Леонов. — Вышинский явно высуживался перед Сталиным, так как в

свое время был на службе у Временного правительства и под-
писывал ордер на арест Ленина.

После ужина слушали «Голос Америки». В Москве про-
шли переговоры 400 американских бизнесменов во главе с
министром торговли. Американцы поставили условием вы-
дачи нам субсидий, если мы разрешим евреям свободно эмигри-
ровать из СССР, а при необходимости и вновь возвращаться
на прежнее местожительство.

— Субсидии Америка нам дает как выкуп за евреев, —
сказал Леонов. — Диктует свою волю... Что-то у нас в ген-
ном аппарате не в порядке, — сказал спустя некоторое время
Леонов. — Мы как белая рыба. Мясо вкусное, костей мало...
«Ерши» уцелеют. Костистые... И акулы тоже. Плавником
могут кому хочешь брюхо распороть...

22 апреля

Зашел разговор о том, что в 30—40-е годы, когда милли-
оны людей сидели в лагерях, умирали в тюрьмах, нередко
встречались люди, «духовной жаждою томимы», которые за-
ведомо наговаривали сами на себя, получали крупные сроки
и безропотно «тянули» их до скончания жизни.

Леонов вспомнил своего приятеля, нижегородского пи-
сателя П., которого на допросах зверски избивали, после од-
ного из допросов окровавленного писателя приволокли и бро-
сили в барак. У него был выбит глаз, и он болтался на крове-
носных сосудах. В бараке был врач-заключенный. Он чуть
ли не перочинным ножом сделал операцию, удалил глаз.
Впоследствии этот врач взял к себе в помощники одноглазо-
го писателя. Тот стал заведовать аптекой. Один из охранни-
ков повадился в аптеку за спиртом. Врачу и писателю надо-
ело, и они отказали охраннику. Тот на них стал «переть», кри-
чать. Тогда они, обозлившись, сказали, что заявят на него,
так как он, дескать, подговаривал их после выхода на свобо-
ду убить Сталина.

Охранник так перепугался, что попросил перевести его в
другое место. Исчез — как сквозь землю провалился...

Придя домой, мы ужинали, а потом смотрели фильм Ди-
нары Асановой «Пацаны». На Леонова «герои» фильма про-
извели тягостное впечатление. Он то и дело восклицал, качал
головой, размышляя вслух.

— Три поколения прожили без Бога, и вот вам результат, —
Леонов указал на телеэкран. — Американцы, наверное, смотре-
ют, изучают нас по таким фильмам. До чего мы дожили! И
это называется социализмом? Да, от такого социализма, как
от чумы, во всем мире открещаются. Я представляю, как

Рейган говорит Горбачеву: «Неужели вы думаете, что ваш пример заразителен? У вас же полный развал. Жрать нечего. Мы вам откажем в зерне — у вас голод будет...»

Я попытался «оправдать» перенесенные Отечеством болезни как неминуемость судьбы. В надежде, что, дескать, второй раз мы этой эпидемической болезнью — «тифом» уже болеть не будем.

— Не беспокойтесь, покойник не болеет, — саркастически заметил Леонов. — Видно, ничего сделать нельзя! Наша «болезнь» объясняется болезнью всего человечества. Вне контакта всего, что происходит в космосе, рассматривать все это нельзя.

* * *

Леонов сообщил мне подробности последних минут жизни Зиновьева. Перед приведением в исполнение приговора о смертной казни «русский» революционер и воинствующий атеист Зиновьев стал вдруг молиться на древнееврейском языке. Раскрылся-таки...

2 мая

У Олега Михайлова, как рассказал Леонов, спросили недавно на одном из больших литературных форумов его мнение о стихах Нобелевского лауреата Бродского. «Бродский талантливый человек, — ответил Михайлов, — но Мандельштам талантливее его. А вообще-то мне нравится Блок».

17 мая

Рассказал Леонову о поездке в Крым. Его больше всего заинтересовал факт самоубийства старого виноградаря в Никитском ботаническом саду, который повесился в винном погребе. Причиной этого послужило то, что головотяпы из обкома партии, выполняя указание по борьбе с алкоголизмом, приказали бульдозером «срезать» виноградники, которые растил всю жизнь ученый-селекционер. Старый сторож Ботанического сада рассказал мне, как во время войны они прятали от немцев саженцы нового винограда, как потом этот ученый самозабвенно работал, доводя сорт до «кондиции»... На Леонова, который сам всю жизнь работает на земле, создав свой собственный ботанический сад, рассказ о гибели селекционера произвел горестное впечатление. Не сдерживая себя, он крепко выругался и потом в течение вечера несколько раз возвращался к «расследованию» дела. Тоталитарность режима, деспотию партийных чиновников, бесправность народа — все это Леонов подверг беспощадной критике.

Однако Леонов вовсе не идеализировал положение в лагере наших идеологических противников. Об этом он сегодня полтора часа говорил с югославским журналистом (из Македонии), приходившим к нему с сыном, учащимся ГИТИСа. Благополучие Америки, в целом Запада, кажется Леонову весьма призрачным. Слишком у них все тонко — «прецизионная машина» (слова Леонова), не то, что в нашей «грубой стране» (слова Леонова) с ее большими допусками и люфтами. Случись на Западе такие катаклизмы, как у нас — все враз рассыплется.

Заключая наш разговор о положении дел в стране, Леонов сказал, что, по его мнению, Горбачев, возвращенный на марксистско-ленинской догме, не сможет выбраться из-под ее «колпака». Выходило так, что, будь Леонов на месте руководителя государства, он все откровенно сказал бы народу. Без утайки. Народ и сам все видит, сам все понимает. Хитрить с ним, обеляя догму, не только бесполезное, но преступное, вредное дело. Сейчас надо не тома Маркса и Ленина начетнически перебирать, а на жизнь непредвзятым взглядом пошире смотреть.

* * *

По мнению Леонова (о чем он еще раз сегодня сказал), Достоевский обладал пророческим даром, пожалуй, как никто другой во всем XIX веке. Записные «апостолы» революции в этом смысле — просто незрячее племя, ведомое слепым поводырем. Я уверен в том, что картина Питера Брейгеля-мужицкого «Слепцы», потому и любима Леоновым и не снимается висит в его кабинете, что она в зримой, образной форме передает ту горькую аллегория, которую давно осознал на примере своего возлюбленного, ведомого партией народа писатель Леонид Леонов.

Я спросил Леонова, как он объясняет проигрыш Достоевским в игорном доме денег, кучу которых он только что до этого выиграл. Ведь он мог закончить игру, рассовать деньги по карманам и уйти, обеспечив себя на несколько лет спокойной творческой работы. Достоевский этого не сделал и проиграл все до последней монеты. Чем объяснить все это?

— Желанием чуда, — как давно решенное, сказал Леонов. — У меня об этом в романе тоже есть...

Я напомнил Леонову эпизод из воспоминаний А.Г. Достоевской (который он, конечно, знал), как Анна Григорьевна потом, после проигрыша, в пустом зале вокзала нашла подавленного и обескураженного Федора Михайловича и увела его домой.

Слушая меня, Леонов отрешенно и как-то зачарованно молчал, как будто сам присутствовал при этой невеселой встрече Анны Григорьевны с мужем.

Леонов говорил, что в произведениях Достоевского чаще, чем у кого-либо другого, встречаются такие художественные откровения, которые посещают пишущих лишь изредка. Что касается самого Леонова, то ему такие «звезды в ночи» загораются, как он сам признался, один раз в месяц-полтора. Но зато в эти моменты он весь «ландшафт» своей повести, романа, видит как бы сверху, высвеченным мгновенной вспышкой внутреннего озарения. Так было с Леоновым, когда он писал «Русский лес», в частности — сон Поли, увидевшей, как въявь, лежащего на земле своего мужа с глазами, обращенными в небо. А по зрачку глаза полз муравей... Муж был мертвый.

Леонов вспомнил инженера Колотилова, с которым три раза ездил в Балахну на строительство бумкомбината, когда работал над романом «Соть». Колотилов был выдающимся специалистом-строителем. Судьба его трагична. Несколько раз его арестовывали. После одного из арестов и «отсидки» Колотилова Леонов как-то, накупив конфет и прочих угощений, навестил его. Пили чай. Колотилов начал с яростью ругать правительство. Леонов, как он сам признался, испугался и вскоре отклонялся. Через несколько лет он встретил Колотилова, идущего по улице Горького, разговаривавшего с собой и размахивавшего руками. Сын Колотилова умер в лагере, жена ушла от него. Человек выдающихся способностей, высоко ценимый такими китами, как братья Рябушинские, был раздавлен жизнью, преследованиями и погиб, так и не реализовав свои таланты. Леонов на примере Колотилова показал мне (в какой уж раз!), как революция и ленинский «социализм» обескровили Россию, уничтожив ее интеллигенцию и самых лучших мужиков-хозяев — всех тех, кто являет собой квинтэссенцию нации. Потому и капитулируем мы сейчас перед Америкой — таков был вывод Леонова. Можно лишь добавить, что все это Леоновым говорилось страстно, с болью и гневом, как мог говорить человек, у которого накопилось на сердце.

Кстати, среди незаконно репрессированных был и отец зятя Леонова — профессор Макаров, работавший в свое время с Чайновым. Профессор Макаров, вернувшись из лагерей, никогда не рассказывал о тамошней жизни. Умирая, он приподнялся с кровати и, глядя безумными глазами в окно, стал шептать: «Они там на крыше... Следят за мной...»

Я спросил у Леонова, что он думает по поводу статьи в «Правде» «Заговор «военных» — о Тухачевском, Якире, Гамарнике и других. Леонов ответил, что не исключает того, что, возможно, заговор военных был, но не с целью измены Родине, а с целью ареста Сталина. Леонов обратил мое внимание на то, что высший генералитет, арестованный Сталиным, в основном евреи.

— Знаете, как свою собаку Тухачевский назвал? — спросил Леонов. — Христосик.

Гуляя с собакой по городу в Белоруссии, где он служил, маршал то и дело звал собаку к себе: «Христосик, Христосик...» Вряд ли русский человек, даже атеист, мог себе такое позволить.

В передаче об Афганистане помянули Аманулли-хана, бывшего руководителя государства. В 1930-х годах он приезжал с женой в СССР, был в Грузии. Леонов рассказал, как на приеме в Грузии подвыпивший партработник подошел с тостом к жене Амануллы и поцеловал ее в грудь. Хан встал и вышел из зала, а за ним — все гости. Разразился скандал. Незадачливому партработнику пришлось застрелиться, чтобы восстановить добрососедство.

22 мая

Главной темой сегодняшней беседы был вечер памяти о Павла Флоренского (январь 1882—февраль 1943), прошедший 20 мая с.г. в Загорске во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина. «У всякого русского человека должен быть свой поп. У меня поп — Флоренский». Эти слова, якобы сказанные Лениным, конечно, не спасли П.А. Флоренского от ареста в 1933 году. Спустя 55 лет после ареста о. Павла Флоренского прошедший вечер был первым официально разрешенным собранием, на котором представители общественности выступили с короткими сообщениями о жизни и творчестве выдающегося ученого, инженера, проповедника, философа и поэта.

Я изложил Леонову тезисы своего выступления, в котором рассказал о восприятии личности и деяний о. Павла Флоренского. Выступление на вечере в Загорске я закончил призывом к действию: 1) возрождению «родостроительства» (термин П.А. Флоренского); 2) борьбе за сохранение исторического центра и памятников культуры За-

горска; 3) усилению творческой активности горожан за создание библиотеки иностранной литературы, картинной галереи, клуба творческих работников. «Ибо не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет», — как сказал протопоп Аввакум.

Леонов считает, что официальная версия гибели о. Павла Флоренского, якобы в декабре 1943 года вряд ли достоверна. По имеющимся у него сведениям, П.А. Флоренский в числе 10 тысяч других заключенных СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения) — в основном дворян, священства и генералитета — был утоплен в Белом море на одной из барж. Такой же версии придерживается внук П.А. Флоренского о. Андроник, датирующий смерть своего деда 1937 годом.

Леонов сообщил мне, что после отъезда Вячеслава Иванова в Италию его, как выдающегося специалиста, переводчика античной литературы, пригласили работать в библиотеку Ватикана. Леонов не преминул горестно покоситься, как быстро Россия все порастратила, как низко пала образованность и глубина культуры в первом «эшелоне» нации.

Я рассказал, что на вечере Флоренского имел обстоятельный разговор с поэтом Г.П. Калюжным, летавшем двадцать с лишним лет штурманом на реактивных лайнерах. Калюжный уверен в том, что в каждом из нас есть некий, особой чуткости навигационный «прибор», показания которого нельзя не учитывать в полете. В тех случаях, когда в душе летчика образуется трещина и закрадывается мысль о катастрофе, на самолете создается аварийная ситуация. Нечто подобное произошло и с нами, с Россией. Мы — люди «аварийного» самосознания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Я рассказал Леонову, что Г.П. Калюжный считает виновным в очевидной для всех нас «аварии» командира корабля — Ленина. Сев за «штурвал», Ленин обязан был знать и рассчитывать, где и как мы приземлимся через 70 лет. Леонов вполне солидарен с такой точкой зрения. Все дело в том, что классики марксизма-ленинизма, по Леонову, — библиотечные умники. Размышления о том, как облагодетельствовать человечество, они не берут в расчет одного человека, его боль и страдания. Для них главное — это осуществление идеи. И если для этого потребуются миллионы человеческих жизней, как это было при коллективизации, они не постоят за ценой. Не потому ли Ленин так не любил Достоевского, что художественный образ всемирного счастья, построенного на слезах одного затравленного псами невинного мальчика, служил

вечным укором совести. С тех пор пролились обильные слезы миллионы ни в чем не повинных россиян, а счастья как не было, так и нет.

В своих философских работах — конкретной метафизике — П.А. Флоренский упорно защищал концепцию Достоевского о невозможности достижения счастья всего человечества при небрежении горем и болью отдельных личностей, число которых в XX веке катастрофически росло. По существу, П.А. Флоренский был духовным последователем Ф.М. Достоевского. О. Павел пережил год «великого перелома». Он отчетливо видел, куда «заложил» штурвал тогдашний рулевой. Внутренняя «навигационная система» Флоренского сработала точно. Именно поэтому он причислен был к врагам. Павел Александрович знал, что он обречен. Команда «Ату его!» уже раздалась.

Леонов заговорил о том, что фантазия художника не только непредсказуема, но и имеет пророческие черты. А что, если на минутку предположить, что сказанное и написанное о ведьмах, колдунах, дьяволе, — это своеобразная «обратная» перспектива «картины» мироздания? Полярные точки в ней — Христос и Антихрист. Если о. Павел Флоренский занимался изучением обратной перспективы в изобразительном искусстве, то художник Леонид Леонов — в мироздании.

* * *

Разговор зашел о серии прямых телетрансляций из американского города Сиэтла (штат Вашингтон). Американцы продемонстрировали раскованность, непринужденность, свободу в выражении своей точки зрения и даже артистизм. Всего этого никак нельзя сказать о передачах с участием наших соотечественников. Но я не смог увидеть среди молодых американцев будущих Ралфов Эмерсонов (1803—1882), Эдгаров По, Джеков Лондонов. Леонов на это промолчал, но согласился с тем, что не раскованность, непринужденность и артистизм, а доброта, духовность, сострадание, готовность к самопожертвованию являются в конечном итоге пропуском нации в будущее.

* * *

Бывший обер-прокурор Синода (1915 г.) А.Д. Самарин был человеком чрезвычайно простым, доступным, общительным. Он жил на даче рядом с Абрамцевом, и Леонов имел возможность в то лето часто встречаться и разгова-

ривать с ним. Однажды они вместе были на пляже на реке Воре. Леонов, как он признался, будучи (в то время!) простодушным человеком, без всяких «затей», высказался, что, дескать, Николай II был, наверное, серым человеком. На что «прокурор» деликатно возразил, так как хорошо знал Николая II, часто бывал у него с докладами и просто так — вместе обедали и пр. Николай II обладал удивительно цепкой памятью, был широко образованным человеком, знавшим несколько языков, любившим литературу и искусство. В частности, Николай II ценил творчество Чехова и имел беседы на эту тему с «прокурором». Однако Николай II явно не обладал характером своего отца и предшественника на троне — Александра III. Он был мягок, даже застенчив. Правление государством, да еще таким, как Россия, было явно не его призванием. У Николая II не хватало характера в открытую сказать даже о смещении с должности того или иного своего сановника.

25 мая

Говорили о тенденции народов к самоопределению. Это естественный процесс. Сначала будет дробление, а потом слияние народов и наций. Я высказал мысль, что генетическое богатство народов в скором времени начнет подвергаться беззастенчивому ограблению с той же силой, с какой сейчас у народов выкачивают нефть, вывозят золото, алмазы и другие национальные богатства. Славяне, как молодой, крепкий народ, уже сейчас подвергаются едва ли не самой сильной «откачке» генов старыми богатыми народами.

* * *

По телевидению показывали старые фотографии с видами Московского Кремля. Когда дошла очередь до Москворецкой башни, Леонов сказал, что с этой башней у него связаны незабываемые детские впечатления. Два года подряд в углу, образуемом башней и Кремлевской стеной, идущей вдоль Москвы-реки, Леонов мальчиком делал на Новый год снежную куклу. В голову ее он вставлял горящую свечу, предварительно сделав продухи для доступа воздуха. Как зачарованный он любовался своим творением. Утром чуть свет бежал к башне. Свеча за ночь сгорала, образуя наплывы воска на снегу. В детстве Леонов любил лазить на колокольню Ивана Великого. Раз пятнадцать там был, смотрел, как звонят в колокола... Детские впечатления о Кремле остались на всю жизнь.

27 мая

То, что для иных прошло незамеченным, не ускользнуло от цепкого взгляда Леонова, всю жизнь желавшего докопаться до самой сути. В «Скутаревском» (1931) некий инкогнито (которого «подтолкнул» к этому, естественно, сам автор романа) посылает герою-докладчику записку с просьбой «напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко». «Посылая» записку, автор романа прекрасно был осведомлен, что не Августу Бебелю (1840—1913), а железному канцлеру Отто Бисмарку (1815—1898) принадлежит сказанная фраза. Нетрудно догадаться, какую страну было Западу не жалко, — ту, которую боялись.